Одесский
альманах

№56

I / 2014

ДЕРИБАСОВСКАЯ ↓ РИШЕЛЬЕВСКАЯ







PLASKE
ПЛАСКЕ

От редакции

Евгений Голубовский

Всенародный

Есть два вроде бы близких, но очень разных понятия: народный и всенародный. Народный – звание. Народный артист, народный художник… Всенародный – любовь. Всенародными на нашей памяти были Булат Окуджава и Владимир Высоцкий. Всенародно любимым был Юрий Никулин. А из прозаиков, мне кажется, после Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Михаила Зощенко – только Михаил Жванецкий.

Что делает поэта, прозаика всенародным? Конечно, талант. Но не только. Я думаю – интуиция. Нужно чувствовать болевые точки не населения, а народа. Помогать народу понять самого себя, увидеть самого себя. И неважно, министр ты или начальник ликеро-водочного завода. Писатель знает всё про каждого из нас. Пишет вроде бы о себе, а в уме держит страну.

Помните, как в школе – три пишем, два – в уме?

Сколько лет нас заставляли главное держать в уме…

А всенародный писатель, так и только так воспринимается Михаил Жванецкий, поломал этот закон соцреализма. При социализме. Он писал то, что в уме – у него, у министра, у начальника ликеро-водочного завода, не говоря уже о начальнике транспортного цеха.

Может, поэтому социализма уже нет, а Жванецкий вот уже восемьдесят лет есть. И пишет все глубже, поэтичнее, философичнее.

По его рассказам историю СССР, историю нынешнего времени представляешь гораздо ярче, чем по самым академическим учебникам. Как Ильф и Петров, Михаил Жванецкий на все времена всенародный!

Олег Губарь

О любви

Название украл у Чехова, а все остальное разумнее всего было бы украсть у самого юбиляра. Но прежде стибрю еще фразочку Антона Палыча – о том, что когда любишь, «не нужно рассуждать вовсе».

Если любишь глубоко, беззаветно, застенчиво, трудно извлечь что-либо из такущей бездны. Это – как засветить бесценную фотопленку. Или – как запустить в океанариум, на всеобщее обозрение, таинственную рыбу-кита, предположительно обитающую в Марианской впадине. Да и не выживет она на свету без привычного давления окружающей среды и прочих дней недели.

Черная кошка в темной комнате точно есть, но искать ее не надо. Пусть себе живет и ходит сама по себе.

Опять-таки трудно говорить о любимом человеке обтекаемо, скользя по поверхности. Рисовальщику легче – штриховать по периферии лика, и тем делать его зримым, рельефным.

Штриховка может означать силовое поле, вибрирующее, меняющее мощность и видимые очертания: от доверчивого, легкого, как поцелуй младенца, или седативного, терапевтического, до решительно обволакивающего, поддерживающего, поднимающего с колен, турбулентного.

М. М. – сам по себе и есть то чувство, которое я к нему испытываю.

Смоделировать эмоциональное силовое поле в виде слогана? Все равно что наивно представлять ток в образе направленного потока электронов.

Написать учебно-наглядное пособие по Жванецкому? Бессмыслица.

Что еще бросается в глаза. Облепленный миллионами, М. М. оказывается предо мною катастрофически одиноким. Может быть, самым одиноким в этом мире.

Говорят, каждый умирает в одиночку. Мало кто живет в одиночку, словно небесное тело. Публичный человек, живущий в одиночку, – как бы нонсенс. Только не в этом случае.

Никогда у меня не получалось написать об М. М. что-нибудь внятное. Так, пару фраз:

– Портфель Жванецкого. В двух отделениях.

– Жванецкий – на самом деле, до горечи печальный писатель, да еще одинокий, как Эйфелева башня.

Человек – он кто? он что? Он – силовое поле. Любви.

Я говорю об Этом Человеке.

Феликс Кохрихт

...«Борьба невежества с несправедливостью»

Не помню, в каком году и в каком контексте Михаил Жванецкий произнес эту фразу с эстрады или опубликовал в одном из сборников. Она сразу же стала формулой – кратким и исчерпывающим фактом. Или артефактом. Тут все зависит от того, как мы, в силу воспитания и склада мышления, воспринимаем прорывы и озарения. Агностики считают, что они даются упорным трудом, верующие связывают их с покровительством, которое оказывают первооткрывателям некие Силы.

Так или иначе, Эйнштейн открыл, что $E=mc^2$, Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения, Фрейд объяснил причины удач и провалов вышеупомянутых ученых. Маркс и Энгельс даже вывели лозунг – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», но он обращен лишь к одной из спорящих сторон…

Тезис Жванецкого – первая удачная попытка сформулировать суть социальных и политических катаклизмов, не раз ставивших человечество перед угрозой исчезновения или, по крайне мере, приводящих к смене формаций, переделке геополитической карты, кровопролитию и хаосу…

Восстание Спартака, Пугачевский бунт, движение луддитов (напомню, что эти английские ткачи ломали более производительные станки, оставлявшие их без работы), Великая французская революция, октябрьский переворот 1917 года, т. н. цветные революции… У каждого – свой список.

На эту тему написаны тысячи книг, ежедневно, ежечасно на Земном шаре высоколобые политологи, социологи, психологи, конспирологи дискутируют о причинах непрекращающихся конфликтов… В этих спорах и диспутах участвовал и я. Когда разговор заходил в тупик, когда ни одна из сторон не соглашалась хотя бы выслушать друг друга, я, улучив момент, произносил постулат Жванецкого: «Борьба невежества с несправедливостью».

Не скажу, что все спорщики сразу же проникались мудростью и лаконичностью нашего земляка и современника, но многие тут же соглашались с ним, а иные – задумывались.

И это вселяет надежду.

Знаменательно, что и в переводе на иные языки мощная убедительность этой формулы звучит не менее впечатляюще.

К примеру, на немецком: «Der Kampf der Unwissenheit gegen die Ungerechtigkeit».

Коротко и ясно.

Иван Липтуга

Гордость и бренд Одессы

Когда мне говорят «я не понимаю Жванецкого», диалог с этим человеком плавно оканчивается. И дело не в том, что кто-то умнее или глупее, а в том, что тонкий юмор, природная мудрость и литературный талант Жванецкого, как лакмусовая бумажка, проявляют человека и его восприятие жизни. Созданный им жанр «рваный лаконизм» делает его неподражаемым, остроумно-искрометным и вот уже почти 50 лет современным писателем. Гениальность МихалМихалыча заключается в таком состоянии ума, которое позволяет ему настолько точно и глубоко, настолько просто и лаконично формулировать окружающую нас действительность, что каждая его фраза становится как двойной дистиллят истины.

Как сказал сам МихМих, его давно не приглашают на соревнования юмористов, он мешает им соревноваться. При взгляде на плоскость и пошлый примитивизм современных юмористических передач охватывает страх перед завтрашним днем, и в этом можно понять одиночество Жванецкого, о котором писал Олег Губарь.

Жванецкий – гордость и живой бренд Одессы! Такие люди, как МихалМихалыч, формируют социальное самосознание и здоровый патриотизм. Лозунг Всемирного клуба одесситов – «Одесситы всех стран, соединяйтесь!» – работает лучше любых революционных призывов и охватывает все континенты. По-моему, для всей Одессы сегодня нет более непререкаемого авторитета, чем Жванецкий.

Дорогой МихалМихалыч, пожалуйста, живи долго и радуй нас своим творчеством!

Михаил Жванецкий

Крик души

Наши люди стремятся в Стокгольм (Лондон и так далее) только для того, чтоб быть окруженными шведами.

Все остальное уже есть в Москве. Или почти есть.

Не для того выезжают, меняют жизнь, профессию, чтоб съесть что-нибудь, и не для того, чтоб жить под руководством шведского премьера…

Так что же нам делать?

Я бы сказал: меняться в шведскую сторону. Об этом не хочется говорить, потому что легко говорить.

Но хотя бы осознать.

Там мы как белые вороны, как черные зайцы, как желтые лошади.

Мы непохожи на всех.

Нас видно.

Мы агрессивны.

Мы раздражительны.

Мы куда-то спешим и не даем никому времени на размышления.

Мы грубо нетерпеливы.

Все молча ждут, пока передний разместится, мы пролезаем под локоть, за спину, мы в нетерпении под-

талкиваем впереди стоящего: он якобы медленно переступает.

Мы спешим в самолете, в поезде, в автобусе, хотя мы уже там.

Мы выходим компанией на стоянку такси и в нетерпении толкаем посторонних. Мы спешим.

Куда? На квартиру.

Зачем? Ну побыстрее приехать. Побыстрее собрать на стол.

Сесть всем вместе…

Но мы и так уже все вместе?!

Мы не можем расслабиться.

Мы не можем поверить в окружающее. Мы должны оттолкнуть такого же и пройти насквозь, полыхая синим огнем мигалки.

Мы все кагэбисты, мы все на задании.

Нас видно.

Нас слышно.

Мы все еще пахнем потом, хотя уже ничего не производим.

Нас легко узнать: мы меняемся от алкоголя в худшую сторону.

Хвастливы, агрессивны и неприлично крикливы.

Наверное, мы не виноваты в этом.

Но кто же?

Ну, скажем, евреи.

Так наши евреи именно так и выглядят…

А английские евреи англичане и есть.

Кажется, что мы под одеждой плохо вымыты, что принимать каждый день душ мы не можем.

Нас раздражает чужая чистота.

Мы можем харкнуть на чистый тротуар.

Почему? Объяснить не можем.

Духовность и любовь к родине сюда не подходят.

И не о подражании, и не об унижении перед ними идет речь… А просто… А просто всюду плавают утки, бегают зайцы, именно зайцы, несъеденные.

Рыбу никто свирепо не вынимает из ее воды.

И везде мало людей.

Странный мир.

Свободно в автобусе.

Свободно в магазине.

Свободно в туалете.

Свободно в спортзале.

Свободно в бассейне.

Свободно в больнице.

Если туда не ворвется наш в нетерпении лечь, в нетерпении встать.

Мы страшно раздражаемся, когда чего-то там нет, как будто на родине мы это все имеем.

Не могу понять, почему мы чего-то хотим от всех и ничего не хотим от себя?

Мы, конечно, не изменимся, но хотя бы осознаем…

От нас ничего не хотят и живут ненамного богаче.

Это не они хотят жить среди нас.

Это мы хотим жить среди них.

Почему?

Неужели мы чувствуем, что они лучше?

Так я скажу: среди нас есть такие, как в Стокгольме.

Они живут в монастырях. Наши монахи – шведы и есть.

По своей мягкости, тихости и незлобливости.

Вот я, если бы не был евреем и юмористом, жил бы в монастыре.

Это место, где меня все устраивает.

Повесить крест на грудь, как наши поп-звезды, не могу. Ее сразу хочется прижать в углу, узнать национальность и долго выпытывать, как это произошло.

Что ж ты повесила крест и не меняешься?

Оденься хоть приличнее.

«В советское время было веселей», – заявил парнишка в «Старой квартире».

Коммунальная квартира невольно этому способствует.

Как было весело, я хорошо знаю.

Я и был тем юмористом.

Советское время и шведам нравилось.

Сидели мы за забором, веселились на кухне, пели в лесах, читали в метро.

На Солженицыне была обложка «Сеченов».

Конечно, было веселей, дружней, сплоченнее.

А во что мы превратились, мы узнали от других, когда открыли ворота.

Мы же спрашиваем у врача:

– Доктор, как я? Что со мной?

Диагноз ставят со стороны.

Никакой президент нас не изменит.

Он сам из нас.

Он сам неизвестно как прорвался.

У нас путь наверх не может быть честным – категорически.

Почему ты в молодые годы пошел в райком партии или в КГБ?

Ну чем ты объяснишь?

Мы же все отказывались?!

Мы врали, извивались, уползали, прятались в дыры, но не вербовались же ж! Же ж!..

Можно продать свой голос, талант, мастерство.

А если этого нет, вы продаете душу и удивляетесь, почему вас избирают, веря на слово.

Наш диагноз – мы пока нецивилизованны.

У нас очень низкий процент попадания в унитаз, в плевательницу, в урну.

Язык, которым мы говорим, груб.

Мы переводим с мата.

Мы хорошо понимаем и любим силу, от этого покоряемся диктатуре и криминалу. И в тюрьме, и в жизни. Вот что мне кажется:

1. Нам надо перестать ненавидеть кого бы то ни было.

2. Перестать раздражаться.

3. Перестать смешить.

4. Перестать бояться.

5. Перестать прислушиваться, а просто слушать.

6. Перестать просить.

7. Перестать унижаться.

8. Улыбаться. Через силу. Фальшиво. Но обязательно улыбаться.

Дальше:

С будущим президентом – контракт!

Он нам обеспечивает безопасность, свободу слова, правосудие, свободу каждому человеку и покой, то есть долговременность правил.

А кормежка, заработок, место жительства, образование, развлечение и работа – наше дело. И все.

Мы больше о нем не думаем.

У нас слишком много дел.



Ева Краснова, Анатолий Дроздовский

На елке – чудные игрушки…

102 года назад, в декабре 1911 года, такими словами озаглавил рифмованное новогоднее поздравление читателям газеты «Одесский листок» некий одесский журналист, скрывшийся под псевдонимом «ВОВА»:

На елке – чудные игрушки:
Есть «ваньки-встаньки» и «Петрушки»,
«Коллекция знакомых лиц
И много редкостных вещиц»,
Здесь – обывательские слезы,
Российских серых дней курьезы
И много разной мишуры
Для нашей взрослой детворы.
Есть наши «звезды», наши «душки»,
Есть интересные «хлопушки»
И прочих «редкостей» для вас
Разнообразнейший запас.

Сначала скажем несколько слов о ежедневной литературной и политической газете либерального толка «Одесский листок». Газета издавалась Василием Васильевичем Навроцким с 1873 года вначале как «Одесский листок объявлений», а с 1880 года как «Одесский листок». В 1892 году редактор-издатель построил по проекту архитектора И.Ф. Яценко собственный дом на Ланжероновской, 8, рядом со знаменитым одесским театром. В доме работала редакция газеты и при ней кабинет для бесплатного чтения газет и журналов всех стран мира. В «Одесском листке» в разные

РОЖДЕСТВЕНСКІЕ ПОДАРКИ.





В.В. Навроцкий



Н.И. Моисеев

годы трудились выдающиеся журналисты: С. Герцо-Виноградский (Барон Икс), Влас Дорошевич, М. Фрейденберг (Оса), А. Гермониус (Финн), Владимир Жаботинский (Altalena), Корней Чуковский и другие.

Получая от издания газеты немалые доходы, В. Навроцкий делился с неимущими их частью: был инициатором создания убежища имени А.С. Пушкина для немощных тружеников печати на 2-й станции Фонтанской дороги, содержал на свои средства бесплатную столовую для нуждающихся литераторов и журналистов. Он первым ввез в Одессу иностранную диковинку – автомобиль марки «Бенц», первый автомобиль на территории Российской империи.

Талантливый организатор газетного дела, незаурядный человек, В. Навроцкий скоропостижно скончался в августе 1911 года, прожив всего лишь 60 лет. На газетном поприще его с успехом заменила вдова София Навроцкая. То есть редактировала предновогодний «Одесский листок», о котором идет речь, именно она.

Вернемся к шуточным стихам и рассмотрим сопровождающий их новогодний шарж, выполненный художником С. Машиным. На развесистой ели вопреки технике безопасности всех времен –

горящие свечи, несколько шариков и множество дружеских карикатур с пожеланиями видным одесситам и россиянам, прославившихся своими праведными или неправедными делами в уходившем году.

По прошествии стольких лет сложно опознать всю «коллекцию знакомых лиц» 1911 года, а тем более определить, кто – «звезда», кто – «душка», а кто – «хлопушка». Однако попытаемся поделиться своими знаниями и разысканиями.

Итак, единственное женское изображение размещено на елке в центре и выше всех мужских. Это совершенно справедливо, ведь миловидная дама в овале из лаврового венка – это Одесса-мама. Под ней надпись, выполненная вполне по-одесски, с использованием русского и латинского языков: «Одессе – gloria!» – которую нам без трудов удалось перевести как «Одессе – слава!».

Прямо под «Одессой» импозантный мужчина с головой не на привычном месте, на шее, а в руке, – городской голова, крупный землевладелец, действительный статский советник Николай Иванович Моисеев, плодотворно трудившийся в этой должности с 1909 по 1913 год. В годы его правления в Одессе был пущен электрический трамвай, произошли первые в России полеты российских летчиков, проведена грандиозная торгово-промышленная выставка в Александровском парке. Для городского начальника новогодних пожеланий у шаржиста не нашлось.

Справа, чуть ниже символа Одессы, управляет уткой уникальный спортсмен, авиатор – третий по счету летчик Российской империи и просто любимец Одессы Сергей Исаевич Уточкин, многократно прославлявший свой родной город на велосипедных, автомобильных и авиационных соревнованиях во всем мире. За свою недолгую авиационную карьеру Уточкин совершил полтораста полетов в семидесяти городах России. А.И. Куприн, друживший с авиатором и неоднократно летавший с ним на воздушных шарах и аэропланах, писал об Уточкине: «Если есть в Одессе два популярных имени, то это имена бронзового Дюка, смотрящего над бульварной лестницей, и С.И. Уточкина».

Коронованная чернильницей фигурка слева в неизменном пенсне, с пером и денежным мешком в руках – король среди российских фельетонистов Влас Михайлович Дорошевич,



С.И. Уточкин

проработавший в Одессе около 10 лет. Ему желают ни много ни мало – 1,5-миллиардного годового оклада! Известно, что пригласив Дорошевича в Одессу в начале 1893 года, Навроцкий назначил ему баснословный для журналиста оклад – 500 рублей в месяц, хотя редактор в это же время получал 250 рублей в месяц, а солидный журналист –100. Видимо, внакладе издатель не остался, так как тираж его газеты с появлением Дорошевича резко возрос, а Одесса получила замечательные фельетоны и великолепные эссе на одесские темы.

Шарж «списан» с редкой в наше время открытки серии «Наши литераторы» с карикатурой, подписанной «Пьер О». Под этим псевдонимом скрывался известный художник Сергей Животовский, оставивший под карикатурой Дорошевича подпись: «Влас Дорошевич. Король фельетонистов, перо которого превращает чернила в золото». Опять намек на баснословные гонорары журналиста.

Женская шубка на газетной елке для «натуры» предлагалась художнику-одесситу Николаю Корниловичу Бодаревскому – тонкий намек на его пристрастие к изображению прекрасных об-

наженных женских фигур. Бодаревский окончил Одесскую рисовальную школу, учился в Академии художеств, откуда был выпущен классным художником 1-й степени, получил звание академика Императорской Академии живописи в 1908 году, был членом Товарищества передвижников. Картины Н.К. Бодаревского есть в Третьяковской галерее в Москве и Русском музее Санкт-Петербурга.

Замечен на елке оголтелый черносотенец и антисемит своего времени, прокурор, депутат III Государственной думы, член Союза русского народа, автор



В.М. Дорошевич



Картина Н.К. Бодаревского 1912 г. на открытке



М.Ф. Багров



П.М. Кардиналовский

бредовой брошюры о ритуальных убийствах Григорий Замысловский. На его жуткие измышления в 1911 году ответил великий русский писатель В.Г. Короленко. Г. Замысловский ничего общего с Одессой не имел, но, видимо, его антисемитские творения всколыхнули одесскую общественность.

Актеру Малого театра в 1883-1897 годах, позднее участнику труппы Соловцова, известному российскому театральному деятелю антрепренеру одесского Городского театра Михаилу Федоровичу Багрову явно благосклонный к его творчеству карикатурист желал хороших сборов.

Визави Багрова – генерал-лейтенант в отставке, судья военно-окружного суда в Одессе с 1878 года, почетный мировой судья, член Особого по городским делам присутствия, гласный Одесской городской думы, гласный губернского земского собрания (г. Одессы) Петр Михайлович Кардиналовский был известен как автор публицистических брошюр и военных стихотворений, наиболее известное из которых – «Солдатская песня пехотного 39 Томского полка». По каким причинам на папке с народными

песнями оказалось название лубочного произведения XIX века «Битва русских с кабардинцами», имеющее второе уточняющее название: «Прекрасная магометанка умирает на гробе своего мужа», нам неясно. Сентиментальное творение Николая Зряхова под таким названием, созданное в 1840 году, пользовалось огромной популярностью в России и было переиздано с 1840 по 1917 год 77 раз! Трудно поверить, но, по мнению специалистов, имя Зряхова и его сочинения в эпоху Пушкина и Лермонтова в определенных слоях общества были более популярны, чем имена признанных классиков. Возможно, «Битва русских с кабардинцами» – это название военной брошюры Кардиналовского, случайно совпавшее с названием лубочного опуса.

В послужном списке генерала Кардиналовского председательствование в мае 1906 года в суде, осудившем террориста Бориса Савинкова за организацию террористической деятельности на смертную казнь. Мать осужденного Софья Александровна Савинкова, присутствовавшая на суде, так описывает генерала в своих воспоминаниях: «Я посмотрела на председателя: это был старик очень почтенной наружности. Лицо его было серьезно, с оттенком сознания важности минуты… Председатель, генерал Кардиналовский, видимо, приготовился отнестись к делу добросовестно – он так внимательно слушал, так следил за каждым словом подсудимых…». Упоминает генерала П. Кардиналовского в своих воспоминаниях и сам Савинков, совершивший дерзкий побег из тюрьмы и избежавший таким образом сурового наказания.

Между М. Багровым и П. Кардиналовским, но пониже, уселся на ветке видный меньшевик, депутат III и IV Государственной думы Николай (Карло) Семенович Чхеидзе, остро полемизировавший более ста лет назад с депутатом Ф.Ф. Тимошкиным по поводу представительства в органах местного самоуправления депутатов разных национальностей Закавказья. Неравноправие приводило к межэтническим конфликтам в этом сложнейшем регионе Российской империи. Проект по инициативе правых предусматривал деление избирателей города на русскую и туземную курии с пропорциональным числом гласных.

Выступая по поводу этого предложения, Чхеидзе заметил, что не следует из центра «указывать местному населению, что среди



Н.С. Чхеидзе



И.П. Сенкевич-Корчак

вас есть разница, что среди вас есть русские, грузины, армяне и т. д. …Эта давнишняя политика на Кавказе – разжигания племенных страстей – …никакой пользы не принесла… в особенности Государственной думе не следовало бы становиться на этот путь». По его мнению, интересы всех национальностей в равной мере обеспечивает столь необходимое России всеобщее избирательное право.

Правый Ф.Ф. Тимошкин доказывал, что русское население в закавказских городах притесняется туземцами, а потому ему надо обеспечить не менее трети мест в городских думах.

В 1880-х годах Чхеидзе жил в Одессе, был вольнослушателем Новороссийского университета.

Справа, пониже Чхеидзе, с «Живым трупом» (пьесой Л.Н. Толстого, поставленной во МХАТе в 1911 году) подмышкой – российский театральный деятель, в 1911 году антрепренер театра Сибирякова в Одессе (ныне Украинский театр) Д.И. Басманов.

Симметрично слева – явно несимпатичный двуликий Янус – Тучков, как-то связанный с некой Караваевой. Автор шаржа желает Тучкову получить от этой дамы письмо.

А рядом с ним вполне благообразный с весомым страховым полисом Иван Петрович Сенкевич-Корчак – многолетний гласный Одесской городской думы, член городской управы, почетный мировой судья, практикующий врач-акушер и специалист по женским болезням, принимавший пациентов на Петра Великого, 33, вблизи кирхи.

Приват-доценту Новороссийского университета Михаилу Ивановичу Никольскому, не к месту пустившему в ход кулаки, шаржист Машин прочил кафедру кулачного права.

Еще один депутат III Государственной думы от кадетской партии, активный борец за равноправие евреев в России Лазарь Ниссенович Нисселович расположился почти у основания ели под Чхеидзе, рядом с не обозначенной головой. Как депутат Нисселович внес в Думу законопроект о снятии черты оседлости, подписанный 166 депутатами, который, однако, так и не был рассмотрен. Для Одессы, около трети населения которой составляли евреи, вопрос о черте оседлости и равноправии евреев был очень важен. Саул Боровой в книге «Воспоминания» охарактеризовал Нисселовича как «тусклую политическую фигуру».

Справа под елкой верхом на вагоне, предназначенном для перевозки в Одессу театральных декораций, – великий режиссер, театральный реформатор, один из создателей МХАТа Константин Сергеевич Станиславский, приезда которого с театром на гастроли одесская публика с нетерпением ожидала.

Ко всему этому можно добавить, что портретное сходство карикатур с известными портретами «елочных» персоналий очень велико.

Осталось отметить еще «Бельгийскую лошадку для детей», под которой подразумевалось бельгийское общество трамваев, запускавшее, начиная с осени 1910 года, одну за другой многочисленные линии одесского трамвая.

Собирательному образу одесского обывателя, льющего горькие слезы по поводу «российских серых дней курьезов», желали авторы карикатуры человеколюбия и отзывчивости. С этими пожеланиями перекликается фельетон о судьбе одесского обывателя, опубликованный в августе 1911 года в газете «Одесские новости»: «Трудно приходится одесскому обывателю. Донимают его

налогами. Донимают его «распорядительностью». Донимают его «моисеевцы». Донимает дороговизна квартир, донимает общая дороговизна жизни в городе. Донимает конка, донимает электрический трамвай. Донимают ремонтные комиссии, донимают всевозможные другие комиссии. Такова, видимо, уже доля одесского обывателя, а он, видимо, привык безропотно принимать все, что ни пошлет ему судьба». Не правда ли, звучит вполне злободневно, будто бы не пронеслось над Одессой бурное столетие?

Интересно, как выглядела бы подобная елка с новогодними или рождественскими подарками в наши дни? Какие знаковые фигуры Одессы и Украины попали бы туда? Какие события в городе и стране показались бы важнейшими? Пофантазируем?!



Олег Губарь

Функции Одесского строительного комитета
в контексте истории градостроительства Одессы*

Городские и частные бани плюс сопутствующие обстоятельства

Разумеется, частным лицам никто не запрещал устраивать домашние бани для нужд семьи. Однако приватные бани, становившиеся общественными заведениями, обретали другое качество, подлежали соответствующему налогообложению и контролю. В этом разделе станем говорить о первых городских и приметных частных общественных банях.

Обратимся к дошедшим до нас архивным материалам. 11 сентября 1798 года городское общественное самоуправление заключило годовой контракт с одесскими гражданами Янкелем Давидовичем и Маюркой Нотовичем на содержание городской бани, «называемой Еврейскою», на Северной балке. В счет этого соглашения сказанные граждане обязались платить 352 рубля в городской доход по равным частям – 117.33 – в три приема. Кроме того, каждый из них дополнительно вносил 50 рублей за исключительное право торговать на этой балке водкой. Разумеется, никто другой не имел права содержать здесь торговую баню (домашнюю, семейную – да) и реализовывать пития.[1]

Необходимо пояснить, о какой балке идет речь, с каких пор эта первая городская баня действовала, кто был прежним откупщиком и т. п. Из имеющихся документов видно: содержание бани перешло к «двум евреям» от известного в ранней истории Одессы

* Продолжение. Начало в кн. 35-41, 43, 45-47, 49, 50, 54, 55.



Руины архаичной «турецкой бани»
Рисунок К. Боссоли, 1838 г.

купца Ивана Ростовцова (Ростовцева). Сам купец содержал баню как минимум с 15 августа 1796 года, ибо в архивном деле фигурирует опись инвентаря, отданного «откупщику Ростовцеву до будущего года 15 августа 1797 года» при заключении предыдущего годового контракта. Тут скрупулезно обозначено всё, вплоть до числа балясин (то есть колосников) в печке. Число шаек, между прочим, показывает примерное количество «штатных мест» для «общественной помойки» – около сорока.[2]

Понятно, что городская баня не могла быть построена ранее устройства института общественного самоуправления, магистрата, и соответствующих его распоряжений и контрактов. Таким образом, «так называемая Еврейская баня» построена в 1796 году, наверняка тем же упомянутым Ростовцевым. Название, несомненно, связано с имеющейся там миквой, каковое предположение мы легко подтвердим чуть ниже. Что касается местоположения, здесь тоже нет затруднений. Как уже говорилось, в ту пору Одесса планово подразделялась на Военный (Южный) и Греческий (Северный) форштаты, граница меж которыми проходила по будущему Александровскому проспекту. Оная магистраль начиналась как раз от Северной (Александровской, Греческой) площади, в которую тогда врезалась одноименная балка, впоследствии именовавшаяся Военной – по той причине, что по ее бортам стояли офицерские флигеля, недостроенный морской госпиталь, военный госпиталь, «малая крепость» и т. п. Южной балкой, естественно, была Карантинная.

Получив контракт, Давидович и Ноткович в его счет произвели ремонт и обновили инвентарь, в том числе приобрели 40 новых шаек.[3] А. Орлов, ссылаясь на документы из Московского

архива министерства юстиции, приводит перечень сумм, поступивших в городской доход за 1798 год, в числе которых 84 рубля 63 копейки «за еврейскую баню, состоящую в откупе»[4]. Меж тем «Одесское городовое управление» синхронно провело торги на отдачу в подряд сооружение второй общественной бани – на Южной балке. Надо пояснить: бани ставили в устье балок по той простой причине, что там подходящие гидрогеологические условия, подземные водоносные горизонты здесь проходят на незначительной глубине. Поэтому почти все первые колодцы устраивались на балках и в приморской зоне – это отчетливо видно по архивным документам[5] и на схеме 1807 года[6].



Руины архаичной «турецкой бани»
Рисунок К. Боссоли, 1838 г.

1 ноября 1798 года магистрат заключил контракт с выигравшим торги харьковским купцом Григорием Афанасьевичем Автомоновым, также известным в начальный период истории города подрядчиком. Он обязался построить на отведенном месте каменную баню размерами десять на четыре сажени, высотой от цоколя в четыре аршина, два сарая, напротив бани устроить навес, сделать ограду высотой в три аршина из бутового камня. Для нас крайне любопытен пункт четыре данного контракта: «В бане иметь разделение на две части, то есть мужская и женская, кроме того, для евреев сделать можно входной колодец по их обыкновению, за что я имею получать от них особую плату от меня уже установленную»[7]. То есть тут прямо говорится об устройстве миквы, и теперь становится понятным, почему и первую общественную баню прозвали Еврейской.

Согласно контракту, Автомонов получал неоспоримое право содержать эту баню в течение пяти лет, причем за первый год

он ничего не должен был платить городу, а за следующие четыре – по 250 рублей, а всего 1.000. «За парение» с «рода нижнего звания» лиц полагалось взимать по 5 копеек, а «за теплую рохпу» – еще по 2 копейки. С благородных особ плата взималась по их желанию, но не менее официально установленной. То есть здесь первые одесситы могли не только мыться, париться, но за отдельную плату получать теплую морскую рапу. В соответствии с пунктом 11, в Одессе не должно было быть других общественных бань, «кроме Еврейской, коя должна иметь свое существование по особоченно»[8]. Мы видим, таким образом, что народное название *Еврейская баня* уже фактически узаконено.

По 12-му пункту Г.А. Автомонов на время контракта имел право содержать по всей той балке «шинки, получая вино внутри города», с платежом пошлины городу.[9] Здесь надо уточнить одно обстоятельство. В литературе можно найти некоторые не вполне вразумительные для современного читателя сообщения о распределении дохода от винного откупа, и даже о его ликвидации в 1798 году.[10] На самом деле откуп, конечно, никто не отменял, просто доход от него предоставили Одессе в качестве льготы. А город передал фискальные функции откупщику – херсонскому 1-й гильдии купцу и одновременно коллежскому асессору Ивану (Жану) Дофине[11], в питейной конторе которого и должны были непременно покупать пития «субподрядчики» типа Автомонова.

С 15 августа 1799 года Еврейская баня на Северной балке перешла к другим представителям еврейской общины. Первым лицом, подписавшим контракт по-русски, был руководитель (старшина) кагала купец Фроим Ушерович. Далее следуют автографы Бороха Хмовича (очевидно, Хаймовича) и Янкеля Гершковича – на иврите, дублированные писцом в русском переводе[12]. Янкель Гершкович значится в реестре одесских мещан-евреев 1811 года, тогда в составе семьи было двое мужчин и три женщины.[13]

В договоре 1799 года имеются любопытные уточнения против предыдущего: содержатели штрафуются в случае превышения одноразовой «штатной вместимости» бани более чем на 10 человек, на первый раз – в 5 рублей, на второй – 6, на третий – 7 и так далее. Они по-прежнему занимаются реализацией питей: «На Северной балке по ее отлогостям от самого моря до верши-

ны или до большого казенного двухэтажного дома никто другой кроме нас не будет продавать горячее вино». Означенные лица также имеют привилегии и на торговлю другими напитками (имеется в виду пиво, полпиво, мед), «со времени вольной продажи», на своей территории. Могут они продавать и съестные припасы тоже, но по фиксированным рыночным ценам. Снова подчеркиваю: словосочетание «вольная продажа» не следует понимать слишком вольно. Это означает лишь то, что в реализацию алкоголя вовлечено больше лиц, однако все они строго обязаны производить закупки в питейной откупной конторе. Всего содержатели платят городу, как и в прежнем случае, 352 рубля в год, по третям, причем безоговорочно в назначенные сроки.[14]

Здесь уместно обозначить границы, в которых Ушерович, Хаймович и Гершкович имели право торговать питиями. Это несложно сделать, ссылаясь на только что цитировавшийся документ. Нижняя граница – урез моря, в направлении города – бровка Одесского плато. Верхняя же граница – «большой казенный двухэтажный дом». О каком объекте здесь идет речь? В ту пору двухэтажные дома в Одессе известны наперечет – майора Поджио, поручика Прокопеуса, майора Феликса де Рибаса, майора Буги. Что до двухэтажного казенного дома, таковой вообще был только один – так называемый «дом главного начальника», то есть изначально Иосифа де Рибаса, впоследствии перестроенный и отданный коммерческой гимназии, а затем перешедший Благородному институту (лицею) и вновь достроенный.

У дилетантов может возникнуть вопрос, при чем тут верховья Северной балки. А дело в том, что балка тянулась до самой Греческой улицы, пересекала будущую Дерибасовскую, врезаясь в Северную (Александровскую, Греческую) площадь. Поэтому позже, в 1810-1811 годах, по подрядам построили два деревянных моста – через Дерибасовскую и Ланжероновскую улицы, а затем и Сабанеев мост, непосредственно через Военную балку. Первичный ландшафт и приноровленные к оному строения отлично видны на генеральном плане Одессы 1803 года и его оригинальном варианте 1802-го.[15] Первое частное здание (принадлежало полковнику, а затем генерал-майору Э.Г. Попандопуло) со стороны балки перед «домом главного начальника» стали строить как раз после

составления этого плана. Таким образом, будущий лицейский дом и в самом деле маркировал верхнюю границу территории, отданной под торговлю арендаторам Еврейской бани. То есть они могли торговать спиртным от моря до самой Дерибасовской, но только в пределах «корыта» балки.

С первой декады июля 1801 года представители еврейского общества содержали торговлю питиями и в двух других ареалах, окаймляющих Одесское плато. Первый – «начиная от шинку одесского купца Григория Суслова и здешнего карантина, низом, по над морем, за отделивающуюся от города гавань, и дале за одесскую большую крепость, и как тот равно и одесского купца же Ивана Ростовцова шинки в откуп наш не подходят» (орфография и лексика оригинала). Это означает, что в откуп входила приморская территория от Карантинной балки, низом, до самого мыса Ланжерон. Помимо горячего вина и водок, закупаемых в питейной конторе, дозволялась реализация пива, меда, ренского (то есть рейнского) вина, приобретаемого только у одесских жителей. Горячее вино надлежало продавать квартами (размерность, формально близкая к литру, однако в данном случае – $^1/_{10}$ ведра, то есть штоф) и ведрами (12 литров 300 граммов) по 4 рубля ведро, тогда как закупочная цена составляла 3.50. При мелочной продаже, скажем, чарками ($^1/_{100}$ ведра), содержатели могли назначать любые отпускные цены – по возможностям потребителей. Под контрактом – две подписи на иврите.[16]

Второй ареал – «от овидиопольской дороги низом балкою, на которой колодцы и пудреный завод учреждены, даже до пересыпа». То есть от того места, где дорога на Овидиополь пересекает Водяную балку, низом по балке, вплоть до начала нынешней Приморской улицы. При этом содержатель имел право получать указанную разницу – 50 копеек за ведро – со всех владельцев уже существующих на балке и пересыпе шинков, в частности, при соляном магазине и Херсонской таможне. Кроме того, он получал отчисления от тех заводчиков на балке, которые производили пиво не для себя, а на продажу.[17]

Но вернемся к баням. Первая, так сказать, специализированная общественная баня была устроена в 1808 году при Городовом госпитале (больнице) купцом-подрядчиком Кириллом Антоно-

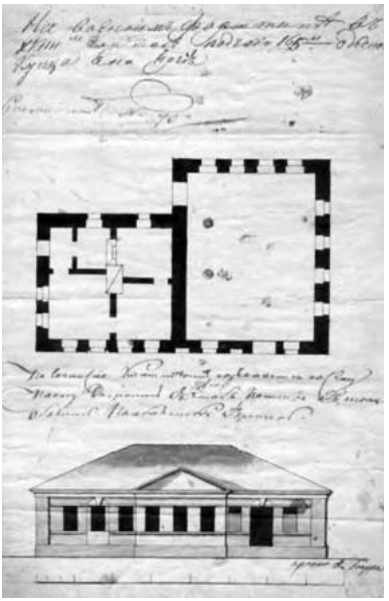
вым. Торги проходили в ОСК 24 и 26 апреля, и в них принимали участие многие известные фигуранты ранней истории Одессы: подрядчик Монако, шляхтич Косовский, солидные еврейские предприниматели Аарон Полнер и Лейба Варшавский, другие. Подряд включал постройку не только бани, но и ограды больницы. Смета составляла 7.673 рубля 95 копеек, но в результате торгов снижена Антоновым до 6.438 руб.[18]

В кондициях от 7 мая 1808 года конкретно сказано: «Дом для бани длиною с наружной стороны от улицы шесть сажен и один аршин, а внутри двора пять сажен, и шириною пять, вышина же – как по плану значится, а фундамент сделать такой, как под стеною (оградительной. – **О. Г.**). Внутри оного сделать полы дощатые, из соснового леса, сухого и прочного (…). Внутри оного дома сделать двое дверей столярных, окон трое со всем прибором, то есть стеклами, задвижками и прочим. Равно двери с приборами, как то замками, задвижками и прочим (…). И в ней сделать каменку, четыре полки из чистых досок по эскизам архитектора (…). Противу входа в баню сделать галерею на четырех колоннах (…)».[19]

Информации вполне довольно, чтобы иметь наглядное представление об этом сооружении, каковое было окончено в первых числах октября. Исполнение контролировали и завершенную работу принимали инженер-полковник Ферстер и архитектор Фраполли.[20]

Любопытны сюжеты, связанные с устройством и функционированием в Одессе бань восточного типа, «под куполами», так называемых *турецких*. Подобная баня (возможно, не одна) существовала еще задолго до чумной эпидемии 1812 года. Устраивали и содержали их преимущественно выходцы из Румелии, то есть европейских владений Оттоманской Порты, – греки и южные славяне либо стамбульские выходцы – греки. Упоминание о подобном заведении, под названием Греческой бани, встречается, скажем, в архивных документах, связанных с мощением улиц и тротуаров.

20 июня 1812-го курировавший работы адъютант де Ришелье, граф Рошешуар, докладывает в ОСК о том, что подрядчик, купец Иван Еройский, отделал «квадрат против Греческой бани в XIX квартале» площадью в 91 квадратную сажень.[21] По информации,



Фр. Франполли. План и фасад дома одесского купца Ени, 1822 г.

помещенной в «Одесском вестнике» в 1841 году[22], видно, что сказанная баня именовалась и «турецкой», а в 19-м квартале размещалась на углу Екатерининской и Полицейской (Бунина) улиц, на месте № 165[23], соответствующем пятну застройки нынешнего дома № 25 по улице Бунина. При первичной раздаче мест под застройку в августе-сентябре 1794 года это место получил титулярный советник Тарасов, а соседнее 166-е – надворный советник Тарасов[24], однако очень похоже, ни тот, ни другой не застроились. Сопоставление городских планов 1802-1803, 1807, 1814 годов и конца 1820-х свидетельствует о том, что не позднее 1802-го застроен лишь небольшой уголок места № 165, выходивший на обе улицы. Примерно такое же положение дел оставалось и в 1807-м, тогда как в 1814-м участок застроен по периметру, с широким въездом со стороны Полицейской, каковой позднее сузился в результате достроек[25].

Из контекста донесения Рошешуара ясно, что *Греческая баня* – устойчивое функциональное словосочетание, бытующее довольно продолжительное время. Газетное сообщение вообще относит ее устройство к последним годам существования татарско-турецкого Хаджибея. Это, конечно, не может соответствовать действительности, ибо, помимо всего прочего, на Одесском плато в ту пору не было потребных для функционирования бани колодцев. Старые турецкие и ранние одесские колодцы находились в балках, где водоносный слой лежал на незначительной глубине. Тем не менее есть все основания

говорить о том, что это была первая баня в нагорной части, и появилась она еще в конце XIX ст.

Несколько смежных мест в этом квартале действительно принадлежали грекам. В архивном деле из фонда ОСК находим конкретную информацию об их владельцах. Так, в документах за март-июнь 1814 года речь идет о доме купца Николая Сурво на месте № 166, в XIX квартале Военного форштата. При этом упоминается и находящийся справа от него дом нежинского грека Стерио Мачоли, с которым Мачоли разбираются кредиторы, два купца 1-й гильдии[26]. Он и есть владелец интересующего нас места № 165, устроитель бани. В отличие от основанных немного позднее, она была однокупольной, то есть мужчины и женщины пользовались ею поочередно. Последующие турецкие (греческие) бани были уже двухкупольными – на два отделения.

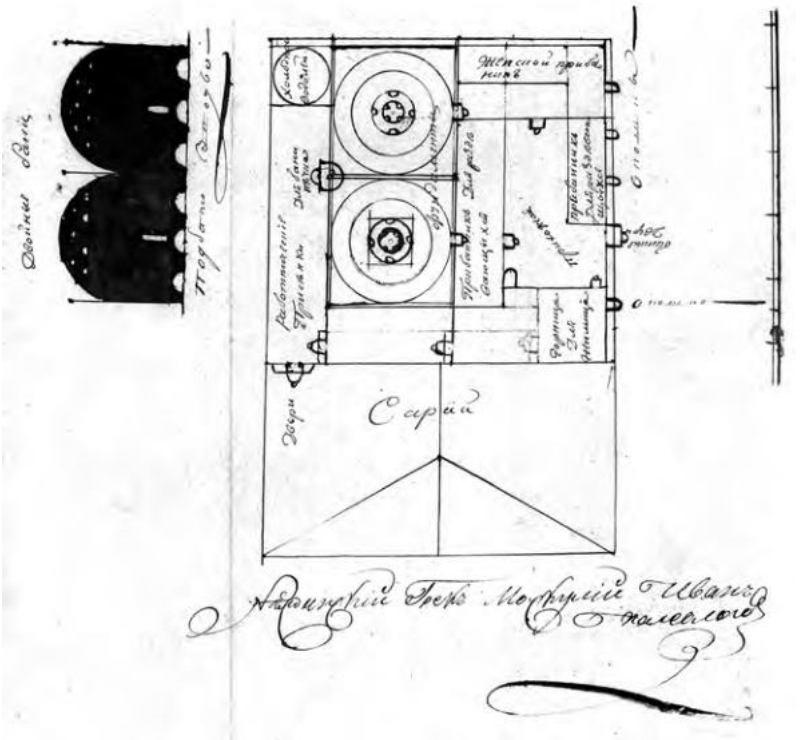
По счастью, о нем дошли кое-какие сведения – в метрических книгах греческой церкви Святой Троицы. Из них мы, в частности, узнаем о том, что нежинский грек Стерио Мачола (Стерий Мачолу) 10 мая 1816 года вступил в брак с Парасковией Станкевич, «вдовою милиционного солдата Дионисия Станкевича», а свидетелями были два одесских купца-грека[27]. Сохранилась и запись о его кончине 30 марта 1821 года, в возрасте 45 лет, причем значится он уже одесским купцом.[28] Все это указывает на то, что «банщик» не только рассчитался с кредиторами, но и нашел средства для вступления в гильдию. Судя по всему, вскоре после кончины Мачоли его вдова продала дом купцу Иенни (Енни), о чем свидетельствует целый ряд обстоятельств.

В 1822 году «Йорги (Георгий?) Ени» застроил свободную на тот момент часть места № 165 стандартным одноэтажным жилым домом по проекту Джованни (Ивана) Фраполли.[29] В крепостной книге Одесского коммерческого суда того же года упоминается покупка другого дома, в трех кварталах от предыдущего, 2-й гильдии житомирским купцом Рудольфом Балтазаровым Иенни[30]. В газетной публикации от 6 апреля 1832 года фигурирует дом с хозяйственными постройками житомирского купца Гавриила Енни на месте нынешней филармонии, оцененный в 27.500 рублей и приносящий 2.000 годового дохода.[31] Очень похоже, речь идет об одном и том же лице, или, по крайней мере, о близкой родне.

Опять, по счастливому стечению обстоятельств, сохранилось как словесное описание этой архаичной бани, так и сделанные с натуры зарисовки. Описание появилось в связи с ее демонтажем, и сочувственное газетное сообщение дышит несколько ностальгически. Из него мы, в частности, узнаем массу любопытнейших деталей, касающихся непосредственно покойного Мачоли: «И теперь еще сохранился у меня в памяти образ одного грека, выходца стамбульского, хромавшего, как Омиров Гефест, и который исполнял свое дело со всеми тонкостями истинного банщика, – пишет автор заметки о «Хаджибейской бане». – Покрыв тело ваше легкой мыльной пеной, выжатою из волокон пальмового листа, он оставлял вас на несколько минут в таком положении под однозвучным говором падавших с потолка капель, а сам пускался в бесконечные рассказы о цареградских сплетниках, о любовных приключениях какой-нибудь ханым, корча старое лицо свое и стараясь передать все ужимки и движения героев своей повести».[32] Что касается видеоряда, это впечатляющие рисунки небезызвестного Карло Боссоли 1838 года.[33]

История Военной (Госпитальной) бани, располагавшейся на склоне нынешнего Приморского бульвара, близ Госпиталя (окрестности устроенной позднее усадьбы М.С. Воронцова), лаконично изложена мною в издании «Автографы Одессы».[34] Впрочем, нахожу необходимым сообщить читателю любопытные архивные ссылки по этой теме.[35]

Еще одну общественную баню «восточного покроя», существовавшую, судя по всему, еще с конца XVIII столетия, устроил нежинский грек, дворянин Москули Палеолог – известный в ранней истории города персонаж. 17 мая 1818 года в Одесский комитет поступило следующее его прошение: «Во 2-й части города Одесса в XXX-м квартале под № 275 при доме моем на середине двора из давнего времени находится баня на греческий вид, которая совершенно уже обветшала и повредилась. Ныне же вознамерился я возобновить оную вновь на хороший вид по прилагаемому рисунку на манер константинопольских бань; вымостить мрамором с мраморными курнями. На каковое строение уже имею в изготовлении часть материала. Комитета всепокорнейше прошу о дозволении мне выстроить, сей бани учинить рассмотрение.



План бани нежинского грека М. Палеолога, 1818 г.

Сие прошение сочинил и переписывал сам проситель нежинский грек Москулий Палеолог. Мая 16 дня 1818-го года».[36]

ОСК на первый случай постановил: «Сообщить в полицию: не будет ли какого препятствия к позволению устроить в городе баню».[37] То была вынужденная мера, поскольку, как мы убедимся ниже, содержатели бань нередко ужасно безобразничали. Но уже 9 июня из Городской полиции доложили, что препятствий к переустройству бани не находят: от соседей никаких жалоб никогда не поступало.[38] Приложенный ранее к архивному делу, на которое ссылаюсь, чертеж бани Палеолога был когда-то отобран для музея «Старая Одесса».[39] По счастью, он, в отличие

от целого ряда других вырванных тогда из контекста документов, сохранился – обнаружил его в фондах Одесского историко-краеведческого музея. Невероятно информативный и симпатичный графический лист.[40] Все говорит о том, что план составлен самим Палеологом: его подпись, пояснительные надписи и проч. Так, он детально помечает назначение каждого из банных помещений: предбанники – раздельно для женщин и мужчин, горницу для банщика, две раздельные комнаты под куполами с вытяжкой («двойные бани»), «холодный водолей» (может использоваться в качестве душевой), «работнические пристенки», сарай и проч. Как видим, довольно продвинутое по тем временам заведение.

Что может означать ремарка о функционировании бани «из давнего времени»? Судя по всему, то, что она была одной из первых, возможно, первой на Одесском плато, то есть в нагорной части города. XXX квартал (я называю его Армянским – по причине концентрации здесь уже в 1820-х представителей армянской общины) ограничен улицами Екатерининской, Базарной, Ришельевской и Большой Арнаутской. Он находился в весьма оживленном районе главного городского торжища, близ Старого базара (Вольного рынка), специализированных торговых рядов, греческой Свято-Троицкой церкви. Место № 275 занимало серединное положение в квартале, по четной стороне Б. Арнаутской – ныне двор дома № 44. Два строения в этом дворе обозначены на генеральном плане Одессы 1802-1803 годов[41] и, очень похоже, возведены ранее.

Синхронно с баней Палеолога в историческом центре функционировала и другая – одесского купца Грачева. 7 июля 1817 года из городской полиции в Строительный комитет пишут: «Во дворе одесского купца Грачева, во 2-й части состоящем, выстроена общественная баня, которой вид (то есть фасад) на улицу так называемую Преображенскую. Из сей бани произведен исток воды в канаву также на улицу, но отсель уже никуда не протекая, застаивается в одном месте, по времени загнивая, производит нестерпимый смрад. Полиция обязываясь за соблюдением в городе чистоты и опрятности, что положение бани купца Грачева есть в неприличном ей месте, а потому и подлежит запрещению…».[42] 3 августа в полицию из Комитета отправлено распоряжение:

не только уничтожить это заведение за нечистоту, но запретить Грачеву вообще содержать баню в городе.[43]

Где именно находилась эта баня? Мне оказалось по силам локализовать ее местоположение. 9 сентября 1815 года супруга одесского мещанина Калашникова сообщила в Строительный комитет о том, что желает построить плановый дом взамен принадлежащего ей капитального флигеля в I квартале Греческого форштата, место № 1. Место занято ею еще до бытности присутственных мест, «с самого начала заведения города». При этом Калашникова ссылается на свидетельские показания соседей, одесских купцов Егора Злобина, Афанасия Янковского, Афанасия Соколова, Александра Грачева, Петра Карлина, Ивана Соколова.[44] Квартал этот ныне находится в пределах улиц Успенской, Преображенской, Троицкой и Александровского проспекта.[45] Всего в квартале 12 мест, а владельцев – шесть, надо полагать, каждый владел двумя. Место Грачева находилось в середине квартала по четной стороне нынешней Успенской, в пятне застройки домом № 62. В то же время мы знаем, что место Грачева выходило фасадом на Преображенскую, то есть баня стояла на месте домов № 64 или 66. Сличение имеющихся картографических материалов свидетельствует скорее в пользу первого, ибо на втором находились явно более солидные постройки.

Сюжет этот имеет довольно неожиданное продолжение. 1 декабря 1819 года жена купца Грачева обратилась в Городскую полицию с челобитной, отчаянно моля о дозволении «топить баню». Жалуется на крайне бедственное положение: ее супруг лишился ума. Прибавляет, что в соседстве не запрещено топить баню.[46] Можно лишь строить допущения, не связана ли болезнь Грачева с лишением заработка, и позволено ли было снова запустить общественную баню. Полагаю, вряд ли. Что касается до топки бани по соседству, это вовсе не означает соседства по кварталу: скажем, заведение Палеолога находилось достаточно близко.

Немного ранее, 6 апреля 1817 года, в ОСК поступило прошение одесских купцов Петра и Стояна Роси (сильно подозреваю, что это небезызвестные Русовы): «Мы намереваемся в собственном нашем доме не в отдаль Греческой церкви построить в дворе баню на манер бань, именуемых турецкими, под двумя куполами,

с разделением мужской от женской, на каковое строение полагаем выписать из Константинополя потребные материалы и надобное количество мраморного камня, а для наполнения бань водой – черепичных труб, для стоку же из бань нечистой воды вырыть яму и сделать проход оной в приличном месте, словом, баню мы намерены выстроить такую, какой в Одессе ныне не имеется, только ожидаем от Комитета на сие разрешения, позволено ли будет нам таковую баню выстроить. Вместо неграмотных просителей купцов Петра и Стояна Росси подписался Иван Ермаков. Апреля 5 дня 1817 года».[47] Едва ли купцы-югославяне были неграмотны, скорее не владели русским.

12 апреля Комитет обратился в полицию с предложением дать свое заключение по бане: не будет ли чрез то нечистоты и безобразия улице, опасности пожара, неблагопристойности.[48] Ответ пришел 5 мая. Полицейские чиновники нашли следующие препятствия: 1) «для стока из бани нечистоты с дурным запахом нет приличного места, разве в общие по городу канавы», если же в особую яму, то и от таковой пойдет смрад, особенно в теплое время; 2) «в смежности сказанного места выстроены домы с значительных капиталов, да тут же вблизи состоят и гостиные ряды, то и сим настоит опасность от пожара». Заключение подписал известный своей добросовестностью полицмейстер Степан Достанич[49].

Из других архивных бумаг видно, что Роси приобрели под застройку четыре места, № 307, 308, 313 и 314, в XXXIV квартале Военного форштата.[50] Ныне это пятно застройки будущей гимназии Иглицкого (СШ № 92, затем № 68) и соседних домов по Успенской, № 54, 56, 58. Таким образом, совершенно очевидно, что эта предполагаемая баня, как и заведения Палеолога и Грачева, тяготела к Старому базару.

В заключение нахожу нелишним обратить внимание заинтересованных исследователей на ряд любопытных архивных и других источников, связанных с существовавшими и проектируемыми позднее общественными банями: командира арестантской роты Драгутина[51], строительного подрядчика Якова Росси[52], престарелого артиста итальянской оперы Бартолуччи[53], почетного гражданина Потапова[54], карантинного боцмана Мокки[55].

По бане Драгутина на Водяной балке сохранился план, составленный известным зодчим Гаэтано Даллаква в 1841 году.[56]

Примечания

[1] Государственный архив Одесской области (ГАОО), ф. 4, оп. 1А, д. 2А, л. 1-2.

[2] Там же, л. 3 – 3 об.

[3] Там же, л. 4.

[4] А. Орлов. Исторический очерк Одессы с 1794 по 1803 год. – Одесса, 1885, с. 64.

[5] Олег Губарь. Функции Одесского строительного комитета в контексте истории градостроительства Одессы. – Дерибасовская – Ришельевская. Одесский альманах (сб.). – Кн. 45. – Одесса: «ПЛАСКЕ» АО, 2011, с. 6-14.

[6] Одесский государственный историко-краеведческий музей (ОГИКМ), инвентарный № К-602.

[7] ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 2А, л. 5.

[8] Там же, л. 5 об. – 6.

[9] Там же, л. 10.

[10] К. Смольянинов. История Одессы. – Одесса, 1853, с. 102.

[11] О Дофине нет специальных публикаций; я собрал относящуюся к нему довольно любопытную информацию: здесь она не к месту, но, надеюсь, станет темой отдельной публикации или же будет включена в более подходящий контекст.

[12] ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 2А, л. 14 об.

[13] Там же, ф. 17, оп. 3, д. 445, л. 5.

[14] Там же, ф. 4, оп. 1А, д. 2А, л. 14.

[15] ОГИКМ, инвентарный № К-600.

[16] ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 2А, л. 73.

[17] Там же, л. 74.

[18] Там же, ф. 59, оп. 2, д. 21, л. 2, 2 об., 3, 4, 6, 14.

[19] Там же, л. 7, 10.

[20] Там же, л. 24, 33.

[21] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 264, л. 95.

[22] Одесский вестник. 1841, 15 февраля, № 14; Олег Губарь. 100 вопросов «за Одессу». – Одесса: Киноцентр, 1994, с. 42-43.

[23] ОГИКМ, инвентарный № К-605.

[24] Записки Одесского общества истории и древностей. Т. III. – Одесса. 1853, с. 592.

[25] ОГИКМ, инвентарные № К-600, К-602, К-605. Plan de la ville d'Odessa. 1814.

[26] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 80, л. 171-175.

[27] Греки Одессы. Ч. I. – Труды Государственного архива Одесской области. Т. II. – 2000, с. 172-173, 266-267.

[28] Там же, с. 172-173.

[29] ГАОО, ф. 895, оп. 1, д. 312; Там же, ф. 59, оп. 1, д. 264.

[30] Там же, ф. 18, оп. 3, д. 7, л. 65-66.

[31] Одесский вестник. 1832, 6 апреля, № 28.

[32] Там же, 1841, 15 февраля, № 14.

[33] ГАОО, ф. 895, оп. 1, д. 29, 30.

[34] Олег Губарь. Автографы Одессы. – Одесса: АО «ПЛАСКЕ», 2012, с. 225, 248.

[35] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 127, л. 477, 478. 480, 482.

[36] Там же, л. 227.

[37] Там же.

[38] Там же, л. 225.

[39] Там же, л. 228.

[40] ОГИКМ, инвентарный № К-331.

[41] Там же, инвентарный № К-600.

[42] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 114, л. 295.

[43] Там же, л. 293.

[44] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 269, л. 261-262.

[45] ОГИКМ, инвентарный № К-605.

[46] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 145, ч. 2, л. 664.

[47] Там же, д. 114, л. 184.

[48] Там же, л. 185.

[49] Там же, л. 186.

[50] Там же, л. 423, 426, 428, 430, 434-436.

[51] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 2538 – 13 л.

[52] Там же, оп. 2, д. 1064 – 24 л.

[53] Там же, оп. 1, д. 3013 – 143 л.

[54] Там же, оп. 2, д. 1516 – 4 л.

[55] Там же, оп. 1, д. 3381 – 9+1 л.

[56] ОГИКМ, инвентарный № К-195.

Евгений Деменок

Одиссея моей семьи

Когда многочисленные иногородние друзья просят меня рассказать им о настоящей Одессе, я обязательно говорю:

– Я родился в типично одесской семье. Я на четверть еврей, на четверть поляк (тут я немного лукавлю), на четверть русский и на четверть украинец. Мой папа живет в Нью-Йорке, двоюродный брат в Чикаго, а тетя – в Нюрнберге.

В разговорах между собой мы часто ругаем свой город и власти. В разговорах с гостями мы так расхваливаем Одессу, что иногда накатывает слеза умиления и ностальгии.

Мы уверены, что все великие люди мира если и не родились в Одессе, по крайней мере у нас жили или бывали, или мечтали об этом.

А еще мы уверены, что все дороги ведут в Одессу. Так случилось и с моей семьей.

Мне кажется, этого вполне достаточно, для того чтобы понять, кто такие настоящие одесситы и что такое Одесса.

* * *

«Одесский листок», 26 февраля (10 марта) 1883 года

Крейсер «Петербург» вышел из Марсели в прошлую субботу и на этих днях ожидается в Одессу. Немедленно по приходу сюда «Петербург» начнет готовиться к отходу со второй партией переселенцев, которая должна прибыть через несколько дней. Рассчитывают, что к 10 марта «Петербург» успеет принять груз и переселенцев и отойти из Одессы.

* * *

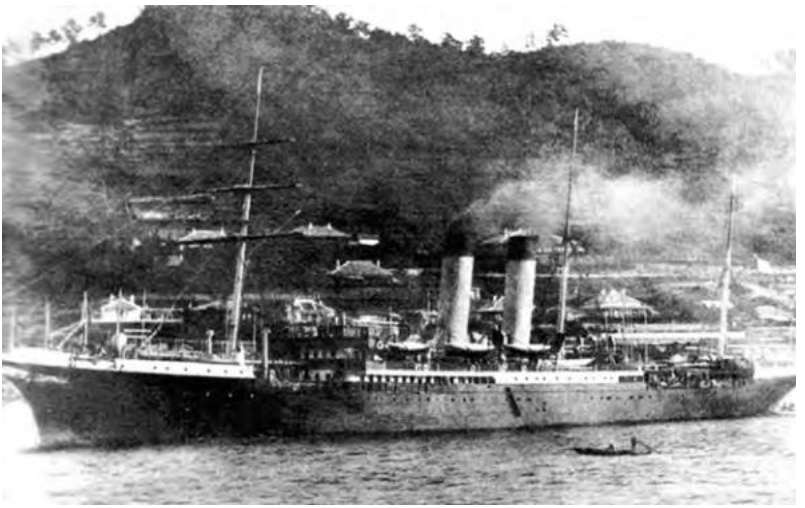
Я всегда думал, что одесская история нашей семьи началась весной 1944-го, когда дедушка Соломон, военный врач, вместе с первыми советскими войсками вошел в освобожденный город и остался тут вместе со своей частью. Позже к нему приехала бабушка Таня, остававшаяся вместе с трехлетней дочерью – моей тетей Людой – в эвакуации в Баку, в городе, немного похожем на Одессу. Именно в Баку бабушка и дедушка, студенты медицинского института, встретили друг друга. В Баку в августе 1941-го родилась моя тетя, а папа родился уже в Одессе – в сентябре 1945-го. Так что я горжусь своим званием одессита во втором поколении.

В Одессу дедушка Соломон прибыл в чине капитана, получив сразу после окончания войны майора. Карьера его в Одессе сложилась успешно, и это неудивительно, учитывая его, выражаясь казенным языком, «профессиональные и личностные характеристики», за исключением одного маленького эпизода, когда всю семью весной 1953 года чуть было не выслали на Курильские острова – конечно же, по делу врачей. А за два года до этого дедушку перевели в Котовск – человеку с фамилией Штейн было тогда неприлично работать военным врачом в Одессе. Счастливую точку во всей этой истории совершенно неожиданно для себя поставил мой папа, которому было тогда восемь лет. Перед отъездом на Курилы всем членам семьи нужно было пройти медицинское обследование, которое должно было подтвердить, что дальневосточный климат не будет для них пагубным. У папы очень кстати выявили вдруг простуду – причем такую, которая ну никак не позволяла уехать из наших благодатных южных краев. Учитывая, что в те годы «решить вопрос» с врачами в сегодняшнем понимании было категорически невозможно, случившееся можно считать чудом, произошедшим на фоне ослабления «еврейского вопроса» после недавней смерти Сталина.

* * *

«Одесский листок», 1 (13) марта 1883 года

Прибытие крейсера «Петербург». В воскресенье утром в Одес-



Пароход «Петербург»

су прибыл из Марселя крейсер Добровольного флота «Петербург», совершивший переход из Константинополя до Одессы в 20 часов и делавший по 14,7 узлов в час. Из Константинополя крейсер вышел 26 февраля в 9½ часов утра, а в Одессу прибыл 27 февраля в 5½ часов утра, причем по случаю сильного тумана «Петербург» сделал большой круг, пройдя дальше Дофиновки. Со вчерашнего дня «Петербург» стал приготовляться к отходу с переселенцами, которые на днях должны прибыть в Одессу.

* * *

День смерти Сталина мои родители помнят до сих пор – столько плачущих одновременно людей им, видимо, больше не довелось увидеть. Папа помнит, как специально выделенный взрослый проводил его из школы домой, на Чичерина, 7. Папину мужскую 39-ю школу объединили потом с женской школой, что на Маразлиевской между Базарной и Успенской. Тогда она располагалась на Энгельса, между Кирова и Чичерина.

Я, кстати, и сам много лет не мог привыкнуть к «новым» старым названиям улиц.

* * *

«Одесский листок», 4 (16) марта 1883 года

Отход из Одессы пароходов на Дальний Восток. Как мы уже сообщали, 8 марта из Одессы отходит крейсер «Кострома», на котором отправляется 60.000 пуд. переселенского груза и семейства ссыльно-каторжных, добровольно следующие на Сахалин. 10 марта отойдет крейсер «Петербург» со второй партией переселенцев и частным грузом; все приспособления для помещения переселенцев уже окончены… Таким образом, в нынешнем году из Одессы отходит на Дальний Восток семь пароходов, чего прежде еще не бывало.

* * *

«Еврейский вопрос» сопровождал нашу семью всю «советскую» жизнь. Даже в нашем городе было не так много военных врачей с «пятой графой». А ведь дедушка был не просто врачом – в шестидесятых он стал заведующим рентгенологическим отделением нашего 411 военного госпиталя, а потом и главным рентгенологом Одесского военного округа. И на ежегодных встречах главных рентгенологов военных округов, проходивших обычно в столицах советских республик – а было их, рентгенологов то бишь, на всю страну человек восемнадцать, – он со своей типично сефардской внешностью вызывал, конечно же, повышенный интерес и внимание. А если еще учесть, что выпивать он не любил и спиртное переносил с трудом… В общем, выход был один – юморить. И дедушка возил с собой маленькую, совсем маленькую книжечку, в которой было записано множество анекдотов. Причем записаны они были в сокращенном виде, вот так, например: «П. ск. В.И. – и. в ж.!» Умеющий думать да поймет.

Дедушка руководил рентгенотделением госпиталя до 1973 года, потом демобилизовался и ушел работать «на гражданку» – в 10-ю горбольницу. Конечно же, рентгенологом. И даже через много лет после смерти дедушки, когда родители приводили меня на обследование в 10-ю больницу, двери кабинетов раскрывались перед нами без очереди – дедушку Соломона любили и помнили.

* * *

«Одесский листок», 8 (20) марта 1883 года

Прибытие второй партии переселенцев. В воскресенье в 11 час. 20 мин. с поездом железной дороги прибыла вторая партия переселенцев в числе 735 душ. После прихода поезда на вокзал приехали г. управляющий канцелярией г. генерал-губернатора д. с. с. А.А. Корнилов и г. полицмейстер Я.И. Бунин. На вокзале все переселенцы были подвергнуты врачебному осмотру, причем все оказались здоровыми. С вокзала переселенцы были отправлены для размещения в полицейские участки и казармы. Завтра переселенцы будут посажены на крейсер «Петербург», где в 2 часа назначено напутственное молебствие, а послезавтра, 10 марта, крейсер отойдет из Одессы в дальний вояж.

* * *

Вообще, по папиной части корни у меня удивительные. Прапрадедушка Исай, живший в Белоруссии и бывший вполне земным человеком и зажиточным мельником, родил прадедушку Леву – непутевого бродягу, жившего зачастую случайными заработками и кочевавшего по всей черте оседлости, а после революции – и за ее пределами. Прабабушка Софья любила и его и терпела, а география их перемещений видна в дедушкиных анкетах и автобиографиях – Украина, Ташкент, Казань, Ленинград… Дедушку они родили в Алчевске и в конце концов осели в Баку, на родине прабабушки. По бабушкиной линии все еще интереснее – бабушка происходила из польского княжеского рода Квятковских, сосланных в Сибирь в 1830-м после первого восстания польской шляхты. Из троих братьев Квятковских двое потом вернулись в Польшу, а третий перебрался в Томск, где стал золотопромышленником. Его сын, Александр Квятковский, мой двоюродный прапрадедушка, после раскола партии «Земля и воля», состоявшегося при его активном участии, стал одним из основателей секретной террористической группы «Свобода или смерть», а затем и «Народной воли», войдя в ее исполнительный комитет. За участие в подготовке двух покушений на императора Александра II он был приговорен к повешению в Петропавловской крепости вместе с другими четырьмя активными участниками знаменитого «Дела шестнадцати». Несмотря

на ожидаемый приговор, мой прапрадедушка выступил на процессе с программной революционной речью. Александр помиловал трех из пяти приговоренных, и 4 ноября 1880 года в 8 часов 10 минут утра в Иоанновском равелине Петропавловской крепости повешены были только двое: социалисты-революционеры Александр Александрович Квятковский и Андрей Корнеевич Пресняков.

Эта казнь не остановила других Квятковских – революционной деятельностью продолжили заниматься сестра Александра Юлия и брат Тимофей, а потом и сын – тоже Александр Александрович. «Мой милый, дорогой мальчик, целую тебя тысячу раз. Не могу сказать тебе – старайся походить на меня. Но скажу тебе: уважай то, что я уважал, и люби то, что я любил. Это тебе мое отцовское завещание. Мать тебе объяснит это», – писал Александр Квятковский в предсмертной записке своему сыну. Сын сделал все, чтобы походить на отца. Он стал участником первой русской революции, искровцем, входил от большевиков в состав ЦК РСДРП, был близким товарищем Красина и Рыкова, тесно общался с Лениным и возглавлял в начале 20-х в Англии крупную советскую внешнеторговую компанию «Arcos Ltd.», имевшую даже свой собственный банк.

В середине 60-х папа со своим двоюродным братом Вячеславом Квятковским, гуляя по Питеру, зашли в Петропавловскую крепость и решили разыграть директора музея, рассказав о том, что они по поручению бабушки пришли узнать, почему в крепости до сих пор не установлен памятник их легендарному родственнику. Узнав фамилию родственника, директор начал так усердно оправдываться перед юношами за это недоразумение, возникшее по причине недостаточного финансирования музея, что им стало совершенно неловко.

Прямые мои предки по папиной линии политической деятельности предпочли научную. Прадедушка Михаил Тихонович, чей отец был еще одним из братьев знаменитого народовольца, был профессором математики и заслуженным гидрометеорологом СССР. Дедушка Женя стал выдающимся геохимиком, профессором, заведующим кафедрой в Ленинградском горном институте, воспитавшим сотни учеников; а дедушка Волик, он же Всеволод Михайлович, был доцентом кафедры электротехники того же ЛГИ. Интересно, что родившийся до революции дядя Волик (так называет его папа, так привык называть и я) был записан в родословную книгу как потомственный дворянин.

* * *

«Одесский листок», 11 (23) марта 1883 года

Напутственное молебствие на крейсере «Петербург». Вчера в 2 часа дня на крейсере Добровольного флота «Петербург» преосвященным епископом Неофитом было отслужено напутственное молебствие для переселенцев, отправляющихся в Южно-Уссурийский край. На молебствии присутствовали его высокопревосходительство г-н одесский генерал-губернатор ген.-ад. И.В. Гурко, управляющий канцелярией генерал-губернатора д. с. с. А.А. Корнилов, инспектор Добровольного флота М.В. Вахтин и др. лица. Крейсер отошел в начале пятого при весьма пасмурной погоде и густых хлопьях снега. Всех переселенцев 806. Сопровождает их чиновник мин. внутр. дел г. Плеске, который по приезде на место назначения (во Владивосток) займет там должность секретаря переселенческой конторы.

* * *

После окончания восьми классов папа пошел работать слесарем в ОТТУ – Одесское трамвайно-троллейбусное управление, а по вечерам учился в школе рабочей молодежи. Дедушка с бабушкой перестраховывались – поступить в институт сразу после школы парню с такой фамилией было в те годы непросто. Совсем непросто. Прошло почти восемьдесят лет с тех пор, как в российских учебных заведениях была принята так называемая «процентная норма» для учащихся-евреев, и все почти вернулось на круги своя. Интересно, что процентная норма началась именно с Одессы – после прошедших в конце 1880 года в некоторых гимназиях беспорядков попечитель Одесского учебного округа Н.А. Лавровский предложил Александру II ограничить прием евреев в средние учебные заведения нормой в 10 процентов. Спустя три года одесский генерал-губернатор Иосиф Владимирович Гурко в своем докладе уже Александру III смягчил предложение Лавровского – он говорил уже о 15 процентах, или проценте, равном отношению количества местного еврейского населения к общему количеству населения данной местности. Что для Одессы, собственно, означало почти треть учебных мест.

Папа в конце концов поступил на радиотехнический факультет политехнического института. Факультет был тогда на пике моды.

* * *

Телеграмма из Одессы в Иркутск, генерал-губернатору, от 10 марта 1883 года

«794 переселенца и двенадцать ходоков отправились сегодня на пароходе «Петербург».

Подписал: генерал-адъютант Гурко.

* * *

Почти до самого окончания политеха в 1966 году папина семья – дедушка, бабушка, папа с сестрой и даже прабабушка Катя, окончившая когда-то Смольный, – жили в легендарном доме № 7 на Чичерина. В фасадной части дома жили шесть профессорских семей. С главами двух из них – ректором сельхоза Мельником и профессором Добролюбским – дедушка Соломон крепко дружил. С Добролюбским их свела общая страсть к книгам. А еще в этом доме жила – собственно, и сейчас живет – легендарная Кира Муратова. Папа вспоминает ее как довольно сварливую барышню – еще бы, ведь они, забираясь на крышу готовиться к экзаменам или любоваться Одесским заливом, грохотали прямо у нее над головой.

* * *

Несколько лет мы с родителями жили на Черемушках, в дедушкиной с бабушкой квартире, в которую они переехали уже в середине семидесятых. Самый большой интерес для меня там представляла дедушкина огромная библиотека – он был заядлым библиофилом и покупал, кажется, все выходившие в те годы собрания сочинений. Мне довелось даже составить полный каталог этой библиотеки – на это ушло больше месяца. Книги в глубоких шкафах стояли в три, а иногда и в четыре ряда, и каждый раз для меня открывались все новые и новые сокровища. Вы же знаете, каково это – разбирать книги. Неизбежно начинаешь их пролистывать, потом читать… И только огромным усилием воли я возвращал себя к рутинному процессу переписи.

* * *

Дома у дедушки Миши – а в его с бабушкой Тоней доме я и вырос – книг было гораздо меньше. Благодаря этому я и сейчас помню почти все их названия наизусть. Зато на книжных полках было множество тех милых вещиц, которые как раз больше всего и запоминаются ребенку, поражая его воображение. Игрушечная карета с желтыми шторками и встроенной внутрь лампочкой, которая так загадочно светилась по вечерам. Фарфоровые олени, которым бабушка говорила время от времени: «Олени, олени, покатайте Женю». Веселые маленькие клоуны – солонка и перечница. Наводившая на меня ужас маленькая фаянсовая голова мужчины с длинным-длинным носом… Мужчина этот както особенно улыбался – загадочно и нехорошо. Голову вставляли в открытую бутылку, и из носа в бокалы лилось вино или – для меня – лимонад. А еще – непонятная черная керамическая то ли свистулька, то ли обломок подсвечника… «Дедуля, а что это такое?» – спросил я однажды, долго рассматривая эту штуковину под разными углами. «Это чубук», – ответил дедушка. О том, что такое чубук и как он попал в наш дом, я узнал гораздо позже.

* * *

«Одесский листок», 18 (30) марта 1883 года

Крейсер «Петербург» благополучно прибыл 16 марта в Порт-Саид; переселенцы и команда здоровы. На крейсере отправились 521 человек взрослых, 150 от 4 до 10 лет, 71 от 2 до 4, 42 моложе 2-х лет и 22 грудных.

* * *

О том, что дедушка Миша родом с Дальнего Востока, я знал с раннего детства. Он часто рассказывал мне о своей семье, жившей в селе с таким непривычным нашему уху названием Майхэ; о братьях и сестрах, которых у него было множество – дедушка был младшим, четырнадцатым ребенком в семье. Из его рассказов Приморский край представлялся мне диковинной благодатной землей, прародиной всех Деменков. Там среди сопок текли полноводные реки, изобиловавшие рыбой, земля давала небывалый

урожай, в уссурийской тайге водились медведи и тигры и росли диковинные растения с необычными свойствами. И действительно – попробовав впервые настойку лимонника, присланную нам родственниками из Владивостока, я ощутил себя атлантом, способным не только держать на себе земной шар, но еще и играть им в футбол. А еще наша прародина была просто-таки переполнена красной икрой. Да-да, ее тоже присылали нам время от времени далекие родственники.

Дедушка научил меня считать до десяти по-корейски. Встретившись много позже с профессором из Сеула, я продемонстрировал ему свои умения. «Действительно, так считают на севере», – сказал мне профессор.

* * *

Томск стал первым пересечением – в пространстве, не во времени – моих корней, моих источников. Семнадцатилетний дедушка Миша поступил в Томское артиллерийское училище. Как жаль, что я не записывал его рассказы… Только недавно я понял, что участвовать в настоящей войне ему пришлось уже в девятнадцать – на Халхин-Голе, во время военной операции против японцев. Медаль «30 лет Халхин-Гольской победы» я помню с детства, а вот соотнести дедушкин возраст и время этой локальной войны догадался только сейчас…

Дедушка стал кадровым военным. Прошел войну от первого до последнего дня, начав ее под Брестом и закончив в Кенигсберге. Оборонял Ленинград, воевал на Невской Дубровке. Во время обороны Ленинграда познакомился с бабушкой Тоней, служившей связисткой. Бабушка родом из-под Ораниенбаума, в ней смешана русская и карело-финская кровь. В детстве говорила со своей мамой, моей прабабушкой Федосьей Матвеевной, на финском. Прабабушка Феня родила бабушку Тоню в сорок восемь лет. Это был ее первый и единственный ребенок. Я до сих пор поражаюсь, как такое могло произойти, хотя десятки раз изучал бабушкины документы…

Увы, считать до десяти на финском бабушка меня не научила. Хотя – еще не поздно.

* * *

Карьера военного в советское время означала постоянные переезды. Мама, родившаяся незадолго до конца войны в Сибири, куда дедушка отправил бабушку – подальше от фронта, – в детстве сменила восемь школ. Дедушку переводили из части в часть почти каждый год. Цюрупинск, Симферополь, Потсдам, Ананьев, Николаев, Ленинград, Рауховка под Одессой и, наконец, Одесса. В Одессу первой приехала мама – в 1962 году, заканчивать школу. Бабушка с дедушкой перебрались в 1965 году – дедушка преподавал в Одесском общевойсковом командном училище.

Так встретились во времени и пространстве две ветви моей семьи.

С раннего детства я каждое лето путешествовал вместе с бабушкой и дедушкой. Самой первой поездкой как раз и был Ленинград – мне было тогда шесть. Потом – новые города. Рига, Минск, Тбилиси, Киев, Москва, Ереван… И – предвкушение главной поездки. На родину дедушки. На Дальний Восток. Когда мы поехали туда, мне было уже пятнадцать.

* * *

Село Штыково (Майхэ), расположенное в живописной долине реки Артемовки (Майхэ), основано 13 апреля 1883 года переселенцами из Полесских сел Черниговской губернии. Это были георгиевские кавалеры русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

* * *

Именно в Майхэ мы и приехали. Жили у дедушкиного брата Степана, в том самом родительском вросшем в землю и пропахшем сыростью доме, в котором дедушка вырос и откуда уехал учиться. Там я впервые попробовал сливовую брагу, буквально свалившую меня с ног; там с огромной овчаркой, которую приручил за пару дней, гулял по окрестным лугам, распугивая доверчивых коров, а в реке оказалось настолько сильное течение, что меня, привыкшего к спокойным морским купаниям, снесло на добрых полкилометра вниз – выбраться удалось чудом.

Я привык к тому, что в Одессе мы одни. Мы – это Деменки. Фамилия настолько редкая, что у нас нет однофамильцев – только родственники. Но это в Одессе. Теперь-то я знаю, что исторически почти все Деменки – родом из бывшей Черниговской губернии. Село Деменка и сейчас существует – в Брянской области, в России. В Белоруссии есть два села Деменка – в Гомельской и Могилевской областях. Да чего уж там – село Деменка есть и около Ясной Поляны, именно в нем жил одно время Владимир Григорьевич Чертков, друг, редактор и издатель произведений Льва Николаевича Толстого. В Украине, в Полтавской области, есть село Деменки. «К селу примыкает большое болото», – пишет Википедия. Такое же болото примыкало и к селу Кожаны Суражского района Черниговской губернии, в котором жили мои предки до отъезда на Дальний Восток. Но и там от болота уйти не удалось – река Майхэ часто разливалась, смывала посевы и заболачивала землю. Мы гуляли у реки, и дедушка показывал мне старое кладбище – точнее, то, что от него осталось; Майхэ разливалась, меняла русло и смывала могилы. Мне было жутковато представлять себе плывущих вниз по реке покойников. А на новом кладбище меня поразили ряды могил и памятников с нашей фамилией. Майхэ действительно стало новым родовым гнездом Деменков.

Где-то через неделю мы уехали в Анучино, к сыну Степана, Михаилу Степановичу, о котором дедушка рассказывал мне еще дома. Дедушкин племянник работал лесником и писал книги – собственно, и сейчас пишет. Его книги – о животных, об Уссурийской тайге – даже входят в учебную программу российских школ. Михаил Степанович водил нас по тайге, показывал места, где встречал тигров, и я наконец увидел, как растет лимонник. А по вечерам он читал нам отрывки из своей будущей книги – о русских первопоселенцах в Приморском крае. Отрывки сложились потом в роман-трилогию «У залива Виктория». Тогда я впервые узнал, что вся дедушкина семья попала в Майхэ морским путем – на пароходе, вышедшем из Одессы. В последний вечер Михаил Степанович спросил у дедушки, сохранил ли тот дедов чубук.

– Конечно, – ответил дедушка и достал из кармана завернутую в платок ту самую свистульку, о которой я расспрашивал его в детстве. – Всю войну он был со мной.

* * *

Обратно мы летели самолетом – из Владивостока в Одессу. С тремя пересадками, шестнадцать часов. Времени было вполне достаточно, для того чтобы узнать у дедушки загадку чубука.

– Когда я уезжал в Томск учиться, отец подарил мне дедов чубук. Чубук этот турецкий, дед Аким привез его с русско-турецкой войны, из Болгарии. Родители дали мне его как амулет – наверное, чувствовали, что мне придется воевать. Дед Аким и его брат Михаил были георгиевскими кавалерами, воевали под началом генерала Скобелева.

Я потом часто и подолгу разглядывал чубук. Даже пытался использовать его по прямому назначению – тайком от дедушки. Он и сейчас лежит на книжной полке – только уже у меня дома.

* * *

Прошло много лет, прежде чем я начал серьезно интересоваться историей семьи. Нет, конечно же, во время поездки на Дальний Восток я даже составил семейное древо – нарисовал его в тонкой тетрадке в клетку. Где она теперь? Уезжать тогда не хотелось – покрытые зеленью сопки и бухта Золотой Рог настолько поразили меня, что я даже – полушутя, полусерьезно – предложил дедушке оставить меня там, во Владивостоке. Ну правда – что может быть лучше моря? Только море и горы.

В сорок лет у мужчин случается не только кризис среднего возраста. Происходят еще и другие странные вещи. Во-первых, начинает хотеться больше отдавать, нежели брать. Во-вторых, просыпается интерес к своим корням – предкам, родным, городу, в котором родился и живешь. И вот совершенно случайно, лежа с айпадом в гостинице после напряженного командировочного дня, скользя по океану Интернета и ныряя в его глубины – недаром для поисков там используется английский глагол surf, – я вынырнул с потрясшей меня информацией. Я нашел полный список своих родных, отправившихся во Владивосток из Одессы на пароходе «Петербург» 10 марта 1883 года.

После этого на два месяца я пропал. Нет, тело мое исправно ходило на работу и делало все остальные нужные и привычные

вещи. А вот ум и воображение были там – сначала в Черниговской губернии, откуда первопоселенцы отправились в Одессу, затем с ними в сорокадневном переходе через Индийский океан и затем на новом месте, в новой жизни – в Уссурийском крае. Я прочел об этом тысячи страниц. Постараюсь уместить все на нескольких.

* * *

Газета «Владивосток», № 3 от 1 мая 1883 года

«Вопрос о содействии правительства делу населения Южно-Уссурийского края, который так долго интересовал наше общество, начал, наконец, осуществляться, решенный в благоприятном для края смысле. Первые полторы тысячи здесь.

Мысль об искусственном заселении края высказывалась еще в шестидесятых годах, скоро после подписания Пекинского договора, когда край еще имел пустынный вид и почти не имел жителей; будущность Владивостока как главного порта на берегах наших азиатских владений предугадывалась тогда же, и отсюда идея об его обеспечении заселением китайской границы выяснялась сама собой. Но затруднений всегда и во всем много, в особенности когда речь идет о столь отдаленных местах, как наше.

Прошло около двадцати лет, пока вопрос решился утвердительно, и много еще пройдет времени, пока решение правительства сделается осуществившимся фактом. Первое затруднение – выбор людей для заселения».

* * *

Действительно, территория Приморья, до революции обозначаемая географами как Южно-Уссурийский край, была включена в состав Российского государства на основе Айгуньского и Пекинского договоров (1858 и 1860 годы), которые оформили юридически раздел территорий между Россией и Китаем. Край стал частью Приморской области, в которую включено было все дальневосточное прибрежье Сибири – Чукотка, Камчатка, Сахалин, Нижний Амур, Охотский, Удский и Уссурийский края. Приморская область входила, в свою очередь, в состав Восточно-Сибирского,

а затем – Приамурского генерал-губернаторства. Всю эту бюрократическую цепочку легко проследить в переписке должностных лиц, руководивших тогда этим огромным краем. Уссурийский край, собственно, как и остальные дальневосточные территории, был очень слабо заселен: в 1861 году в нем проживало менее 20 тысяч человек. И все это по соседству с Китаем, который сознательно и активно заселял приграничные с Россией земли. Ничто не ново…

Что оставалось российским властям? Искать желающих переселиться и привлекать их льготами. Поначалу все шло ни шатко ни валко – переселенцы добирались в Приморье посуху. Путь этот длился около двух лет и был чрезвычайно трудным. Естественная мысль – перевозить первопроходцев по морю – если и зрела в каких-то чиновничьих головах, но реализоваться не могла – до тех пор, пока у России не появился «Доброфлот».

* * *

Пароходное общество «Добровольный флот» создавалось в 1878 году на волне патриотического движения. Благодаря добровольной подписке в июне 1878-го у Гамбургско-Американского пароходного общества удалось приобрести пароходы «Россия», «Москва» и «Петербург», а вскоре еще один – «Нижний Новгород». В 1878-79 годах эти пароходы перевозили русские войска из Варны и Бургаса в Одессу и Севастополь. В 1880 году пароход «Москва» открыл регулярное товаропассажирское сообщение между Одессой и портами Дальнего Востока, для чего в Одессе открыли специальную контору.

Из «Морской энциклопедии Одессы»

* * *

Крестьянина тяжело поднять с места. Особенно с места хорошего, веками обрабатываемого его семьей. Властям пришлось искать желающих переселиться в самых бедных губерниях европейской части России. Ведь отмена крепостного права дала крестьянам не только свободу – у многих, как это ни странно звучит, она резко ухудшила материальное положение. Приходилось

выкупать у государства землю, и назначенная за нее цена зачастую многократно превышала реальную – заработать такие суммы не представлялось возможным. И когда 1 июня 1882 года Государственный совет утвердил решение об организации переселения в Южно-Уссурийский край, опрос среди желающих туда отправиться крестьян в первую очередь проводился в Новгородской, Екатеринославской и Черниговской губерниях. Желающие нашлись только в Черниговской.

Переселенцам предоставлялись многочисленные льготы – им отводили в бесплатное пользование участок земли до 100 десятин на каждое семейство, они навсегда освобождались от подушной подати и на 10 лет – от рекрутской повинности; за небольшую плату поселенцы могли дополнительно приобретать землю в частную собственность; в крае была введена беспошлинная торговля (режим порто-франко). Не правда ли, это в чем-то напоминает Одессу?

Но и это не все. В 1882 году было принято решение в течение трех лет отправлять по 250 семей переселенцев за казенный счет, причем каждой семье кроме упомянутых выше льгот полагались безвозвратно: дармовой проезд морем от Одессы во Владивосток; продовольствие на полтора года; 100 рублей на заготовку материалов для жилища; пара голов рабочего скота и корова; ружья и патроны к ним; семена для полевых посевов и огорода и различные предметы хозяйственного обзаведения – от земледельческих орудий до печных приборов и сит для просеивания муки. С 1883 по 1885 годы бесплатно перевезено было 754 семьи (4668 человек), и все они были родом из Черниговской губернии.

Об организации переселения подробно рассказывает второй том «Сборника главнейших официальных документов по управлению Восточной Сибирью», который так и называется: «Переселение русских людей в Приамурский край». Издан сборник в Иркутске в 1884 году по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири Дмитрия Гавриловича Анучина. В третьем выпуске его рассказывается о «кругосветном переселении в Южно-Уссурийский край и устройстве там 1-й партии переселенцев, отправленной из Одессы в 1883 году». Вот в этой-то партии и прибыли на Дальний Восток мои прапрабабушка и прапрадедушка.

История в письмах, телеграммах и отчетах о кругосветном переселении читается как приключенческий роман, основными героями которого являются ходоки (осенью 1882-го на пароходе «Нижний Новгород» во Владивосток отправились выбранные общинами ходоки, разведчики, которые должны были определить пригодность нового края для проживания и найти места для поселения), сами переселенцы и несколько ключевых фигур, которые, собственно, все организовали: сам генерал-губернатор Анучин, надворный советник Буссе, чья должность так и называлась – заведующий переселением в Южно-Уссурийском крае; военный губернатор Приморской области Баранов и… одесский временный генерал-губернатор Гурко.

Да-да, без Одессы никак не обошлось даже такое, казалось бы, далекое от нее дело, как переселение на Дальний Восток.

* * *

Телеграмма из Иркутска в Одессу, генерал-губернатору, от 13 октября 1882 г.

Все предметы продовольствия и семена для переселенцев первой партии благоволите приказать приобрести в Одессе с тем, чтобы семенной пшеницы выслать половину предположенного количества, заменив другую половину ярицей. Если приобретение ярицы затруднительно, то следует выслать все количество семенной пшеницы.

Подписал: генерал Анучин.

* * *

Именно на плечи генерал-адъютанта, героя русско-турецкой войны 1877-1878 годов Иосифа Владимировича Гурко легла забота не только об организации отправки переселенцев на Дальний Восток, но и о полном снабжении их всем необходимым. А необходимы были не только пшеница и рожь, но также плуги и лопаты, огородные семена и скаты колес, одеяла и белье, одежда и обувь, оборудование для будущих магазинов, медикаменты, посуда и многое, многое другое.

* * *

Генерал-губернатор Восточной Сибири – господину военному губернатору Приморской области.

12 марта 1883 года, г. Иркутск

Из телеграмм моих ваше превосходительство известились, что на добровольцах «Россия» и «Петербург», вышедших из Одессы 4 и 10 марта, отправилась в Южно-Уссурийский край кругосветным путем первая партия переселенцев в составе 1588 человек. Кроме того «Петербург» взял на себя еще 12 ходоков от тех семейств, которые войдут в состав второй партии, имеющей отправиться раннею весною 1884 года.

Таким образом, столь желанное для Южно-Уссурийского края переселение не только уже началось, но и благополучно исполнено из первой его части, вывоз и отправление переселенцев из Одессы.

Подписал: Генерального штаба генерал-лейтенант Д. Анучин.

* * *

О русских первопоселенцах в Приморье написаны многочисленные исследования, статьи, книги. Еще бы – они фактически были пионерами края, именно с них начинались первые русские династии. Точнее, не совсем русские – скорее украинско-белорусские. Тогдашняя Черниговская губерния захватывала часть территории нынешних Украины, Беларуси и России. Фамилии переселенцев красноречиво говорят об их национальной принадлежности: Автушенок, Дорошенок, Кратенок, Буренок, Коноваленок, Герасименок, Приходько, Цыганок, Пономаренок, Савостенок… Ну, и мои прапра – Деменок и Шелупайко.

* * *

Прибывшие переселенцы – уроженцы местности, представляющей переходную полосу между белорусами и малороссами, что и отразилось на составе партии. Преобладание первой народности над второю замечается по внешнему виду, большинство людей малорослые и белокурые.

Из «Отчета заведующего переселением в Южно-Уссурийском крае о прибытии и водворении партии переселенцев 1883 года и положении новых поселений к 1 ноября 1883 года».

* * *

Как же угораздило моих далеких предков стать первопроходцами русского Приморья? Виной всему – их земляк Григорий Голиков, который поехал из села Кожаны, где, собственно, все и жили, в уездный центр Сураж. И надо же было ему встретить государственных «вербовщиков», которые агитировали за переезд на Дальний Восток, причем делали это так умело, что Григорий тут же подписал с ними договор, не задумываясь о реакции жены и детей. Опомнившись, он решил, что одному перебираться так далеко – ой как страшно, и пригласил представителей власти к себе в Кожаны – мол, там желающих переехать хоть отбавляй. Он был недалек от истины – если на новой земле каждой семье полагалось сто десятин лучшей земли, то в Кожанах ее было в десять раз меньше, и состояла она сплошь из болот. Плюс бесплатный переезд… В общем, первыми на кардинальную смену судьбы решились братья Аким и Михаил Деменки. Они недавно вернулись с русско-турецкой войны, и не просто вернулись – стали георгиевскими кавалерами; были молоды, активны и легки на подъем. Следом за ними решение приняли Иван Дорошенко и Исаак Кратенок. Ну а потом процесс принял лавинообразный характер. Уже в первый год переселенцев оказалось больше, чем планировалось, а через два года на Дальний Восток крестьяне перебирались уже за свой счет.

Переселенцы были полны оптимизма, в отличие от Ивана Алексеевича Бунина, чей рассказ «На край света» оптимизма отнюдь не навевает… Возможно, побывай наш великий соотечественник на Дальнем Востоке – и тональность рассказа изменилась бы.

Приморье – волшебный край.

* * *

Газета «Владивосток», № 2 от 24 апреля 1883 года

Общества Добровольного флота пароход «Петербург» прибыл на рейд в среду, 20 апреля; в половине третьего пополуд., выйдя из Одессы 10 марта в половине шестого вечера. Пароход привез 810 переселенцев и 4 классных пассажиров: военного врача Мухина, секретаря по переселенческим делам Плеске, купца Баранова и прап. морской артиллерии Берсенева. Плавание было вполне благополучное.

Пароход заходил в следующие порты: Константинополь, порт Саид, Аден, Коломбо (на Цейлоне), Сингапур, Гонг-Конг и Нагасаки. В каждом из этих портов пароход стоял не более суток для приема угля и провизии. В Суэцком канале «Петербург» был три дня, так как впереди стал на мели английский пароход. Переселенцы всю дорогу были здоровы, за исключением двух-трех случаев заболевания желудками. Умер в пути один маленький мальчик, принятый на пароход больным еще в Одессе, ради того чтобы не разлучаться с семьей. Было также пять новорожденных, которые все здоровы. Как и первые, эти переселенцы также из Черниговской губернии. Пароход, кроме того, привез 28 000 пуд. грузу, который пойдет на пароходе «Владивосток» в Николаевск для кяхтинского товарищества, Чурину и друг. лицам.

* * *

Сорок суток в непривычной среде и климате, со стариками и маленькими детьми. И тем не менее: «Относительно влияния

			—	4
13	Буренокъ Егоръ (самъ въ ходокахъ)		—	с. Майхинское.
		Ефросинья жена его -	45	
		Миронъ сынъ Егора -	26	
		Анисья жена Мирона	25	
		Семенъ сынъ ихъ -	1	
		Лаврентій сынъ Егора	12	
		Василій	8	
		Романъ	3	
		Евлампія — ихъ дѣти	18	
		Евфимія	6	
			—	9
14	Доминокъ Евфимъ - - -		60	с. Майхинское.
		Анна его жена -	61	
		Михаилъ сынъ Евфима	30	

Фрагмент списка крестьянских семейств Черниговской губернии, отплывших на пароходе «Петербург»

морской жизни на переселенцев вообще можно сообщить только об отрадных явлениях. Настроение духа во время всего плавания было превосходное и выражалось пением песен, а по праздникам хороводами. Никаких коллективных заявлений неудовольствия со стороны крестьян не было, а все переговоры относительно их нужд велись через старост, самым законным образом», – писал 21 мая 1883 года в своем донесении временному одесскому генерал-губернатору Гурко секретарь Южно-Уссурийского переселенческого управления Э. Плеске, проделавший совместно с переселенцами весь путь.

* * *

Список семействам крестьян Черниговской губернии, отправленным в Южно-Уссурийский край на пароходе «Петербург» 10 марта 1883 года

№№ по порядку	Имена и фамилии	Лета	Число душ	Где поселились
…				
14	Доминок Евфим Анна его жена Михаил сын Евфима Домникия его жена Ульяна Евдокия их дети Игнатий Аким сын Евфима Мария его жена Ефим Татьяна их дети Илья сын Евфима Агафья его жена Устинья их дочь Антон сын Евфима Ксения дочь	60 61 30 30 4 2 1/12 27 26 4 1/12 22 21 2 19 16	16	с. Майхинское

* * *

Во Владивостоке переселенцев уже ждали – были построены бараки для временного нахождения, лазарет. Моим повезло – им не пришлось дожидаться, они оказались на выбранном для поселения месте буквально на следующий день.

* * *

«Исключение составили 24 семьи Суражского уезда, сел Кожаны и Яловка, для которых три ходока выбрали окончательное место водворения вблизи устья реки Майхэ. По моей просьбе главный командир портов Восточного океана назначил паровую шхуну «Ермак» для отвоза переселенцев к устью реки, и на другой день прибытия «С.-Петербурга» шхуна встала борт к борту парохода, приняла 185 душ переселенцев и их имущество и, взяв на буксир 3 китайские шаланды, мною зафрахтованные, в тот же день вышла в Уссурийский залив».

Из «Отчета заведующего переселением в Южно-Уссурийском крае о прибытии и водворении партии переселенцев 1883 года и положении новых поселений к 1 ноября 1883 года».

* * *

А дальше – обустроились на новом месте, полюбили его и, конечно же, плодились и размножались. Ефим Деменок, которому на момент переселения было четыре года, женился со временем на Мавре Шелупайко, которой в том легендарном 1883 году было всего два. Самым младшим из их сыновей и стал мой дедушка.

А вот это вот резанувшее глаз написание нашей фамилии – Доминок – сразу вызвало во мне волну сомнений. Неужели права была наша школьная завуч, сделавшая под моей фамилией на доске почета в четвертом, кажется, классе подпись – Доминок? Собственно, мою фамилию в написании не искажает только ленивый – или грамотный – человек. В основном, конечно, на украинский манер, называя Деменюком…

Сомнения мои рассеялись очень быстро – в том же талмуде под названием «Сборник главнейших официальных документов по управлению Восточной Сибирью» напечатан «Посемейный

список переселенцев 1-й партии по селениям 1-го ноября 1883 года», в котором мой прапрадед указан уже как Деменок Ефим.

В общем, фамилию коверкали уже тогда.

* * *

Судьба сделала свой виток. Дедушка, чьи родители уплыли в «кругосветное» путешествие на Дальний Восток из Одессы, в конце концов в нее вернулся.

Возможно, Михаил и Аким Деменки так быстро решились на переселение, потому что им уже знакомы были морские путешествия – и именно на судах «Доброфлота». Ведь пароходы «Доброфлота» «Россия», «Москва» и «Петербург» перевозили весной 1878 года русских солдат и офицеров из Турции на родину – после окончания победоносной войны и освобождения Болгарии. За эту первую операцию «Добровольный флот» отблагодарил лично император Александр III – своей резолюцией «Спасибо за хорошее начало».

Возможно, с ними вместе плыл в Одессу и герой войны, освободитель Софии и будущий временный одесский генерал-губернатор и командующий войсками Одесского военного округа Иосиф Владимирович Гурко.

Собственно, даже Антон Павлович Чехов возвращался в 1890 году из своей знаменитой поездки на Сахалин не куда-нибудь, а именно в Одессу, и тоже на пароходе «Петербург».

* * *

В конце концов две семьи кадровых военных, попавших в Одессу в разное время и разными путями, встретились. Произошло это январским вечером 1967 года в автобусе сто двадцать пятого маршрута, который ехал тогда с площади Мартыновского через пятую станцию Большого Фонтана. Папа вез из починки брюки, и кулек, который он держал в руках, постоянно задевал мамину модную прическу а-ля Бабетта. Так и познакомились. Мама училась тогда в университете, папа – в политехе; сразу после института его забрали служить за Полярный круг,

в Североморск, на Северный флот. Туда же вскоре после рождения попал и я – родители морозили меня целых полтора года. Тем временем дедушка Миша уехал работать военным советником в Алжир, и перепад температур между местами службы моих родных достиг небывалых высот. А папа тем временем даже собирался остаться на Севере – друзья, должность, хорошая зарплата…

Как вы думаете – остался?

Бессмысленно задавать вопрос о том, куда ведут все дороги. Ответ очевиден.



Олег Губарь

Дерибасовская: о названии

Фрагмент главы о топонимии
из книги об истории градостроительства Одессы

Для начала целесообразно коснуться сюжета о первичных названиях одесских балок, в частности – так называемой *Дерибасовой,* или *Дерибасовской балки*. Без этого мы не сможем всесторонне и объективно анализировать этимологическую составляющую. Скажем, в недавно изданной книге об истории названий городских улиц совмещаются в одно целое два совершенно разных объекта: хутор майора Феликса де Рибаса на Малом Фонтане и балка, впоследствии получившая название Военной. Этот историко-топонимический гибрид назван «Урочищем Дерибасовской балки».[1] Поразительно, как автор в упор не может разглядеть разницу меж хутором и балкой, пересекающей Дерибасовскую улицу, хотя это явствует даже из самого названия одного из архивных дел, на которые он же ссылается[2].

Территория на Малом Фонтане, где находился хутор де Рибаса, и тамошняя Дерибасова балка упоминаются в гораздо более ранних архивных документах, скажем, 1806 года[3]. Однако сюда же непостижимым образом переносится и балка, пролегавшая от нынешней Приморской улицы до Александровской площади, и в настоящее время засыпанная в верховьях. Первичное же название балки, как и площади, *Северная* – в отличие от *Южной* (Карантинной) – это всего лишь фиксация местоположения на ранних планах города. Архивное дело, о котором только что шла речь, называется «О построении моста дворянином Брынзою по Дерибасовой улице на балке между лавок, принадлежащих Комитету, и дома Попандопула», и датируется 1811-1812 годами. Комитетские лавки находились слева при входе на будущую Александровскую площадь



Дерибасовская в середине 1840-х
Доходный дом Греческого училища, где помещалась парикмахерская Трините и Лавиньота

за нынешним «Домом книги» (в ту пору занимаемая им территория еще не была застроена) и домом генерала Попандопуло[4], на месте которого построена «хрущоба» – по ул. Дерибасовской, № 20. Мост здесь был необходим по той простой причине, что Военная балка пересекала Дерибасовскую и продолжалась до Греческой улицы, по каковой причине и сама площадь нуждалась в нивелировании.

Здесь сюжет о Дерибасовской пересекается с не менее, если не более, занимательным сюжетом – о собственно номинации одноименной улицы, причем весьма рельефным. В хронологической раскладке эволюции названия этой улицы упомянутый автор также допускает явные искажения и перекосы, обусловленные непониманием синхронной специфики. Так, якобы первичное название Дерибасовской как «улица Городского сада»[5] не выдерживает серьезной критики. В приведенных им ссылках, опирающихся на архивные источники 1811-1812 годов, мы видим, кроме того, параллельное бытование двух названий –

Дерибасовская (Дерибасова) и Гимназическая (Гимназская). На самом же деле топоним Гимназская появился много ранее, очевидно, вскоре после открытия по распоряжению герцога Ришелье в бывшем «доме главного начальника» Коммерческой гимназии. Так, еще под 2 августа 1808 года в архивном деле о нуждающихся в починке городских объектах, говорится о мосте (понятно, что временном) по улице *ГИМАНСКОЙ*[6].

В архивном деле о сооружении дворянином Брынзою постоянного моста Дерибасова улица тоже поначалу, зимой-весной 1811 года, фигурирует исключительно под именем Гимназской[7] или Гимназической[8], и только летом того же года трансформируется в Дерибасову[9], а уже с тех пор больше не меняется. Данное же архивное дело окончено и озаглавлено в 1812-м, оттого на его титульном листе говорится уже не о Гимназской, а о Дерибасовой. В том же 1812 году новое название фиксируется в документах об устройстве насыпи на той же улице[10] и др.

Таким образом, мы довольно точно фиксируем время реального появления топонима *Дерибасова* (*Дерибасовская*) улица: лето 1811-го. Что до «улицы Городского сада», автор сказанной «топонимической истории» просто-напросто не разобрался в семантике словосочетания. Во многих случаях подобные формулировки фигурируют в разных документах, связанных с отводом мест под застройку на разных улицах и их эксплуатацией. И здесь имеется в виду протяженность какого-либо строения или участка по фасаду. То есть «по улице Городского сада» буквально означает протяженность этого сада со стороны улицы, причем не обязательно Дерибасовской (сад и места Феликса де Рибаса ограничивались не тремя улицами, как это может показаться, а четырьмя: будущая Ланжероновская продолжалась до Преображенской, и лишь потом проезжая часть этого квартала была присоединена к саду).

Короче говоря, к началу 1811 года, как мы видели, улица давным-давно именовалась Гимназской, и тут совершенно нечего оспаривать. И это первичное название в дальнейшем присутствует в документах лишь в ретроспективном контексте: например, в старых документах владельцев недвижимости, когда, случалось, в бумагах записывалась параллельно не только на-

звание форштата, нумерация квартала и места, но и первичное (на момент выдачи владельческих бумаг) название улицы, к которой обращен фасад.

Другой вопрос – этимология названия Дерибасова улица: дань ли это памяти отцу-основателю, или все-таки дарителю сада и владельцу прилегающих к улице домостроений Феликсу. Несмотря на сложившееся мнение о правомерности второй из этих версий, однозначного ответа нет. Кроме того, как это явствует из архивных дел, на которые я ссылался, может иметь право на существование и третья версия, а именно та, что улица получила свое имя от первичного названия пересекающей ее Дерибасовой балки. Очень правдоподобным можно считать еще и предположение об этимологической связи этого топонима с братьями де Рибас (тремя из четырех), на что есть свои серьезные резоны. Для прояснения общей картины проследим цепочку отвода интересующих нас мест и преемственности во владении ими.

Четная сторона нынешней Дерибасовской улицы, от Екатерининской до Преображенской, а равно прилегающая Гаванная, включают обширные участки и домовладения братьев де Рибас, начиная со времени первого отвода мест под застройку – в августе-сентябре 1794 года. В это время в V квартале были отведены места: № 29-30 – премьер-майору Андрею де Рибасу, и № 32-33 – секунд-майору Феликсу де Рибасу, № 31 и 34 – «капитан-лейтенанту графу дю Парку».[11] Это большая часть сказанного квартала, окаймляющая будущий Ришельевский лицей по Дерибасовской, Екатерининской и Ланжероновской в форме буквы П. Из отдельных архивных документов видно, что первые из четырех мест были застроены довольно значительной постройкой, принадлежавшей как раз Иосифу де Рибасу.[12]

Как это можно растолковать? Только так, что его братья не имели возможности застроить означенные участки, а он, располагая определенными ресурсами, построился на принадлежавших им местах и сделался фактическим владельцем. А далее это сооружение – «дом главного военного начальника»[13] – было продано в казну, и там помещалась сперва

коммерческая гимназия, а затем благородный институт, впоследствии преобразованный в лицей. Историк Одессы середины XIX века К.Н. Смольянинов прямо говорит о том, что Иосиф де Рибас получил под застройку весь I и весь V квартал[14]: последний из них, надо полагать, в 1795-м. Опять-таки у Смольянинова встречается упоминание о саде адмирала де Рибаса в самом городе со ссылкой на архивное дело начала 1796 года.[15] Но в каком квартале был этот сад, неясно: в V, или речь идет уже о LXIV? Как видно из планов начала XIX ст., сады имелись и в том, и в другом, причем в V-м – на местах, не застроенных дю Парком[16]. Вероятно, коль скоро Феликс де Рибас на первых порах остался без собственной недвижимости, то ему, очевидно, в ходе следующей раздачи мест щедро и отвели весь этот соседний LXIV квартал. Другого сценария попросту и быть не могло. Подобную щедрость нельзя объяснить иначе, как близостью к первому административному лицу.

Все это может свидетельствовать в пользу того, что название балки и улицы этимологически связано не только с Феликсом де Рибасом, но с *братьями*. Эта догадка опосредованно подтверждается тем, что этот дом Иосифа де Рибаса, единственный в ту пору солидный казенный двухэтажный дом, служил одной из местных достопримечательностей и ориентиром (а это и было основанием для появления народных топонимов, впоследствии узаконенных), что фиксируется архивными документами. В частности, это бумаги, связанные с историей городских общественных бань: речь идет о банях, устроенных на Северной (Военной) и Южной (Карантинной) балках еще в конце XVIII века. Содержатели первой из них имели дополнительные права по реализации питей: «На Северной балке по ее отлогостям от самого моря до вершины или до *большого казенного двухэтажного дома* никто другой кроме нас не будет продавать горячее вино».[17]

Этимология наименования Дерибасовской обычно связывается как раз с Феликсом в связи с дарением им городу своего сада – этот эпизод я очень подробно, со ссылками рассматриваю в другой главе монографии «Функции Одесского строительного комитета в контексте истории градостроительства Одессы»,

главы из которой регулярно публикуются в нашем альманахе. Однако *осуществленное в 1806 году дарение вовсе не привело, как мы видели, к перемене названия улицы, которая еще долго именовалась Гимназской*. В то же время мы не обращаем внимания на тот факт, что и подаренный городу сад де Рибаса в LXIV квартале, как и тамошние строения, имеет непосредственное отношение к его старшему брату, Иосифу. Еще авторитетный краевед В.А. Чарнецкий обратил внимание, например, на следующее обстоятельство: «Первые деревья на участке были посажены обоими братьями, т. е. Иосифом и Феликсом Дерибасами»[18]. Не может напрямую связываться с одним Феликсом и этимология Дерибасовской (Военной, Северной балки), ибо принадлежавшие ему по этой балке места (ул. Гаванная, № 1, и Малый пер., № 1) отведены и обзаведены уже *после появления этого топонима*. Первый из этих участков перешел к нему лишь после кончины архитектора Франческо Фраполли, а застроен в 1819-м[19]. Второй участок ему отвели в декабре 1815-го.[20]

Таким образом, вопрос об этимологии этого названия не может быть решен однозначно. Лично я склонен считать, что в топониме Дерибасовская присутствует память по крайней мере о двух братьях де Рибас – Иосифе и Феликсе.

Примечания

[1] Яков Майстровой. История Одессы в названиях улиц. – Одесса: АО «ПЛАСКЕ», 2012, с. 393-394.

[2] ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 35. – 77 л. Мало того, в книге Я. Майстрового упоминается именно этот Дерибасовский мост – с. 108.

[3] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 258, л. 58.

[4] Олег Губарь. Автографы Одессы. – Одесса: АО «ПЛАСКЕ», 2012, с. 294-299.

[5] Яков Майстровой. История Одессы в названиях улиц. – Одесса: АО «ПЛАСКЕ», 2012, с. 390.

[6] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 26 – 172 л.

[7] Там же, оп. 2, д. 35, л. 4 (5).

[8] Там же, л. 8 (10).

[9] Там же, л. 14 (16), 31 (54),

[10] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 264, л. 69.

[11] Записки Одесского общества истории и древностей. Т. III. – Одесса, 1853, с. 591.

[12] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 88, л. 114.

[13] К. Смольянинов. История Одессы. – Одесса, 1853, с. 90.

[14] Там же, с. 38.

[15] Там же, с. 61.

[16] ОГИКМ, инвентарный № К-602.

[17] ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 2А, л. 14.

[18] Владимир Чарнецкий. Вдали Италии своей. – Одесса: Титул, 1993, с. 33.

[19] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 145 – ч. I, л. 203 (377), 204 (378), 205 (379), 206 (380).

[20] Там же, д. 88, л. 406, 407.

Ефим Гаммер

Калейдоскоп жизни

Коренная одесситка

(Год 1969)

По фантазиям моего папы, порожденным пьянящим воздухом Молдаванки, мне в жены годилась лишь пенная Афродита, молодецких, разумеется, кровей, склонности к деторождению и крепкой нервной системы. Та самая дева, с детства купающая свое сильное, с развитой женской грудью тело в волнах Черного моря, в запредельной от меня, «котика» Рижского залива, стороне. По его прогнозам, именно в районе обитания памятника Ришелье на стремительных крыльях случайной встречи должен был у меня развернуться первый акт внезапной любви с «коренной одесситкой». «Коренная!» – такое «лошадиное» слово в соседстве с «одесситкой» тешило его представления о супружеском счастье, когда он, близоруко щурясь, просматривал на горизонте из глубины шестидесятых мое семейное гнездышко.

«При виде твоего появления на Ланжероне, в Лузановке и в Аркадии этот богатый плод твоего воображения достойно выйдет на пляжный песочек навстречу твоим насущным потребностям и распростертым под их влиянием объятиям».

На самом деле «богатый плод моего воображения» явился мне впервые еще до наступления купального сезона. Во второй половине мая шестьдесят девятого. Не на пляже и не в бикини. А гораздо романтичнее и неожиданней, хотя и в полном комплекте одежды. На трамвайной скамеечке в дребезжащем вагоне пятого номера, когда я возвращался из Оперного театра в Аркадию,

на турбазу, где расселили нашу группу прибалтов, совершающих вояж по Украине и Молдавии.

«Богатый плод моего воображения» и не догадывался, что на осмотр и ознакомление с городом трех поколений предков мне отводилось всего пару дней. Попробуй за этот спринтерский срок найди невесту, столкуйся с ней, убеди в чистоте помыслов. За это время я мог – что мог, то мог! – изыскать всего лишь ЗАГС, ибо знал: он расположен на старом месте, все там же, подле театра, где в 1937-м расписывались мои родители. Что я еще мог успеть за это время? Ну, наверное, закомпостировать сердечко и ушки «коренной» одесситки песенкой-выручалочкой из папиного репертуара. Песенкой с намеком на серьезность моих намерений. Пригодной, правда, для исполнения не до, а после свадьбы, желательно «серебряной» либо «золотой».

В понедельник я влюбился.
Вторник я страдал.
В среду с нею объяснился.
А в четверг ответа ждал.
В пятницу пришло решенье,
А в субботу разрешенье.
В воскресенье свадьбу я сыграл.

Всем хороша была песенка. Только одно было плохо. У меня, в отличие от папы Арона, старшей сестры Сильвы и младшего брата Бори, с рождения наблюдалась напряженка по части музыкального слуха. Признаюсь, не Леонид Утесов, не Робертино Лоретти. Но и не беглый призрак Желтого дома, подколесная жертва трамвайных путей сообщения. И все же я скорее способен был напугать свою потенциальную невесту, чем увлечь ее в ЗАГС.

Не Афродита…

Что ей Апполон?..

Оставалось… Да, оставалось, плюнув на песенный жанр и неуместные заигрывания, обратиться к трамвайной публике за помощью.

Поначалу, признаюсь честь по чести, я предложил все же полюбившейся мне девушке, сидящей подо мной на скамеечке,

выйти без долгих размышлений замуж, за меня, понятное дело, молодого, умытого, с образованием и деньгами в кармане. Завтра, пояснил я, завершается мой променад по матушке Одессе, где имели место родиться мои папы-мамы, дедушки-бабушки. Здесь и для меня имелось место родиться, улица Средняя, 35. Но Гитлер со своими безумными действиями насчет мирового господства покусился на Одессу и помешал мне вдохнуть капельку живительного воздуха у Самого Синего моря. Впрочем, назло ему я таки вздохнул и родился, но с опозданием… из-за военных трудностей… на четыре года… ровно к его похоронам… и вдали от намеченной по семейной разнарядке родины – на Урале. Но в истинную пору весеннего куража для всего живого, когда Фонтан черемухой покрылся, бульвар Французский, по которому мы сейчас проезжаем на маленькой скорости, был в цвету. И вот именно сейчас, когда Французский бульвар обратно весь в цвету, я предлагаю под воздействием момента ей, Прекрасной Елене родины моих предков, руку и сердце первой свежести. Завтра утром, по моим далеко идущим планам, мы встречаемся с ней у Оперного театра и вместе идем не за контрамаркой, а в ЗАГС – он в двух шагах от театра, как я осведомлен по ориентировке родителей. Делаем запись в регистрационной книге и в качестве жениха и невесты садимся на лайнер ТУ-104, чтобы воздушным путем сообщения и на крыльях любви приступить к свадебному путешествию до Риги, на представление к папе и маме и получение приличных по стоимости подарков от многочисленных членов моей плодовитой «мишпухи». Время не терпит, торопил я нареченную, завтра вечером возвратный для всей группы прибалтов самолет, билеты куплены и распределены по загашникам. Но в отношении ее, мисс Понт Эвксинский – древнегреческое название Черного моря, – никаких проблем. Билет для нее загодя заготовлен, на случай лотерейного счастья. Ну а нет, так, к сожалению, нет. «На выход без вещей», и я утекаю один, как сирота Моисей от заегипетского Сфинкса, привлекательного наружностью только до первых залпов наполеоновской артиллерии. Туда-туда утекаю, где за тучей белеет гора. В Ригу. К моим дедушкам-бабушкам, погребенным по исторической несправедливости, исключая вечно живую бабушку Иду с улицы Средней, на Рижском еврей-

ском кладбище, а не на Старом еврейском в Одессе, возле родителей. Все они, направляя меня на променад в альма-матер, дабы рвать подметки на Дерибасовской, завещали мне заодно там уже один раз жениться. И что? Что я им доложу по возвращении на кладбище? Два дня на раздумья и поиски, доложу, – это для «жемчужины у моря» с миллионным поголовьем населения – малый по отпущенным возможностям срок. А они мне, они мне скажут: не там искал, байстрюк… мы и на том свете не поверим, что Одесса уже обнищала духом на первых красавиц земли украинской… русской… и в первую очередь, еврейской… Ведь пока еще, если глаза наши не врут, на дворе шестьдесят девятый год, и до повального бегства в Бруклин, на Брайтон-Бич с деревянной мостовой у самого синего океана им ждать три с лишним года…

Благосклонно выслушав мое брачное предложение, девушка с достойным ее чести любопытством подняла на меня космической наполненности очи, хоть хватай ее сразу и веди без промедления под венец. Однако сбоку стоящая женщина, в мясе и кости, с налетом золотых зубов в нержавеющем рту, по-видимому, телохранительница, если не мама ее и теща в перспективе, среагировала на меня с недоверием. Вспомнив о моих достопримечательностях, духовных и материальных, она с подначкой спросила:

– А где деньги, что мы имеем сегодня на расход в кармане?

И вызвала оживленный всплеск вопросов у трамвайной публики, которой и впрямь было интересно: где на самом деле хранятся бабки у приезжих на вотчину Соньки Золотой Ручки лохов с янтарных берегов? В кармане? Хорошо… Тогда в каком? Правом? Левом? Брючном? Пиджачном?

Я продемонстрировал деньги, несмотря на то, что личное местоимение множественного лица – «мы» – показалось мне некорректным для употребления вслух.

– На такие гроши, – высокомерно заявила тетка-попутчица с акцентом на золотые, а не железные зубы во рту, – и щуплый биндюжник с Привоза не запряжет свадебную карету.

На дворе действительно стоял шестьдесят девятый год. А на четвертной – сиреневой двадцатипятке, – представленной мной к обозрению, все еще красовался не американский президент, а кремлевский, согласно Уэллсу, мечтатель.

Этот мечтатель и помог мне, против собственной воли, конечно, сформулировать убийственный для атакующей меня дамочки в маникюре ответ:

– Вот поэтому, зная ваши малопатриотические восклицания, гражданочка, о тягловых способностях неких ответственных лиц… – сформулировал я ответ и произнес его со значением, – Вознесенский и воззвал к партийной и прочей общественности: «Уберите Ленина с денег!».

Дамочка, может, и не слыхивала об Андрее Вознесенском, авторе крамольных «Антимиров», но о Вознесенском, крупном партийном боссе из Ленинграда периода культа, слыхивала. И боялась всяческих намеков – по извечной одесской привычке: а вдруг придут описывать имущество?

Трамвайная публика намеков не боялась – не ее имущество, в случае чего, придут описывать. И с настойчивостью разом оживших маразмов стала донимать мою визави вниманием и советами.

Всесторонняя оценка моих жениховских отличий могла ей польстить. По единодушному мнению обитателей пятого номера, она соответствовала запросам Староконного рынка.

«Этому жеребцу в рот палец не клади. А что касаемо кобылицы…»

«Кобылица не касаема!» – рявкнул кто-то у меня под ухом.

«А вы кем ей приходитесь, гражданин? – просквозил трамвайное помещение ехидный голос. – Вы ейный отец… по паспорту?»

Словом, публика выслушала и постановила: завтра в девять ноль-ноль, к открытию зоопарка… тьфу!.. ЗАГСа, жениху и невесте быть в парадной форме обмундирования у входных дверей в зал бракосочетаний. Жениху иметь при себе червонцы для уплаты таможенной пошлины за право вывоза золотого запаса Одессы в Ригу. А золотому запасу Одессы, с пробой высшего качества на памятном месте, – все необходимые доказательства не утраченной женской чести, включая девственность, если она была в наличии.

Излишне говорить, назавтра в указанный срок я никаких доказательств не дождался. Ни с девственностью, ни без оной.

У Оперного театра шел сильный дождь, смывая с мостовой мои слезы. Я ждал и ждал. Не пятнадцать минут, как принято у нас в Риге, а битый час. Но свидание не состоялось. Прогноз погоды, очевидно, не выпустил мою невесту из дому в свадебное путешествие. ЗАГС закрылся на завтрак, потом, через малый промежуток времени, на обед, вывесив на обозрение голодных до любви прохожих и подобных мне женихов с авоськой (для шампанского) песенное объявление:

Ах, Одесса, не город, а невеста!
Ах, Одесса, нет в мире лучше места!
Ах, Одесса, любимый южный край,
Цвети, моя Одесса,
Цвети и расцветай!

На такое песенное объявление я наложил, естественно, столь же песенную резолюцию, папы моего Арона производства. В конце тридцатых он дефилировал с ней и баяном по аллеям парка Шевченко, отрабатывая концертный номер Госэстрады. Сегодня это раритет. Итак… в том же поэтическом русле, что «цвети и расцветай». Послушайте и не хватайтесь за сердце – «Сделано в Одессе»!

Братья по классу и крови,
Будьте живы и здоровы.
Мы Польшу панскую разбили,
Вам свободу подарили.
Пользуйтесь ею вовеки.
Жизнь ваша раньше не имела вида:
Горечь, нужда и обида…

Продолжение? Продолжение папа напел мне уже в Риге, когда я, разочаровав его, признался в полном фиаско. И выглядело оно так, чтобы мечту об одесской наперснице «с развитой женской грудью, купающей свое сильное тело в волнах Черного моря», я ни в коем случае не положил в долгий ящик.

Впрочем, на то оно и продолжение…

Его можно оставить на потом…

Из Ливана с оказией
(Год 1982)

Осколок снаряда от Эр-Пи-Джи, советского производства, торчит в железном боку автобуса. Он прошел слева направо – через оконное стекло – в спину. И вышел из груди, чтобы облить кровью его автомат, лежащий на коленях.

Моисей впал в кому, не успев подумать о смерти. Не успев даже в мыслях передать привет матери, жене, дочке. Впал в кому и, отвергнув боли и тяжбы минувшей жизни, парил над Добром и Злом – теми понятиями, которыми из века в век кормится человечество. Пока в разрыве времен не приступает к пожиранию единоутробных братьев.

Моисей умер…

Его автомат М-16 покоился на кожаном сидении автобуса – так и не высадил в отместку ни одной пули.

Группа иностранных корреспондентов – эти Хоу, Дитрихи, Смиты, коих он вынужден был сопровождать от Цора до Бейрута, услышав скрежет железа, отвели глаза от запредельной синевы ливанского неба и теперь с ужасом смотрели на него, военного корреспондента радио «Голос Израиля».

Его мама Рива, лежащая на операционном столе в ашкелонской городской больнице, осознала смерть сына шестым чувством и не позволила себе мирно скончаться под ножом хирурга.

Кому как не ей хоронить Моисея на военном кладбище?

Из тысячи болей выбирают одну.

Кровь не стынет в поджилках, когда ноет сердце.

Кого убивают первым, если приспело время войны?

Первым убивают Ее сына.

Ривин сын Моисей, сын Моисея и внук Моисея, нареченного в честь Моисея, выведшего евреев из египетского плена, погиб от шального осколка на выезде из Бейрута, так и не успев поспеть в Ашкелон к началу операции.

Рива, мать Моисея и дочь Моисея, нареченного в честь Моисея, выведшего евреев из египетского плена, из тысячи болей выбрала одну – смерть сына.

Его смерть она ощутила внезапно, на операционном столе, за мгновение до того, как уснула под наркозом.

Рива очнулась в палате от приступов тошноты. Тело ее содрогалось в спазмах. Старая женщина чувствовала ноющие покалывания в груди, терзаемой куском стали, поразившей ее сына.

Хаим, племянник Ривы, обретший это имя, означающее на иврите *жизнь*, в честь дарованной ему жизни в гетто, чуть ли не силком тащил к ее кровати дежурную медсестру. А та негодующе дергала острыми, как вешалка, плечами и отбивалась скороговоркой:

– Все с ней будет хорошо! А рвота… Без рвоты не отойдешь от наркоза.

– Сделайте что-нибудь! – кричал, не слыша девушки, Хаим.

И дежурная медсестра сделала «что-то», лишь бы «что-нибудь» сделать: сменила на Риве белье.

– Хватит орать! – сказала она Хаиму, сделав «что-то». И вышла в коридор – плечики вразлет, и покачивается, будто худоба-манекенщица от сквозняка.

– Ей плохо! – вдогонку плечикам крикнул Хаим.

– А кому хорошо? – отозвалось из глубины коридора.

Рива булькала горлом, подбирая руки к груди.

– Оставь эту девчонку, Хаим. Она права: кому сейчас хорошо? Идет война, а она… они бастуют. Объявили голодовку на нашу голову. Это надо же, бастуют…

– Но ведь она… Она дежурная!

– Помолчи, Хаим. Мой язык к смерти прилип. Трудно говорить. Закажи памятник.

– Рива, что с тобой? Да ты!.. Тебе до ста двадцати, и без всякой ржавчины!

– Памятник, Хаим! И беги в родильное отделение. Я чувствую… Хая… Я чувствую… там… с внуком моим… с Моисейчиком… плохо. Не разродится она.

– Рива, да что с тобой впрямь? Каким Моисейчиком? Мы же договорились! Если мальчик, назовем его Давидиком, по моему деду.

– Я знаю, что говорю, Хаим. Беги! Мне… мне…

Рива прикрыла ладонью рот. Но поздно. Ее вновь затрясло. Она выгнулась, так и не отвернувшись от племянника. Хаим выскочил из палаты, пугливым взором отметив, как сквозь ее пепельные пальцы бьют желтые струйки.

«Боже!» – прошептал в коридоре. Выхватил из брючного кармана, не вытаскивая пачки, сигарету. Попросил огонька у проходящего мимо солдата с «Узи» на плече.

– Откуда?

– Из Ливана.

Прикурив, спросил:

– А что у тебя?

– Сын! Сын у меня!

– Так скоро?

– Что? – не понял солдат.

– Да, нет! Я просто так…

Моисей был счастливый отец…

У него была дочка, шести лет. А сейчас появился и сын.

В этот раз он очень хотел сына – с той же силой хотения, как в прошлый раз, когда очень хотел дочку.

Дочку назвали Басей, по имени сестры его матери, убитой гитлеровцами в концлагере. А сейчас ему нужен был сын, чтобы назвать его Давидом, по имени деда, растерзанного заживо немецкими овчарками после неудачного побега к партизанам.

Но он уже знал: имя малышу теперь – Моисей, в честь него. Все согласно еврейской традиции.

Моисею не терпелось перенестись к своему младенцу, пускающему изо рта первые пузыри жизни. Но догадывался: за ним присматривает Хая… Язык не поворачивается произнести слово – «вдова».

Чего их беспокоить?

И он перенесся, раз выпала такая оказия, в Кирьят-Гат – за десять километров от Ашкелона. К милашке – дочушке Басеньке, за которой обязалась присматривать соседка Алия Израилевна.

Алия Израилевна смотрела телевизор и громко цокала языком, сопереживая происходящему.

На черно-белом экране просторного, как холодильник, ящика демонстрировали врачей ашкелонской городской больницы,

учинивших забастовочные санкции с последующей голодовкой медицинского персонала.

Басеньке пора спать. Но она предпочитала другое занятие. В ванне под теплым душем отмывала от серой пыли походный «Репортер» Моисея, который обычно висел на его плече, когда он отправлялся в командировку.

Изнемогая, «маг» вел голосом ее папы какой-то путевой репортаж. Басенька, в ожидании своих слов, записанных некогда на пленку, била по клавишам, будто она за роялем.

Наконец дождалась.

– Я слон! Я слон! – раздалось из магнитофона.

Басенька радостно захохотала.

В коридоре, отгороженном ширмами от больных, тихо бастовали врачи. Они сгрудились у телевизора, слушали последние, касающиеся их голодовки известия и умиротворенно вздыхали.

Коридор, отгороженный ширмами, связывал хирургическое отделение с родильным.

Хаим рванулся было по нему, хотя и опасался: остановят!

Нет, его не остановили. И не потому, что в эти минуты стрекотали камеры телевизионщиков. Его не остановили потому, что белые халаты делали вид, будто ничего экстраординарного в лечебном заведении не происходит. Они видели лишь телевизор, а в нем себя – голодающих перед телеоператорами из разных стран мира. И старались не замечать Хаю, дорвавшуюся почти до самого телевизора с ребенком на руках, но так и не втиснувшуюся в кадр.

– Доктор! Доктор! – шептала она, протягивая ребенка врачу. – Смотрите! С ним все в порядке? Он не подает голоса!

– Минутку! – сказал врач. – Потерпите немного. С ним все будет в порядке. А у нас санкции.

Он повернулся на стуле, уставился в экран зазывного ящика, в лицо своего коллеги, профсоюзного беса, бесстрастно излагающего требования забастовочного комитета.

– Доктор! – вспыхнула Хая.

– Потерпите немного. Голос у него прорежется, – бесстрастно ответил врач.

Автомат Моисея лежал на коленях под его безвольными руками.

В далеком Бейруте.

Его тело, поникнув, подрагивало на мягком автобусном сидении.

В далеком Бейруте.

Но дух его метался по Ашкелонской больнице, от Хаи к врачу, от врача к маме Риве, от мамы Ривы к двоюродному брату Хаиму.

Хая бросилась к телефону-автомату.

Моисей подставил руки. Но так и не смог принять даже на мгновение младенца, чтобы ей было легче набирать на ускользающем от пальца диске заветные цифры. Его сына принял на руки Хаим.

– Алло! Алло! – скороговоркой произносила Хая. – Скорая помощь? Скорая, скорей, сюда! Адрес? Ах, да – адрес! Записывайте! Ашкелонская городская больница! Родильное отделение!

И тут младенец, будто отказываясь от медицинской помощи, самостоятельно подал голос. Пронзительный и сильный – голос человека, вернувшегося к жизни. Почему «вернувшегося к жизни»? Потому что Моисею показалось, что это был его голос…

– Живи, малыш! – сказал он тихо, зная, что его никто уже не услышит.

…В Израиле стояло жаркое лето, рекордное по количеству родившихся израильтян.

Жаркое лето достопамятного 1982 года – время затяжной войны в Ливане и бессрочной забастовки врачей.

Иерусалим



Андрей Илькив

Во Вселенной идет дождь

Эрика знает, о чем ты думаешь, Фидель

Здравствуй, Фидель!

Думаю, ты не обидишься, если я сделаю это письмо открытым для мира. Таким образом, неизбежный соблазн приукрасить или исказить наши с тобой отношения будет не так дерзок.

Кроме того, я сознательно облекаю свое послание в одежды литературного рассказа – пусть скептики спят спокойно, убаюканные художественным вымыслом, в котором настоящим является лишь твой портрет, выполненный маслом на дереве мужем моей дочери. Или – не только портрет.

* * *

Не знаю, что напишет завтра «Нью-Йорк Таймс» и напишет ли что-нибудь вообще о том, что я вкратце тебе расскажу. Будет как будет. Но я совсем не поверил тем двум крепким парням, говорившим недавно со мной о тебе, будто они работают корреспондентами известной во всем мире газеты.

Заокеанские гости по телефону попросили о встрече со мной. И встреча состоялась три недели назад в одном из львовских кафе в сопровождении еще одного молодого человека, который представился сотрудником Службы безопасности Украины и переводчиком.

Интервью касалось тебя и твоего портрета, Фидель, написанного Виктором, мужем моей дочери, и подаренного тебе на день рождения год назад. Мы все очень рады, что тебе понравился

портрет. Двумя словами коснулись также иска о защите авторских прав на фотографию с твоим изображением. Иск подан в Высокий суд Лондона. Фотограф нанял какую-то тамошнюю солидную адвокатскую контору, никогда не проигрывавшую дел, и требует с нас с Виктором сотни тысяч фунтов стерлингов за пиратское, как он говорит, использование его фотографии для написания портрета. Об этом деле уже почти год с небольшими перерывами на сиесту пишут, кажется, все мировые газеты, даже те, которые уже давно закрылись. Но мы это переживем. Не страшно уже.

* * *

– Кому, когда и каким образом пришла в голову идея написать, а затем подарить портрет кубинскому лидеру Фиделю Кастро в день его рождения? – после взаимных реплик вежливости спросил меня один из американцев.

Я ответил прямо:

– Это было моей давней мечтой.

– Мечтой? – кривая улыбка замерла на лице украинского агента. – Довольно-таки странные у вас мечты.

– Мечты – разные, как люди. Не у всех они из-под ксерокса. Я же хотел лично поблагодарить Фиделя Кастро за то, что он, его страна уже несколько десятков лет лечат простых украинских детей – невинных жертв Чернобыльской термоядерной катастрофы. Тихо лечат и не трубят на весь мир о благотворительности Кубы.

– Но речь идет о лидере государства, и такого рода действия – это, скорее всего, сфера межгосударственных отношений Украины и Кубы, работа правительств и ответственных чиновников, – присоединился к разговору второй американец.

Как не хотелось мне говорить о политике, но я все же выдавил из себя несколько предложений:

– Со дня провозглашения независимости Украины – согласитесь, не завоеванной путем революции или восстания народа (что имело место на Кубе), а подаренной, не в последнюю очередь самими американцами, – все без исключения украинские правительства занимаются только бизнесом. Частным бизнесом,

господа. Насколько этот бизнес честный, вы знаете лучше меня, в американских тюрьмах легко можно встретить не одного украинского премьера или политика. Одним словом: украинская власть – одиозна, это собака, которая берет с разных рук пищу, а потом норовит укусить те же руки. Власти не до благодарностей или других сантиментов, государственная служба в Украине, не буду говорить о других станах, – это обыкновенный бизнес, товар – суверенитет оптом и в розницу.

Переводя мои слова, агент Службы безопасности Украины не сумел скрыть ехидства на своем лице.

– Не обижайтесь, господа, – продолжил я спокойно. – Увы. Это все так.

Почувствовав опасное ответвление разговора, второй из американцев вернул его в первоначальное русло необычным вопросом:

– И при каких обстоятельствах Фидель Кастро Рус позировал вам для написания своего портрета? Он приезжал в Украину или ваш Виктор побывал на Кубе?

– Интересная шутка, господа журналисты. Позировала фотография старого кубинца, которую мы с Виктором свободно отыскали в Интернете. Фотоснимок не сопровождался никакими предупреждениями или запретами на использование. С него и был написан портрет в нашей скромной квартире.

– Все понятно… Что вы еще можете нам сообщить? – спросил меня первый американец, снял черные очки и попытался просверлить меня своими глазами.

Трудно было не отвести взгляд. Он уперся в кость.

– Даже не знаю, что еще вам сказать, господа, кроме того, что я убежден: нельзя приватизировать, запатентовать выражение лица, эмоции, позу любого человека, даже президента вашей страны. Как бы фотограф и его адвокаты ни пытались доказать обратное.

– Хорошо. Спасибо, – белозубая голливудская улыбка не могла скрыть разочарования на лицах американцев. – До свидания. Да, еще одно. Теперь вам уже нечего бояться судебного иска. Хотя, если честно сказать, подаренный вами Фиделю Кастро портрет слишком похож на фотографию, сделанную несколько лет назад.

Не дождавшись моей ответной реакции, интервьюеры сухо откланялись. Почему не нужно бояться денежных притязаний фотографа, я тогда так и не понял. А спросить? Не смог. Хорошее, безусловно, известие отняло у меня речь и пригвоздило к стулу.

* * *

Вечером того же дня у дочки начались предродовые схватки. Ко мне вернулась речь. А это «еще одно», прозвучавшее на встрече с американцами, осталось без правдоподобного объяснения еще целую неделю, в течение которой вся моя семья переживала рождение новой Вселенной – крошечной девочки.

Когда новая Вселенная родилась, а большое семейство собралось за праздничным столом, гости наперебой стали рассказывать об удивительно одинаковых событиях, синхронно произошедших с ними накануне.

Оказалось, что незадолго до крестин каждого моего родственника, родственника мужа моей дочери дома или на работе навестили агенты Службы безопасности Украины. Демонстрируя фотографии бородатого старика, похожего на тебя, Фидель, и не называя твоего имени, агенты спецслужбы спрашивали, присутствовал ли такой человек на свадьбе моей дочери почти два года назад.

И произошло чудо, Фидель. Настоящее. Половина моей семьи и семьи сватов уверенно подтвердила преемникам советского КГБ, что похожий на Фиделя Кастро человек действительно был на свадьбе, несмотря на то, что он тем же самым чудом не попал ни на одну свадебную фотографию. Спина. Седые волосы. Вид сзади. Это все, что увидели агенты безопасности в свадебных альбомах.

Старик сидел вместе со всеми за одним длинным столом, пил вино, танцевал и делал все остальное, что люди обычно делают на свадьбе, которая в нашем случае лихо гуляла всю ночь в небольшом кафе крохотного чудом уцелевшего на карте мира прикарпатского городка. Правда, кем в действительности был этот человек, никто сказать не мог. Люди стеснялись спрашивать об этом у самого пожилого человека или друг друга; гости со стороны жениха полагали, что это какой-то дальний родствен-

ник невесты, и наоборот – семья невесты была уверена, что дед приехал с женихом.

Спор о том, был ли среди свадебных гостей старый бородач, похожий на Фиделя Кастро, продолжился и на крестинах, на которых было выпито вина и водки не меньше, чем на свадьбе.

Не удивляйся, Фидель, ты же знаешь, что мировые средства массовой информации на протяжении многих десятилетий сделали твое лицо, в отличие от твоих идей, узнаваемым в любом уголке планеты, даже в нашем забытом Богом городишке.

После крестин я наконец добрался до Интернета и без труда нашел необходимую информацию, приятно шокировавшую меня и Виктора. А несколько российских информационных сайтов с нескрываемым удовольствием смаковали очевидный прокол в работе западных спецслужб, комментируя твое недавнее интервью испанской газете «El Mundo». Тогда я понял, откуда в кафе старого Львова взялись последние слова американца о конце страха и прекращении дела.

Ты открыто сказал миру, что по примеру английской королевы, которая время от времени милостиво принимает приглашения простых людей и посещает их семейные торжества, ты, Фидель, почти два года назад любезно откликнулся на мое приглашение побывать на свадьбе моей дочери, дважды пересек Атлантику и инкогнито посетил Украину. Пограничники и таможенники разных стран свободно пропускали тебя через границы, лишь с удивлением приговаривая, как похож этот старик на Фиделя Кастро, и продолжали свою работу. Никто не мог себе даже представить, что в бесконечном потоке обычных пассажиров появится настоящий Фидель Кастро. Ты сказал также, Фидель, что в один из моментов свадьбы муж моей дочери Виктор, художник, с твоего разрешения сделал карандашный набросок твоего портрета. Вот и все, иску – конец.

Нескольких твоих слов, Фидель, хватило, чтобы сделать бесперспективным иск несомненно талантливого фотографа, а лондонская адвокатская контора впервые за столетнюю практику проиграла дело, едва начав его.

Спасибо тебе, Фидель.

Пусть услышит твои желания тот, кто знает их раньше тебя.

Еще хочу тебе сказать, как мы назвали твой портрет. «Руки Конфуция на лице Фиделя». Глядя на таинственный китайский иероглиф, сложенный твоими руками на задумчивом лице, назвать картину как-то иначе было невозможно.

Надеюсь, наш портрет поможет тебе счастливо пережить 639-е, но самое коварное и опасное покушение, имя которому – гламур.

Про то, как тебе удалось незаметно для спецслужб всех стран осуществить перемещение в пространстве и времени, никто и никогда не узнает наверняка.

Но о том, что ты думаешь, Фиделю, сложив руки на своем задумчивом лице, наверняка знает моя внучка, которую в минувшее воскресенье окрестили именем Эрика.

P. S. О чем ты думаешь, Фидель, формой сложенных тобой пальцев на портрете весьма серьезно заинтересовались жители Поднебесной. После телефонного звонка ко мне из китайского посольства с просьбой рассказать об обстоятельствах написания и названия твоего портрета у меня сложилось впечатление, что ханьский язык вскоре обогатится еще одним иероглифом – «То, о чем думает Фидель».

Можешь падать

– Господи! Царский подарок! – над мусорным контейнером показалась лохматая голова старого бродяги. Счастливая детская улыбка добавила тысячу мелких складок на его пергаментном лице. В руках он держал черные ботинки со стоптанными каблуками. Внимательно осмотрев находку со всех сторон, нищий остался доволен. – Совсем новые. Подошвы целы, шнурков нет – ерунда.

Присев рядом на асфальт, бродяга снял с ног когда-то желтого цвета сандалии и аккуратно положил их в пакет, который сберег внизу лишь небольшую надпись «Наш Президент». Имя главы государства и его лик были стерты и изуродованы до неузнаваемости руками не одного носильщика.

Старик надел ботинки на босые грязные ноги, легко отыскал в бездонных карманах своей старой офицерской шинели какие-то веревочки и завязал их вместо шнурков. Затем он поднялся и, еле дыша, несколько метров прошелся для пробы. Присел. Встал.

– Теперь можешь падать… Снег… Иди.

И он пошел.

Снег.

Миллионами миллионов малюсеньких белых-белых мотыльков.

Бродяга удалился прочь, стараясь вспомнить мотив детской рождественской песни.

– Спасибо тебе, Дедушка Мороз, – прошептала вслед бездомному нищему одна маленькая девочка, игравшая невдалеке и невольно заставшая таинство рождения снега.

Викунья

Фрагмент романа «Во Вселенной идет дождь»

> Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят…
>
> Св. Евангелие от Матфея 2:1

– Что нового?

– Ничего… живого.

– …Игровое кино.

– Да… На бумаге тоже. Старые пьесы… Новые декорации.

Двое бродяг встречали утро на бетонной лавке рядом с остывшим за ночь храмом, покорно ждущим сентябрьского солнца. Солнце встало давно и с трудом выбиралось из-под лабиринта высоких столичных улиц. Тени нехотя покидали брусчатую площадь, хватаясь за каждый ее камешек. Мучимый бессонницей старый парк будил птиц.

– И новые актеры.

– Да. Актеры… За двадцать лет независимости нас стало на десять миллионов меньше… Вот еще: жена продолжает поиски пропавшего мужа-банкира, – седой бродяга улыбался прилетевшему из парка молодому ветерку, который дурачился со стариком, поочередно загибая то верх, то низ большой газеты.

– Знаю. Слышал. Десять миллионов плюс один банкир. Третий или какой-то там по счету год не может успокоиться, – зевнул бродяга помоложе, не отрывая пустых глаз от кота. Серый комок сунул голову в консервную банку и с грохотом таскал ее вокруг лавки, вылизывая остатки корма. – Бедняжка. И вознаграждение растет?

– Растет. Один, два… пять нулей после единицы за любую полезную информацию.

– Солидная сумма. Если это не любовь, то за такие деньги легко можно нового мужа приобрести, хоть заграничного, как в кино. И не одного.

– Оставим заграничное кино. Будем думать, что женщине не жалко отдать большие деньги ради любимого человека.

– Кто против? Будем думать и так. Но что-то очень много денег. Это настораживает. Как среди них сумела выжить любовь? Удивительно… А вероятнее всего, этот кинофильм совсем не про любовь, а сто тысяч жертвуется ради ста миллионов талеров или золота на сто миллионов, которые пропавший банкир не доверил жене и не рискнул держать в своем или чужом банке. Вот какая интересная штука получается, бродяга. Банкиры первыми и не верят своим банкам, по старинке закапывают или замуровывают.

– Все может быть, – заключил старик, аккуратно сложил газету и положил возле себя. – Но пусть будет любовь.

– Пусть будет любовь, – согласился молодой бродяга, взял газету, скомкал ее в мячик и ловко по высокой траектории забросил в мусорную урну недалеко от скамейки. – Три очка. И черт с ними, с банками. И с газетами.

До блеска вылизав банку изнутри и с внешней стороны, кот запрыгнул на колени старику и начал умываться обеими лапками.

– Видел бы итальянец, что мы сделали с его брюками, бешеных денег стоящими, и что бы он нам сказал? – бродяга ласково почесал кота за ушками. Оборванные нити густо торчали

на обеих штанинах, кот по-хозяйски на них не только спал большую часть своей жизни, но и время от времени точил когти. – Дай Бог памяти, как его зовут?.. А-а-а. Бриони.

– Что?.. Ты хочешь сказать, что эта забывшая свой первозданный цвет грязь – штаны от Бриони?

– Да… По крайней мере так сказал банкир. По всей видимости, это его ищет жена.

– Интересно… Очень интересно, – улыбка едва поместилась в глазах заспанной молодости. – А ну, давай пиши явку с повинной, откуда у тебя штаны новых богов.

– Бог и принес мне их. Помнишь того большого пса, дружок? Помнишь… Спи. Спи, – старик прикрыл полой плаща уснувшего на коленях сытого и умытого кота. – Он спас меня и тебя, великий слепой.

* * *

– Тебе жалко спасти меня?

– Боже сохрани. Что вы такое говорите, молодой человек? – недоуменно пожал плечами бродяга. – Я… Я подобрал эти брюки, свитер, вообще всю одежду на улице, возле мусорных баков или еще где-то, не помню. Богатые горожане выбросили их за ненадобностью.

– Вот и отлично! Мне такое барахло и нужно. Я дарю тебе свою одежду, клошар. Итальянский дизайнер Бриони. Бешеных денег стоит костюм. В нем ты обязательно победишь на конкурсе «Мистер мусорная свалка», не знаю, проводятся ли у вас, бродяг, такие праздники, – захлопал в ладоши человек, назвавший себя банкиром. Рядом с блеском его зубов поблекли церковные купола.

– Проводятся… «Конкурсы нищеты» называются, – в тон ответил бродяга собеседнику, внешний глянец которого и зубы резко контрастировали с едким запахом дешевого спирта изо рта. – Под эгидой правительства.

– Или президента! Лично. Ты шутишь, бродяга? Это – роскошь в твоем положении. Хотя что тебе остается делать под голым небом, как не шиковать. Я вот тоже решил пошутить. Немного. У меня сегодня день рождения.

Бом! Бом! Бом!

В паузе между колоколами, зовущими столицу к утренней мессе, бродяга поблагодарил именинника:

– Будьте счастливы.

Бом! Бом! Бом!

– По ком звонит? По ком? По ком? Бом! Бом!!! – смеясь, передразнил колокола банкир. – Рядом с тобой, клошар, я заговорил стихами. Вон оно как. Литература. Помню. А звонят в честь моего дня рождения! Молодцы, колокола!.. Ты что-то сказал?

– Я пожелал вам счастья.

– Ах, да!.. Не стоило, я счастлив давно… Хотя нет. Давай свое счастье, мне нужны твои лохмотья юродивого.

– Юродство – это не лохмотья.

– Ладно, старик, ты мне нравишься. Поделюсь с тобой секретом. Даже эти не знают, – молодой человек обернулся назад и взмахом руки приказал двум охранникам отойти подальше. Кентавры послушно попятились назад к краю площади и встали возле длиннющего белоснежного лимузина, в затемненных окнах которого преломилась церковь с крестами.

Почти метровая гора густой черной шерсти у ног банкира громко зевнула, едва не втянув в себя кота, больно вросшего когтями в колени бродяги. Бродяга тщетно пытался впиться ногтями в бетонную лавку.

– Ой, извини. Я не представил тебе своего друга. Это – Гуру. Поздоровайся, мой мальчик, с нищим. Он похож на людей твоей родины, – банкиру было весело. – Гуру – тибетский мастиф.

Гуру медленно нехотя поднял высоко над брусчаткой переднюю правую лапу, затем столь же величественно опустил ее, увидев одобрительное покачивание головы своего хозяина.

– Похож, не спорю. Нищего тибетца тяжело отличить от европейского клошара, – пряча страх перед мелькнувшими клыками, храбрился бродяга. «И банкиры везде одинаковы. Как кто? Не знаю. Близнецы. Нет такого народа». – Давно подмечено, что лицо обретает черты судьбы.

– Теперь и я не спорю. Слушай, старик, что я задумал, не судьбы, а шутки ради. Переодевшись в бродягу, – в дополнение к твоему наряду у меня уже есть накладная борода в половину лица,

толстые очки, новая шляпа с большими полями, истоптанная в грязи, – я полдня буду просить у порога своего банка милостыню, затем заявлюсь в банк и повергну всех в шок, потребовав открытия депозитного счета. Конца не знаю, еще чего-нибудь придумаю по ходу дела, пофилософствую в твоем стиле, покуда меня узнают. Вот такая идея, – закрыв на мгновенье глаза, банкир остановил рассказ и почесал пальцем нос.

– Это ваша идея. Не мне ее судить, конца не знает никто. Но для ее осуществления вам не стоит терять дорогой костюм. Вполне было бы можно купить поношенную одежду, бросить ее в грязь, как шляпу, и…

– И. И. Что «и»? И где я куплю бродяжий дух, каким пропитано твое тряпье? Двух стаканов дешевой водки, выпитых перед встречей с тобой, да и целой бутылки – недостаточно, чтобы пахнуть мусорной свалкой и нищетой, – банкир потрепал своего пса за шею. – Все нормально, старик. Не жалко мне костюма. Надоела расцветка. Я заказал себе новый ко дню рождения. На следующей неделе придет подарок. Чешется нос. Чует кулак или коньяк?

– Что я могу сказать?

– Ничего не говори. Я скажу. Нос чует «Хеннесси». Будет «Хеннесси». Захотелось мне, брат, чего-то необычного, щекочущего нервы. Банкир-бродяга. Если и были такие фильмы, то все равно – это лишь кино. Я проделаю фокусы с переодеванием наяву. Весело будет, не правда ли?

– Может быть, и весело.

– Никаких «может быть»! Все будет отлично. Газеты напишут, телевидение покажет. Я уже вижу прыгающие в глаза большие буквы заглавий: «Банкир просит подаяния у дверей собственного банка». Отличная реклама, все нищие понесут в банк собранные подаяния. Я смеюсь. Подарим столице мой день рождения, бродяга?

– Подарим.

– Тогда – вперед. Я отпускаю машину, охрану, мы с тобой идем в этот парк и меняемся одеждами. Хорошо?

– Как скажете… Но будет ли это хорошо? – бродяга оторвал пальцы от лавки и погладил своего кота. – Вы должны знать, что, надевая чужую одежду, можно невольно примерить чужую судьбу.

– Перестань, старик, – отвращение скомкало улыбку банкира. – Свою судьбу я творю сам. Давным-давно. Независимо от одежды.

– Откуда такая уверенность, молодой человек?

– От денег, дорогой. Откуда еще? Открой глаза, посмотри вокруг. Даже там на них молятся. Кресты за тысячи лет стали золотыми, – банкир небрежно кинул рукой в сторону храма. – Не думаю, что ты этого не знаешь. Забудь свою философию. Или отдай своему коту. Откуда у тебя такие мысли?

– От шмотья, что на мне.

– Вот и отлично. В нем я побуду немного философом. Ты не против? А куда ты денешься? Ура! Ура! Ура! И, кажется, я уже заговорил твоим языком, – в детство кинуло богача. – Сейчас я тебя разобью, твою логику-бочку, Диоген без бочки. Ответь мне: сделает ли тебя миллионером мой Бриони, и останусь ли я в твоих обносках нищим на всю жизнь? Ну!.. Молчишь?.. Можешь и не отвечать. Ответ понятен даже твоему коту.

– Судьба – это не деньги, – бродяга опустил голову на грудь.

– Может быть, ты и прав: судьба – и не деньги. Ха-ха-ха. Следи за моими словами, старик, как я становлюсь мудрее на глазах. Слушай: деньги делают судьбу. Не так ли?

– Так. Делают. Но лишь судьбу того, кто молится на деньги. Кто за что молится, – старик кинул взгляд в небо.

– А за что молишься ты, живущий хуже кота? – брезгливость мелькнула в глазах богача.

– За кота. Он очень стар и слеп от рождения. Чтобы он долго жил, не болел.

– Чудак… Все вы, бродяги, какие-то не такие, как нормальные люди. Ладно. Я тоже помолюсь за твоего кота в твоем тряпье. Потом, если не забуду. А теперь закрываем дебаты. Пошли меняться одеждами – или судьбами, как ты говоришь, – заторопился банкир.

– Идем, – ответил бродяга, вопросительно посмотрев на собаку и ее хозяина.

Богач повернулся лицом к охранникам:

– Эй, ребята! Спите там, что ли?! Посадите Гуру в машину, уезжайте и ждите меня в банке. Я хочу пройтись. Один. И принесите мою сумку… Что?.. Один, я сказал! Они точно спят стоя.

Не дожидаясь команды, Гуру поднялся, низко понурил голову и поплелся к автомобилю. Банкир оторопел.

* * *

– Как думаешь, старик, пес что-то почувствовал?

– Наверное.

– Точно почувствовал… Может быть, даже за день, за два до того. До разлуки.

– Не знаю… Больше банкир ничего не говорил, и я не спрашивал. Пнул ногой кота и ушел, не прощаясь. Протянул машинально руку, замер и резко убрал. Повисла моя рука, а банкира, видать, придавила моя одежда, что-то пошло не так в его голове… Гордость не позволила дать задний ход. А полицейские, в тот день сгонявшие нищих попрошаек из-под храма, вежливо отдали мне честь, несмотря на мою растрепанную бороду и рваную обувь. Не подошли мне его туфли, маленькие, – горько улыбнулся старик и невольно погладил давно забывший бритву подбородок. – Правда, кот?.. Правда.

– Правда, – повторил молодой бродяга, покачивая головой. – Интересная история. Но она не закончилась отданием чести Бриони, ты знаешь?

– Да. Не закончилась. Я знаю, – пожелтевшие зубы человека с котом на коленях были еще довольно остры. Из прокушенной нижней губы показалась кровь. – Упокой, Господи, их души… Это была мученическая смерть первых христиан.

– А Колизеем стала загородная мусорная свалка. Пепел целую неделю кружил-порхал над столицей. Их было – тысячи бродяг, согнанных полицией и добропорядочными гражданами с улиц, площадей и вокзалов за городскую черту и сожженных в крематории под открытым небом. У них не было итальянских штанов. Я там был, старик. Служил. Слепой. Слепее, чем твой кот. Вытаскивал несчастных из подъездов, чердаков и подвалов. Снятся они мне. Я слезы выплакал вперед на все кошачьи жизни.

Солнце, вконец утомленное, выпуталось из одного лабиринта улиц, но сразу попало в другой. Серебряный диск закатился и заблудился в скомканных одеялах серых туч. Ветер тщетно

пытался разорвать хотя бы одно из них и освободить солнце. Солнце сдалось, не было сил.

– Потом будет долгое расследование. Даже парламент создаст специальную следственную комиссию. Ну и что? Вердикт известен: бродяги напились, сами подожгли мусорную свалку и сгорели заживо. Аминь, – тяжело вздохнул молодой бродяга.

– Это – кино.

– Конечно, это – неправда. А знаешь, как, и главное – с какой целью, писался сценарий к этому фильму?

– Откуда мне знать? Разное говорили уцелевшие бродяги: что столица очищалась от нищих, готовясь к какому-то спортивному чемпионату, приезду важных гостей, даже самого папы римского, что бродяги заразились какой-то опасной неизлечимой инфекцией, что…

– Бред это все. Папа римский. Инфекция. Тибетский лама, – перебил старика молодой бродяга. – Мне мой банщик рассказывал, давно, не помню когда. Он все знает. Клялся, что правда, ему по большому секрету поведал другой банщик, который лично слышал от третьего, в общем – проговорился президентский банщик, и пошла волна. Как я понимаю, черные дела вершатся в белых тогах-простынях. Ладно. Опускаем таинство голых тел. Слушай. Однажды крепкую попойку устроил наш президент после бани со своей свитой – ни для кого не секрет, что любит наш владыка после бани побаловаться водкой и девочками. Так вот. Еще до девочек какой-то посол – видишь, чуть не забыл, дипломат с ними был заграничный, важная персона, – взял и ляпнул свысока, ломая язык об наши слова, что все империи, как и браки, рождаются на небесах, и смертным людям они неподвластны… Иммунитет у него, может говорить и делать что хочет. Понимаешь, старик?

– Слышал такое слово, но мне незачем это понимать.

– И не понимай. Так вот. Все было бы ничего, если бы на той фразе все и закончилось. Но посол очень быстро и сильно поплыл после нескольких рюмок, разошелся и начал шутить. Жестоко по отношению к нашему гаранту. Ну как шутить? Сказал, что по воле небес почившая недавно империя запросто может возродиться в любой момент, дух ее где-то теплится. А вернется империя – не быть, говорит, тогда нашему государству, и президенту

не быть со всеми демократическими игрушками. Империя опять на наших землях посадит наместника, даст ему инвентарную машину, дом с посудой и мебелью, жену, любовницу с биркой, если одной жены мало. Одним словом, станет все, как было раньше, до независимости, а старых, то есть нынешних небожителей, опустит на землю, посадит в тюрьму и опять опустит. Извини за вульгарность. Богатства, нажитые чиновниками и олигархами за двадцать лет независимости, словно после двухсотлетней колонизации Америки, за одни сутки будут национализированы.

Небожители едва не набили морду послу, президент вовремя уберег своих обиженных вассалов от расправы над обнаглевшим представителем ядерной страны. Остановил их и задумался. Банщик же президентский был там между ними, прислуживал за столом. Хмельной, как и все. Чтобы как-то охладить накалившийся воздух, старый проверенный банщик вдруг по простоте своей заявил, что дух империи давно выветрился. Ни с того ни с сего. Ляпнул старик.

– Дух, вы сказали? Я не расслышал хорошо.

– Да, дух. Не я, банщик сказал. Идем за ним дальше. Если и сохранился еще тот имперский дух, то лишь самая малость его, в каком-то одном хилом сердце нищего бездомного бродяги, помнящего былые времена, каких много в столице. Скоро сам помрет на улице, собаки разнесут кости. «А кто он и когда помрет?» – спросил банщика президент. «Не знаю», – ответил протрезвевший банщик. А президент продолжил: «Ты не знаешь. Никто не знает. А я – должен знать». Вот они, ключевые слова: «Дух империи спрятался в сердце бродяги». Закончилась баня. Без девочек. Разъехались все по домам или в бордели. Морду послу пощадили, чести он не потерял, но туфель своих из крокодильей кожи не нашел, в тапочках сел в лимузин, обещал международный скандал, если наш президент не вернет ему обувь.

Ветер устал, успокоился. По церковной площади ходили люди, волоча за собой размытые тени, о чем-то говорили. Взлетали и садились голуби. Рядом по улице медленно проезжали автомобили. Старый парк не мог сдержать обыденный Вавилон звуков большой столицы, в котором все же отыскалась тишина. Казалось, она только что пришла с пепелища загородной свалки, покрытой

тысячами углей человеческих тел. Тишина незаметно присела на скамейку между двух бродяг, и ее не потревожил негромкий немного монотонный тысячелетний голос седого старика.

– Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось изреченное через пророка Иеремию: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет*.

Оборванную нить библейского рассказа с кривой ухмылкой подхватил молодой бродяга:

– Тогда президент увидел себя осмеянным банщиком, послом и своей камарильей, весьма разгневался и послал избить всех взрослых бродяг в столице и банкиров, переодетых в нищих попрошаек. Плач, рыдание и вопль великий осиротевших детей, которых приказал не трогать президент, грозя пальцем небу: «Что я, Ирод какой-нибудь?».

Все. Кончился рассказ. Неизвестно, как долго сидел квартет – двое бродяг, тишина и кот – на скамейке у храма, время обходило их стороной, пока старик не нарушил молчание.

– Нет. Рахиль плачет о детях своих. Все убиенные становятся детьми.

Дзи-и-и-и-нь!!!

Аж вздрогнули сидельцы. Не прощаясь, в городском шуме растворилась тишина. Монетка звонко ударилась о дно банки, вылизанной котом.

– Держите у ног свою банку. Валяется где попало. Вы бы еще на паперть ее поставили прямо возле священника, а сами здесь прохлаждались, лодыри. Шли бы лучше работать, тунеядцы, – подав милостыню, брезгливо рассыпалась на колкие слова сухощавая старушка, плащ которой, если не она сама, помнил начало прошлого века, собралась обратно в комок и направилась к церкви.

– Рахиль, – улыбнулся молодой бродяга вслед женщине.

– Не нужно так шутить, – глубоко вздохнул старший товарищ.

– Да. Не нужно. Банкир дошутился. Куда он мог еще пропасть на три года, и вообще, все о том говорит, навсегда? Видать,

* Св. Евангелие от Матфея 2:16-18.

не успел показать документы, если они были при нем. Да что документы? Накладную бороду не успел снять. Получил дубинкой по голове – и на свалку. На конкурс банкиров-бродяг. Победил, сто процентов… И сгорел. Вот она, прихоть случая.

– Нет. Это – случай прихоти. Пусть покоится с Богом, если он пошел к Нему.

– Пусть все покоятся с Богом… А ты не пробовал связаться с женой банкира, рассказать о встрече с ее мужем и все такое, успокоилась бы вдова?

– Я не решился. Не спрашивай, почему. Не знаю.

– А куда ты, старый бродяга, подевал пиджак, остальную одежду банкира, не только штаны он тебе оставил? Это ты должен знать.

– Взял кто-то ночью у меня. Еще тогда, пару лет назад. Брюки на мне были.

– Украли Бриони. А знаешь, старик, почему он так дорого стоит?

– Нет.

– Кроме кашемира и рекламной шелухи в ткани костюма есть шерсть викуньи. В Южной Америке водится, высоко в горах. На ламу похожа. Или лама на викунью.

– Викунья…

Новый Роздол

Анатолий Контуш

Последние из нас

Ю. С. и остальным

Как к ней подступиться, не знал никто.

Невероятная и восхитительная, она казалась пришельцем из другого мира, недоступного простым смертным.

Непостижимо блистательная, она стояла в самом центре коридора, и все осторожно обходили ее, чтобы случайно не зацепить.

Бельгийская печка-буржуйка, сверкающая дореволюционным кафелем в нежных голубых узорах, опоясанная мощным крупповским уголком и неизвестно как пережившая все исторические потрясения двадцатого века, внезапно оказалась ненужной: в квартиру провели АГВ.

Те из нас, кто шел своим путем, спорил с начальством, прописывался в жилых вагонах и зимовал на холодных дачах, быстро узнали об этом. В течение короткого времени судьба печки была решена: ей предстояло переехать на неотапливаемую профессорскую дачу между шестой и седьмой Фонтана.

Мы собрались утром возле подъезда высокого четырехэтажного дома с балконами, эркерами и башенкой на крыше. Пришли все – Славик, Сережа, Ян, Алеша, Игорь, Федя, Леня, Женя, Вадик, Миня и, конечно, Юра: тогда, чтобы собрать всех, еще не нужно было созваниваться в течение полугода, уточняя даты трансконтинентальных перелетов. Был теплый майский день, пахло весной, и ласточки летали высоко над землей.

Мы потушили сигареты, поднялись по широкой мраморной лестнице с высокими ступеньками и остановились перед дверью последнего этажа. Юра позвонил, мы поздоровались, обступили

печку по трое с каждой стороны и взялись. «Ну, что, поехали?» – сказал Славик; мы взялись еще раз, но печка не шелохнулась. «И-раз!» – крикнул Юра; печка чуть качнулась, но не сдвинулась с места.

Нам понадобилось полчаса на то, чтобы вытащить ее на лестничную площадку; мы кричали «И-раз!», «И-два!», «И-три!» и даже «И-сто сорок четыре!», но это не помогало. Мы оставили печку возле двери и, обливаясь потом, спустились к окну перекурить.

Первый пролет мы преодолевали около часа, несколько раз уронив печку на ступеньки; одна из них треснула, и мы некоторое время с недоумением рассматривали черную линию на белой поверхности, не понимая, как это могло случиться. Когда печка наконец оказалась на площадке возле окна, мы дружно выпрямились, перевели дыхание и вернулись в квартиру выпить воды. Мы посидели несколько минут в просторной комнате с высоким потолком, оставили на столе запотевшие стаканы и снова отправились на лестницу.

Мы заметили, что Алеши нет с нами, только когда опять выстроились вокруг печки в четыре ряда. Еще минуту назад он сидел рядом, блистал эрудицией, читая свои афоризмы, и мы радостно улыбались, услышав «Мы еще увидим небо в приказах» или «Доколе, Катилина, ты будешь испытывать наши самолеты», а сейчас там, где только что был он, зияла пустота. Почти как тогда, когда его положили в областную больницу с распухшими лимфатическими узлами, и он до последнего дня был уверен, что выйдет оттуда. Мы помчались обратно в квартиру, обшарили все углы, выкрикивая его имя, но никого не нашли. Алеша исчез в поворотах темного коридора, пропал за древними книжными шкафами, растворился среди сотен пыльных томов с описаниями древнеримских сражений, французских армий и немецких линкоров.

Погрустнев, мы спустились на площадку к окну и снова взялись. Второй пролет неожиданно дался нам легче, чем первый. Мы лихо стащили печку вниз за какие-то двадцать минут, уронив всего лишь однажды, – правда, довольно серьезно. Лестница на этот раз не пострадала, зато от печки над самой ножкой, в месте схождения трех уголков, откололся кусок кафеля; Юра осторожно

подобрал его и положил на окно, чтобы подклеить потом. Время перевалило за полдень, было очень жарко, и мы сели отдохнуть на ступеньках перед квартирами третьего этажа. Печка стояла перед нами такая же роскошная, как раньше, и только маленький изъян у самого пола напоминал о происшедшем.

Федю хватились быстро: он спускался справа от Славика, и тот сразу заметил, что рядом вдруг стало как-то слишком свободно, когда мы снова выстроились в каре. Мы бросились во двор, чтобы убедиться, что он случайно не сорвался вниз с двенадцатиметровой высоты, как в общежитии на Щепкина той ночью, но во дворе все было тихо: капала вода из крана, у стен сидели кошки, и голуби с любопытством смотрели на нас с карнизов. Мы поискали тут и там, заглянули в подвал и на черный ход, немного покричали и вернулись в парадное: Федя, умница, балагур и спортсмен, зачем-то улетел от нас навсегда в ясное одесское небо.

Те из нас, кто уклонялся от армии, работал монтировщиком сцены и жил в домах под снос, продолжили идти своим путем, хотя и не так резво, как раньше. Какое-то время мы не могли привести печку в движение: не то чтобы нас стало меньше, скорее у нас отяжелели мышцы, ослабели руки, и куда-то исчезла свежесть. Мы посидели на лестнице, поговорили о погоде и попробовали еще раз; печка медленно наклонилась, качнулась и пошла. Мы достигли следующей площадки, когда день был в полном разгаре, солнце палило изо всех сил, и жаркий воздух плыл над темно-красными крышами. Печка выглядела прилично: только на последней ступеньке мы зацепились за перила, отколов еще одну плитку в самом низу.

Высокое окно в старой раме было распахнуто настежь, и мы столпились вокруг, чтобы немного остыть. Те, кто постарше, Славик, Сережа и Ян, облокотились о подоконник, а остальные встали сзади, расстегнув мокрые рубашки. Несколько минут мы курили, рассказывали анекдоты и говорили о рыбалке, литературе и футболе; внезапный порыв ветра ударил рамой о стену, распугал голубей и бросил нам пыль в лицо, заставив вернуться к печке. «И-раз!» – привычно скомандовал Славик, печка приподнялась на несколько сантиметров, на мгновение застыла и вдруг повалилась на бок так стремительно, что Юра, Женя и Вадик

успели подхватить ее, только когда она уже врезалась в стену и заскользила по ней, оставляя на ступеньках россыпи штукатурки. «Игорь! Здесь же стоял Игорь!» – крикнул кто-то; мы огляделись – Игоря не было.

Мы отправились на поиски далеко не сразу: нам пришлось сначала выправить печку и затащить ее обратно к окну. Когда мы вышли на улицу, там не было никого, кроме нескольких прохожих и заблудившейся поливальной машины, которая на полную мощность поливала тротуар под налитым грозовыми тучами небом – почти как тогда, на первомайские праздники сразу после Чернобыля, когда мы сидели в пустынном здании университета, придумывая одесских джентльменов, и поливальная машина старательно заливала тротуар под проливным дождем. Все весело шутили насчет стронция, а Игорь, дежурный по университету, озабоченно посматривал на серые крыши через окно: всего через несколько лет он будет умирать от рака в своей тесной квартире высоко над Дерибасовской, и нам уже будет не до шуток, когда станет ясно, что ничего сделать нельзя.

Те из нас, кто работал ночным приемщиком хлеба, ухаживал за стариками и интересовался нансеновским паспортом, остались на дачах еще на несколько лет, упорствуя в правильности своего пути. Следующий пролет мы преодолели в молчании, с трудом удерживая печку в равновесии: нам действительно стало тяжелее, и куда-то исчез кураж. Из сгустившихся за окном туч начал капать дождь; мы ухнули печку на мрамор второго этажа, не особенно заботясь о ее целости, и не обратили внимания на брызги кафеля, разлетевшиеся кругом. Мы молча расселись вокруг печки на грязном полу, кто-то спустился в подъезд перекурить, и когда мы наконец встали, прикидывая, как вдевятером лучше взяться с четырех сторон, оказалось, что нас уже не девять, а восемь: Миня не вернулся наверх после перекура. О том, что нужно бросить курить, ему говорили постоянно, особенно после того, что случилось с Сашей, но он не придавал этому значения, улыбаясь и отшучиваясь, как умел только он – например, старым советским лозунгом «Завтра работать лучше, чем сегодня!» в своей собственной интерпретации: «Завтра работать лучше, чем сегодня, – значит, сегодня можно вообще не работать!».

Потом мы узнали, что его, улыбающегося, нашли на полу гостиной, хотя врачи давали ему еще год, но тогда нам оставалось пройти еще два пролета, и мы встали по двое с каждой стороны.

Молния сверкнула в первый раз, когда мы были на середине пути: ее отблеск промелькнул в пыльном окошке под потолком. Мы удержали печку, но в этот момент грянул гром, печка покачнулась, опрокинулась на перила и заскользила вниз. Мы остановили ее у самой площадки, вцепившись в холодные уголки и едва не вывернув пальцы. У нас дрожали ноги, когда мы опускали печку на пол перед последним пролетом; мы раскололи плиту у стены, прокляли все и свалились на мрамор, чтобы собраться с силами перед последним броском.

Наверное, я лежал на площадке с закрытыми глазами, положив голову на ступеньки, когда кто-то сказал, что пропал Ян. Теперь нас было слишком мало, чтобы сделать то, для чего мы собрались, но за окном уже бушевала гроза, и надеяться было не на кого. Мы с трудом поднялись, встали по двое, оставив в одиночестве Сережу, и только напряглись, как внизу скрипнула дверь, раздались шаги, и женский голос прокричал: «А вашего-то нашли в морге без документов, только что по телевизору сказали!». Мы выбежали в подъезд, но там никого не было, только дождь падал стеной, надрывался гром и плакал ветер. Ян, остроумец, выдумщик и философ, тоже оставил нас, ничего не сказав на прощание; любитель ирландского виски и широких белых рубах, он навсегда исчез из просторной квартиры над Мишей Водяным вслед за своей мамой.

Я не помню, как мы прошли последний пролет; помню только, что печку кидало из стороны в сторону, как при шторме, и что мы едва удерживали ее. Юра споткнулся, когда оставалось пройти две ступеньки; печка выскочила из наших рук, перевернулась, с грохотом упала на лестницу, скатилась на площадку перед дверью в подъезд, опрокинулась и замерла у стены. Мы спрыгнули за ней и остановились: от недосягаемой бельгийской красавицы остались только несгораемый крупповский каркас и груда бело-голубого кафеля посреди пола. Результат наших усилий невысоким холмиком возвышался перед последними из нас, и асимптота этого результата уходила в бесконечность плоской поверхностью,

ни на миллиметр не поднимаясь над остальным пейзажем. Те из нас, кто работал дворником, дежурил в детских садах и думал уезжать за границу, собрали документы, сложили вещи и уехали.

Гроза прошла; в центре подъезда стояла лужа, и ветер срывал капли с деревьев. Мы умылись под краном во дворе, попрощались на углу и разошлись в разные стороны. Юра прошел по Франца Меринга до Нового базара, спустился по Торговой до Щепкина, свернул на Артема напротив высокого дома с парадным слева от входа, купил две бутылки «Ркацители» в магазине на Короленко, остановил машину и поехал к старым казармам на проспекте Шевченко: там его еще ждали.

Одесса – Париж – Лион – Канны – Париж



Валентина Силантьева

Малявка Саша и Петр

Привет из семидесятых

Наискосок от института к молодому парку они бежали через улицу. У двух каштанов-подростков стояла бочка с квасом и толпилась небольшая очередь. Бело-розово в резной розетке листьев сияли и светились свечки каштанов. Не по-весеннему жарко, аудитория отпугивала и отвращала. На ней был красный в белую горошину сатиновый костюм с коротенькой юбчонкой. А он, в расклешенных по моде брюках и в уже по-летнему белой футболке, крепко держал ее за руку.

Конечно, перебегать улицу напротив главного корпуса не стоило – здесь было много машин и лишних глаз. Визжали тормоза, оглядывались люди, а в их числе и преподаватели вуза. Здесь мог быть и тот самый математик, чью лекцию они решили исключить из сегодняшней жизни. Потому что день был солнечным, искристым, воздух пьянил, а в парке расцвели молодые каштаны. Босоножки на высокой танкетке-платформе отстукивали скорый шаг-чечетку и припускались наперегонки с его видавшей виды обувью. Глазищи в мохнатых ресницах глядели на мир открыто, отчаянно и радостно. Он, в развевающихся кудрях и, конечно, потерявший голову от этой девчонки, был готов на любые безумства. Да, это была пара, за которой обычно с придыханием наблюдает если не весь курс, то уж точно вся группа.

Высоколобая чернушка Саша, с глазами, что заставляли вспоминать об олененке Бемби, приехала учиться из маленького городка, населенного кондовым староверческим людом. Получив соответствующее напутствие во взрослую жизнь, она – еще по-детски тоненькая выпускница школы – таила в себе ум и стать красивой, в будущем элегантной и, безусловно, преданной жен-

щины. Той самой, которая «в горячую избу войдет», будет верна одному и, конечно, заставит скатиться к земле многие мужские сердца. Петр был белорусом. Уже взрослый, отслуживший в армии свой срок и поступивший в вуз по солдатской квоте. Он мог бы поостеречься. В институт пришел, понимая, что это единственная возможность вырвать семью из нищеты и новый горизонт прочертить для брата. Жизнь уже преподала ему не один горький урок. Рано потеряв мать, он рос мальчишкой, а потом и юношей, не знавшим ласки. Он, отец и брат должны были просто выстоять. Просто выдержать. Просто выжить. Они и выживали. Теперь – надеясь на Петра, поступившего учиться в красивом черноморском городе, о котором слышали и мечтали давным-давно.

А они – девчонка Саша-Александра и взрослый Петр – бежали через улицу наискосок. Не обращая внимания на машины с их визжащими тормозами. На повернутые в их сторону головы прохожих. На жирно блеснувшие рельсы трамвая, которые следовало перешагнуть или перепрыгнуть. Не споткнувшись на высокой платформе. Не зацепившись о штырь-крепление штаниной и старой, «с пробоинами», обувкой. Бежали. А их догонял-фотографировал пожилой еврей, который, сунув Петру бумажку с адресом ателье, торопливо крикнул: «Приходи, тебе будет память…». Эта память действительно осталась. Только не совсем о том, о чем бы хотелось.

* * *

Все начиналось просто – с «дай списать» и «что там с начерталкой?». Он где-то подрабатывал ночью и не успел сориентироваться в своем утреннем ученичестве. Она, все-таки скрыто застенчивая, подняла на него растерянный взгляд. Наверное, это и решило его судьбу. Где ему было знать, что эти карие в пол-лица глаза, начиная с ее восьмого-девятого класса, уже не раз ставили мужчину в тупик?

Однажды с визитом к ее старшей сестре в дом зашел учитель. По распределению молодых специалистов он только что приехал в их город. С сестрой Варей они были знакомы по университету и общежитию, в котором обретались студенты-филологи.

Тихо-мирно они сидели за столом под виноградными лозами, угощались нехитрой, но домашней снедью и разговаривали, как все филологи, «ни о чем», а значит, о прочитанном. Александр слыл большим докой, на курс младше его Варя в разговоре с умником старалась не отстать.

– А ты знаешь, в «Юности» публикуют повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие…»?

– Прочел, прочел… Вот, кажется, военный реализм поднадоел, а появится талантливая вещь, и понимаешь: не в реализме дело.

Варвара в своих кругах слыла «формалисткой» и уже потому взвилась:

– Да брось ты, Александр, модерна-авангарда хочется.

– Перехочется. Если есть о чем сказать (а война из наших домов не скоро уйдет-позабудется), то реализм как раз и сгодится – это самый универсальный метод работы со словом, к тому же – доступен всем, а не только мне да тебе.

– Ну да, ну да, Аристотель с его трактатом о жизнеподобии, а еще писатели Булгаков и Платонов для народа плохи…

Засмеявшись и сказав «Не язви, Варвара», он потянулся к двум котам-одногодкам – черному Цыганчику и белоснежному Бельчику – и, ухватив одного из них, хотел усесться на прежнее место. И замер. Потому что появилась эта девчонка. С черной челкой до глаз. С большими волосами, завязанными в «конский хвост», в коротенькой юбке со встречными складами и синей матроске с отложным воротником, украшенным белой полосой. Оказывается, их класс репетировал официальный прием к Первому сентября, и такая вот форма была ну просто необходима для парада как в школе, так и дома. Ах, Сашенька… С пластикой олененка-лани. С глазищами, а не глазами. С выражением лица, в котором както уживались и застенчивая скромность, и осознанная красота. Учитель-филолог пал ниц. Его тезка Саша, сказав «здравствуйте», прошагала в дом, а он произнес: «Ну вот попадется такая ученица в классе, и что делать?». Бедный-бедный молодой женатик Александр, он пока не знал, что будет назначен классным руководителем именно в Сашкин девятый класс.

Она окончила школу почти отличницей и пришла в студенческую аудиторию. Осознанно и, думая о будущем, которое уже

грозило бесхлебьем. Приученная к труду и знавшая ему цену, она честно училась. Воспитанная в семейной строгости, о своей красоте не помнила и не поминала. В быту проворна. С людьми дружелюбна. В учебе далеко не хуже всех. С ветром странствий в голове? Ох, пережить бы сессию, а там посмотрим…

Но вдруг и, в общем, неожиданно потянулись-запрыгали к ней листочки с невнятно написанными словами-строчками. Из рук в руки. Через всю аудиторию. Минуя недоумение, легкий смешок и завистливый вздох.

«Маляўка, здравствуй! Ты не удивлена случайно? Да, это пишу я… И знай – «надеясь на взаимность…». «Маляўкой» (маленькой, малявкой) он называл ее на белорусский манер, и было в этом слове что-то интимное, дорогое, подаренное только ей.

В следующий раз «прибегало» такое:

Я не призрак комиссара
Из киношки «Фантомас»,
Так зачем смеяться надо
Утром, вечером, сейчас?

Подозревая ее в искусственно взлелеянной «незаинтересованности», он был настойчив и продолжал:

Я пишу и улыбаюсь,
Отвергая этим грусть:
Стих – для жизни, это – радость.
Ты смеешься? – Ну и пусть.

Но когда появилось вот это:

Пришла весна. Мы радостнее стали –
Вон капли падают, звеня,
И я хочу, хочу, чтоб все узнали –
Я здесь, и я люблю тебя, –

стало ясно: вон из аудитории, пора в парки и сады. Конечно же, они сорвались и побежали.

И были в их тогдашней весне и парки, которые они узнали и полюбили навсегда, и город, который одарил их торжеством достойной архитектуры, музыкой площадей, красивых улиц и неожиданной вязью ночных приморских переулков. Одуряюще пахли сирени, рычали цикады, и «гроздья акации белой», все повторяясь, намертво оседали в головах. Он, человек из лесного приволья, дарил ей свое море. Как оказалось, не столько Черное, сколь Голубое:

Снова ветер и брызги шальные в лицо,
Снова соль на губах от морского прибоя.
Мы стоим и вдыхаем еще и еще
Голубое и Черное море.

* * *

Они делили если не дом, то часто хлеб. Аскетично-советское время диктовало свои законы, жить вместе в одной комнате институтского общежития они не могли – как минимум был нужен штамп в паспорте, подтверждающий супружество. Но оба понимали – их отправили учиться, а не жениться. А без родительского благословения-соизволения замуж тогда не шли. И не женились тоже. «Шурко́-Маляўка-Сашенька» и взрослый Петр, не нарекая себя женихом и невестой, как говорили тогда, продолжали «встречаться».

Встречались. Вечерами осваивали большефонтанские дали, сидели на ребристых скамейках, спускались к самому морю. Зимой пошли в секцию плаванья, и он все переживал, что Саша, выросшая на берегу большой реки, умеет преодолеть рекордные секунды на малой дистанции, а на большой позади всех. Никакие разговоры о том, что климат, в котором она росла, съедает легкие и дарит вечный бронхит, не помогали: ему хотелось видеть в ней чемпионку. Во всем, и в спорте тоже.

Летом они работали. Пытаясь заработать на пальто, джинсы и на дальнейшее житье. Саша отправилась проводником в поездной бригаде по самому дальнему маршруту. Отчаянные девчонки, в которых и весу-то было чуть больше пятидесяти килограммов,

взялись вдвоем обслуживать три общих вагона. Еще не понимая, как это трудно и опасно. Потому что – кто едет общим вагоном в дальние края? Потому что глубокой ночью на каком-то таежном полустанке нужно стоять с фонарем одной, да еще и перебегать к другому вагону. А люд ехал отчаянный, а девчонкам было по двадцати лет. И только много-много лет спустя, нечаянно разговорившись, она спросила:

– Скажи, а почему ни ты и никто из близких не отговаривал меня?

И старшей Варваре пришлось держать ответ. За себя и за всех:

– Зная твой характер, отговаривать и не брались. И еще, Александра, воспитанные в СССР, мы свято верили в светлые души строителей коммунизма. Разве нет? Помнишь, я рассказывала, как на уборке винограда во время колхозной студенческой страды зэки наполняли ведра-ящики студенток и просили об одном: «Выполните норму, поговорите с нами». И каких только рассказов не было, и какие только стихи не читались!

– Если б ты знала, как трудно было, как обирали, унижали и обзывали. Держало одно: «Вот съедемся к сентябрю, и Петр…».

Дыхания на продолжение фразы ей не хватило.

А он, он мотался по стройотрядам. Чтоб было на картошку осенью и зимой. Чтоб одеть-обуть брата, помочь отцу и дарить любимой девчонке не цветы, а охапки этих цветов. И письма бежали-брели по дорогам их необъятной страны. И читала их Саша как собрание сочинений – раскладывая по датам и представляя Петра сначала в июне, потом в июле, потом в августе:

«Шурко, ты далеко, но все равно рядом…».

«Малявка, я тебя не замучил стихами? Правда, хорошими стихами этого, по-моему, сделать нельзя. А сегодня я тебе переписываю стихи Юлии Друниной, ты просила».

Он представлял ее в дремучем лесу, выстраивая сюжет, которым бредят только дети и влюбленные:

Меж деревьев мох и травка,
Шум листвы и гомон птиц,
По траве бежит Малявка
И пыхтит, как старый шпиц.

Пыхтит, потому что нашла большой гриб и тащит показать: в эту шляпку кто-то вгрызался, и теперь у грибка есть глаза и рот. А вот еще и хвоинка. Большая-длинная, потому что сосновая. А ему хотелось сказать, что в белорусских лесах она найдет еще и не такое – и обязательно счастливое и очень большое. Потом, пребывая в «строителях коммунизма и новых городов», срывался и на другую патетику:

И любовь мы строим, как город,
Ошибаясь, радуясь, горя…

И хорошо было то, что строчки ее друга Петра-Пети-Петруся перекликались в ней самой с теми, что звучали у близкой обоим Юлии Друниной:

Сколько силы в обыденном слове «милый»,
Как звучало оно на войне…

Вот тогда, тем летом, разлучившим их пока ненадолго, она узнала о нем то, что он скрывал ото всех, боясь показаться смешным: «Я – безалаберное дитя природы»; «Я – из затянувшегося детства».

* * *

Они «покоряли природу» вместе. Заправскими туристами, что уже по разъезженной осенней колее могут притащить на себе объемный скарб, на выходные поселиться в палатках, петь опять же под Петькину гитару. Он отдаст ей свои ботинки, потому что она приехала в каких-то развалюхах. А уже конец октября. Приладив к ногам что-то невообразимое, он разжигал костер, навешивал казан, удлинял с помощью палки и проволоки ручку сковородки. И на какой-то фотографии остался след этих походов и утех. Петр босиком у костра. Вязаная шапка с помпошкой на правом ухе. В руках – сковородка. И строчки на обороте фотографии: «Тебе, Шурко, и снова от меня».

Задумчивая Александра в штормовке, в брюках с закатанными обшлагами и в огромных мужских ботинках сидит на скатке на берегу какой-то речушки. Девчонки хохочут у палатки, потому что к ним по-пластунски крадется-подбирается какой-то парняга. И снова он, Петр, прислонившись к уже безлистому дереву. С гитарой и в развевающихся кудрях.

А еще они сплавлялись на байдарках. Официально участвовали в слетах таких же замерзших и сумасшедших, как сами. Стояли поодиночке или группой у озерной глади. Продирались сквозь «хащи». И была задумчиво-мила и отвлеченно-лирична Сашенька. Плохо экипированная, но явно решающая какой-то шаг своей судьбы. Смотрящая на воду, как на гладь пророчащую. А на поперечном бревне, переброшенном через ручей-безымянку, позировал Петр. Моросило, и серым было все окрест. А он улыбался. А потом – широкозубо и открыто – они улыбались вместе, и эта фотография объяснила Варе все. И то, что этим двоим нужно быть вместе. И то, что этот влюбленный навсегда белорус будет Сашке опорой. Конечно, думалось и о том, что «им не разрешат…». Но так хотелось, чтоб этого не случилось.

Случилось, случилось. Сентябрьским днем их третьего курса они появились в доме Вариных-Сашенькиных родителей. В том самом, где мечтали дать образование детям, но требовали беспрекословного подчинения родительской воле. Сидели за столом. Нужно было снимать урожай винограда – поехали через Дунай на островной огород. В доме гостил дальний родственник, поэтому делали вид, что приехали «просто однокурсники». Петр помогал и вел себя по-мужски. Не бычился, не стеснялся и не забыл собрать букетик плавневых цветов-растений для глазастика-Сашки. Там же, и как бы между делом, им сказали строгое «нет». Оба выдержали. И слово-камень. И длинный путь через Дунай. И разгрузку-выгрузку корзин с виноградом. И ужин за общим столом, и нейтральный разговор с гостем. Потом быстро собрались и пошли на ночной автобус. Их не останавливали. Ни окликом, ни жестом.

И что-то треснуло и надломилось. Сначала – в Петре. Запил. Не являлся на лекции и в Сашкину комнату. А она тот год проживала «подкидышем». Это когда, увлеченная и безоглядно

влюбленная, все-таки запустила учебу и не добрала в сессию «прожиточные» баллы. Встав перед дилеммой «стипендия или общежитие», выбрала стипендию. Девчонки вошли в положение: в трехместной комнате, сдвинув две кровати и положив поперек чертежные доски, спали втроем. Царствовала в одиночку на одноместной постели только одна. С ней иногда менялись, чтоб «понежиться». Коменданта как-то упросили, кому-то что-то уплатили. А Петр не появлялся. А Сашенька чернела и заострялась лицом. Приходила к Варваре. Подолгу возилась с малышом-племянником. О себе помалкивала. О Петре отвечала нейтрально. Ее жестковатость сестра восприняла как взросление – в их семье умели быть каменно-молчаливыми.

Теперь их – Саши и Петра – жизнь текла непраздничным ручьем и завязывалась если не узлами, то просто большим узлом. За Петром шаг в шаг следовала девушка Лана. Светленькая. С хорошим лицом и глазами. Давно отличившая белоруса и следившая за поворотами в его судьбе. Теперь это выглядело «преследованием на близкие расстояния»: он с лекции – и она бегом; он в бассейн – и она туда же; он еще куда-то – и она следом. Слово «близкие» оказалось многозначным, и вокруг заговорили о тех самых «близких отношениях», в которых состоят теперь Петр и Лана.

* * *

Наверное, безоглядно полюбив чернушку-Сашу, он не успел понять ее характера. Она могла составить честь любому мужчине. И красотой, и воспитанием-выучкой, и открытым сердцем. Но горделивая стать не прощает предательства, и эта девчонка-пуговица не простила. К чести Петра, он попытался помириться. Приходил с большим снопом ромашек, но «навеселе». Стесняясь девчонок, все равно часами просиживал в комнате и отмалчивался. Его приглашали к столу с неизменной картошкой на сковороде и огурцами-помидорами в глубокой тарелке, – он садился и долго ковырял вилкой то, что было предложено. Он писал ей, и эти сохраненные Сашей записки через много лет потрясли Варвару. Сначала в них были попытки примирения:

Теплоту твоих рук я в ладонях храню,
Крылья-руки даны тебе, Сашка, наверно.
Как сейчас прикоснуться губами хочу
К тем рукам – и губами, и сердцем.
.....
Зачем весна опять стучится в душу,
Даря прекрасный миг раздумий и тревог?
Ведь тот, кто мне безмерно нужен,
Так от меня и близок, и далек.

Потом пришла констатация его неуходящей беды-печали, и прозвучал крик-просьба, подкрепленный популярным тогда стихом Александра Кочеткова. Тем самым, в котором «с любимыми не расставайтесь…»:

Листья под липами, листья под кленами,
В парках аллеи уже золоченые,
Серое небо и красное солнышко,
Только вот сердце грустью исполнено.

P. S. «Как больно, милая, как странно // Раздваиваться под пилой…»
Напиши мне. Напиши!»

Он не смог отказаться от писем и писал ей летом между четвертым и пятым курсами. Наверное, намеренно повторяя старое обращение:

«Маляўка, здравствуй! Ты не удивлена случайно?

Да, это пишу я. Каждое лето институтской жизни я писал тебе. И почему это должно быть исключением?..

…Я не знаю, что сказать, и потому – благодарю тебя. Прости, мне по-прежнему больно… Здесь в сквере много цветов. Я давно никому их не дарил.

…Напиши мне пару строчек. Как отдохнула? Как малый детеныш-племянник? Как…? Как…? Пожалуйста. Адрес – у Галки».

Она не ответила, но записки-письма сохранила. Как оказалось – на долгие-долгие годы вперед.

Когда в конце пятого курса Петр женился на заметно беременной Лане, и комнаты, объединяясь, готовились к общему веселью, ей сказали: «Отъедь куда-нибудь, иначе свадьбе не бывать». Холодные ветры дули ей в спину, молча собравшись, она уехала. Вернувшись, продолжала жить как бы в прежнем ритме. Как бы дружила с мальчишками, как бы веселилась в круговерти студенчества. Тоненькая. Большеглазая. Очень красивая.

Они оба – Петр и Саша – так и не смогли работать по специальности. Да, выросшие на «сухих кусках», они знали цену теплому хлебу. Их лакомством была банка сгущенки. Радостью – утренний сеанс в кино, потому что стоил он двадцать пять копеек. Оба мечтатели, они пришли в технологический и оказались на мясомолочном факультете. Потому что при малой инженерной зарплате специалистам полагался небольшой мясомолочный паек, а еще – «полкило мяса хоть на ладони неси». Казалось бы, все продумали, а получилось по-другому.

Уже на втором курсе их поставили туда, где убивали животных, и это была варварская живодерня. Очень не скоро Саша сказала, что сломалась тогда, когда увидела глаза обреченных лошадей, а потом – множество подков на полу цеха. А в стихотворном отчете о практике третьекурсника Петра, адресованном все той же ненаглядной Александре, прозвучало:

Тут нас хотят – да видано ли это? –
Сделать безбожными убийцами скота,
А я, наверное, мог стать поэтом
И про любовь писал бы без конца.

В общем, кровь, мука и плач животных вывернули и его – взрослого парня, которому уже грезилось совершенно другое:

Мне бы в деревне старенькую хату
И чтобы рядом был такой же старый лес.

Не получилось. Ни леса, ни любимой Сашки-Шурка́, ни профессии, дающей статус и зарплату. Вместе с Ланой и маленькой доч-

кой они осели в Белоруссии, и многие годы Чернушка-Малявка о них ничего не знала.

* * *

Старые фотографии – непарадного качества и уже пожелтевшие – нашлись в старой планшетке. Тут же, спрессованные в общем дерматиновом кармашке, примостились-улеглись и Петины стихи. Филологиня Варя потянулась к ним, а ее сестра Саша, так и быть, позволила их прочесть. Вот наискосок от главного корпуса института и к счастью, обозначенному двумя цветущими деревьями, бегут Шуркó и Петр. Сквозь годы и молодость. И нет уже той бочки с мыльным квасом, и в прошлом безоглядная юность. А на обороте старого снимка надпись:

Это ты. Это ты. Это я. Это мир.
Это в прошлое взгляд. Это юности миг.
Невозвратны шаги. Не течет вспять река.
Ты сейчас далека. От меня далека.

Оказывается, он принес ей эту фотографию уже на их последнем курсе. Уже связав свою жизнь с Ланой. Уже констатируя трезво и с отчаянием:

Все подвластно судьбе. И один я теперь,
Что сказать? – Вспоминаю о прошлом…
Знаю, знаю, не войдешь в приоткрытую дверь,
И ко мне не шагнешь осторожно.

Уже казнясь осознанным опытом, спрессованным в короткой строфе:

А боль такая оттого,
Что сам когда-то делал больно…

Прав был еврей-фотограф, которого таки разыскал Петр: эта их пробежка по улице, расцвеченной ярким солнцем и в наряде

цветущих каштанов, оказалась не просто памятной, а долгозначимой.

Петр ушел из жизни рано. Оберегая Сашу, ей о нем не рассказывали. Она не ездила на встречи выпускников, но однажды, «двадцать лет спустя», ей передали большую фотографию однокурсников, и Варин взгляд остановило чье-то женское лицо. Безусловно красивое и с отрешенно-грустными глазами.

– Кто это? – не удержалась она.

– Лана, – ответили ей.

«Господи, как трудно быть с не любящим тебя мужчиной, зная, как он умеет любить», – подумалось Варе.

Рукой и сердцем она, теперь старшая в семье, часто тянулась к последней памятке, связанной с Петром, с которым когда-то познакомилась нечаянно и ненадолго. Это была его открытка ко дню рождения Саши. Простенькая и непарадная. С вязью мелких букв, что укладывались в пронзительные строки: «Вот и всё. Отцвели для нас с тобой нарциссы и розы. Но останутся парки и море. Я знаю – ты любишь осень, но пусть в душе твоей всегда будет весна. Всего тебе доброго, пусть Маляўка всегда остается Маляўкой. Счастья тебе».

Нет, большого счастья в жизни этого олененка-Бемби не случилось. И потому, перебирая «наследье юности мятежной» – Петины слова и строки, сохраненные в планшетке из кожзама, – Варя вспомнила и другие, подаренные миру Иваном Буниным. Те самые, что в «Холодной осени» возвращали его героине сгинувшего в войне возлюбленного: «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне…».

Ну что ж, да святится имя Твое и память о тебе, белорусский юноша Петр.



Елена Черникова

Любовь, или Четвертое измерение тройного портрета

> Это создает ощущение чего-то смехотворного и в то же время нездешнего, постоянно таящегося где-то рядом, и тут уместно вспомнить, что разница между комической стороной вещей и их космической стороной зависит от одной свистящей согласной.
>
> Владимир Набоков. «Николай Гоголь»

Золотую бульварную звездочку, сувенирного старичка в ослепительном белом пиджаке, добродушного павлинчика в белой шляпе с кокардой, его лукавенькое личико с громадным носом, улыбку чуть растерянную и всегда восторженную – спешите видеть! – как он танцует, топчась на месте, но щедро, будто полный коллектив, и всякий рад щелкнуться с фотомоделью, когда модели под восемьдесят, а он как солнечный трюфелек, сморщенный, но дорогой, и для него гремит оркестр в городском саду. Спешите: он может не доплясать на Дерибасовской до вашей старости, у него своя есть. Кино какое-то, подумала я.

«Смотри на него! Второй после бога!» – с одесским проникновением в человеческую душу объявил всему трамваю веселый лохматый гражданин в седых усах, первым глянувший в окно, и все пассажиры, не оборачиваясь, поняли, что застряли надолго: дорогу загородил грузовик, охламон за рулем которого пренебрег правилами движения и хорошего тона, ибо ездить по городу *вторым после бога* – дурной тон. Ясно.

Я не знала Одессы слишком долго и не предполагала потрясений. Совсем не знала. Ноль. Пиар Одессы в московском регионе застыл на «Ликвидации». Если бы не Бершин, решивший

а поехали к Волокину, и если б не Женя Волокин, уже трижды нас приветивший-приютивший, я бы до сего дня не знала, сколько столиц было в империи. Оказывается, история всегда таит в себе сюрпризы, и с ней можно пропасть в любой момент и в любом месте. В Одессе мне открылась ну если не вся, то наистыднейшая половина моего невежества. Как же: понаписав документальной прозы и всю голову продумав о России, наконец узнать, что летала на одном крыле, – конфуз. Сейчас буду выбираться. Помогите и не смейтесь.

…Здесь танцуют как-то не по-французски, то бишь не на костях какой-нибудь монархии. Все танцуют среди противоестественной в жаркой степи красоты – что твой Петергоф, с организованной водой, брызжущей сквозь золото. Петербург – та же заполошная мыслеформа (а подать-ка нам сюда все лучшее), но на холодной болотистой почве. И мужчина-строитель, царь. В Одессе те же архитектурные финтифлюшки, та же степень невероятности, но на горячей, соленой, южной земле, а конструктор – женщина, царица.

Да и Москву, невесть кем и когда возведенную над подземным морем, видишь в иной геометрии, если свяжешь водным узлом три точки, три города. Пояснение для одесситов: на глубине восьмисот метров *под* городом Москва есть море. Диггеры спускались, нарисовали, у меня есть репортажная картинка. Из моря по трубе вверх бьет вода, самая чистая морская вода на свете, а на поверхности стоит бассейн и водолечебница. Давно стоит. Я сама с восторгом плавала в бассейне с морской водой в центре Москвы, плавала долго, долго и наконец задалась вопросом, откуда здесь всегда чистая, душистая, первозданная морская вода. Ответ нашла у специалистов: там море подземное. Но мне никто не верит. И ладно. Я бы тоже не поверила, что Одесса город, а не дворколодец, говорящий на языке плавильного котла наций, если б не танцы со старичком на Дерибасовской. Я первые дни провела в ступоре, будто застряв туристским лицом в овальным вырезе фанеры «Одесса». Лишь чрезвычайное изумление могло довести меня до такого интересного положения. Турист – в моем лексиконе – слово бранное. Продышалась, вынула лицо и тоже заплясала на бульваре, придурочно вертя головой и поводя плечами.

Ничего не понимая. Родиться в России, прожить в ней полвека – и без Одессы. Как могло?

Теперь смотрит прозаик Черникова на мир Божий через Одессу и видит вдруг, что мир другой, нежели через Москву. Через фанеру Парижа, даже Дублина, – мир на удивление тот же, а через Одессу не тот же.

Начала читать все подряд. Не Бабеля. Вижу: пробиться сквозь поток патоки трудно. Одессу заласкали словами так, что будь она действительно женщиной, ее психика давно утратила бы связь с действительностью. Похоже, только *город*, мужская сторона приморской Евы, держит ее, как Адам, в рамках рая и вкуса. Опереточная Одесса, как киносъемочная кукла в декорациях, весело скалится и машет юбками, а сакральная, имперская, глубинная, как сами катакомбы, о которых все знают, но никто не видел вполне, а если видел, то не всякий вернулся назад, – тайная Одесса охраняется мужским началом в себе самой, поскольку прежде всего она *город,* мужчина.

Город и *прозаик* – существительные мужского рода, нарицательные, а *Одесса* и *Елена* – женского и собственные. Противотоки слились, энергии замкнулись, пошли по кругу, и постепенно проступила припрятанная история, любовная заначка русскости на изрядном расстоянии от мест, где ее принято искать и даже находить. Разлив образов и водопад чувств – опять вода, вода, короче говоря, – окатили неофитку, сделав безотчетно банальной. Сырость моих восторгов можно попробовать передать музыкой, но не «С одесского кичмана», а громадной туго оркестрованной симфонией «Турангалила» Оливье Мессиана, француза, собиравшего птичьи голоса. Что «Мурка»! Мы видели вокальное трио в кокошниках, округло и высокопрофессионально катившее по Дерибасовской *хава-нагилу*, чуть не выбивая при том вполне центрально-черноземные дробушечки. Кино, кино, кино.

Понять душу города-колодца, из которого черпали все, я не дерзаю. Досада жжет, и возмущение волной: как могла я не знать, что настоящая Одесса не сборник блатных песен, а Южная Пальмира? Загадка. Если еще ляпну чушь – простите мне; неофиты все психованные и повторяются. Чтобы досыпать пепла на макушку,

воскликну: что же я за писатель такой русский, если, будто двоечник, прогуляла контрольную? Я ж отличница, медалистка…

И тут дружелюбный случай, помогая мне с экстернатом, подбросил ключи.

Первым информатором стал мужчина. Муж мой, Ефим Бершин, впервые прибыл в Одессу еще в 1954 году, а я впервые – в 2011. Потом в 2012, потом в 2013, и как зарядили мы вместе одессничать, так и не остановимся. Одесса наш перманентный медовый край. Подозреваю, что и Пушкин любвеобильный с тем же подъемом сил дышал одесским воздухом, в составе которого каждая вторая молекула – амброзия в газообразном состоянии. Не уверена, что любвеобильная Екатерина предполагала устроить этот город раем для поэтов и влюбленных, но ведь устроила, не промахнулась великая женщина.

Бершин, рожденный в Тирасполе, в 2005 году пропустил Одессу красной ниткой сквозь роман «Маски духа» (в первом кадре кони ржут на лестнице Оперы), а потом сообщил мне по секрету, что его родной дедушка по этой лестнице в гражданскую действительно скакал на коне вместе с Котовским. И мы пустились в абсолютно серьезные рассуждения о конях и оперных лестницах, ибо в городе моего рождения (Воронеж) тоже рассказывали о рывке легендарного Олеко Дундича верхом – по ступенькам. Дундич (по легенде, серб), чемпион австро-венгерской армии 1914 года среди унтер-офицеров по фехтованию, вступивший в Красную армию в 1917 году, – где в нее вступил? В Одессе. И помчался Дундич к славе – через Буденного и по Бабелю. Лестница чудит, всех ведет и всех поднимает. Тема лестницы в Одессе тоже перевертыш, поскольку Потемкинская – не *Потемкинская*, это кино, снова кино, где под декорацию спрятался дух, под город спрятался второй город из пустот, Одессу вынули из-под земли, вывернули, – Боже мой, так она, выходит, стоит вверх тормашками! Вот он, изначальный вывертыш, вот как истину-то припрятали, а на все прилавки вывалили сувениры. Москва тоже перевертыш, под нею не одно лишь море, а другой город, и ходить в него без поводырей тоже не следует.

Вторым информатором стала женщина, которую не увижу никогда, жаль, но говорить о ней буду где только смогу. Книга

Доротеи Атлас «Старая Одесса. Ее друзья и недруги» упала мне в руки сама. Я не искала ее, поскольку не могла вообразить. Оказалось: у зацелованной и длинноногой, героической и хулиганской, многоязыкой и абсолютно русской Одессы, воспетой и коленопреклоненно, и панибратски, – могли быть недруги (изящно). У нее, оказывается, сызмальства были *свои* враги, великосветские снобы от патриотизма. Лютые, принципиальные, элегантно уклонившиеся от научного оборота. Они фыркали свысока, будто не красавица она благородной и чистой породы, а смазливая выскочка, пролезшая к монарху в фаворитки.

Вообразить, что порожденную стратегическим гением Великой Екатерины блистательную красавицу ругали, хотели бросить, подозревали в корысти, тормозили финансирование, описывали в неприязненных по тону и сюжетам мемуарах, письмах и, считай, доносах, – я не могла бы, когда бы не Доротея Генриховна. Надо бы переиздать ее книгу 1911 года. Я читала переиздание 1992 года, но и оно библиографическая редкость. А книгу Атлас как атлас здешнего мира школьникам надо давать к первому сентября. Как радикальное лекарство от стереотипизации мышления, а также против *сувенир*изации прошлого.

Невместимая уму новость *о врагах* привела к размышлению о месте и роли *величия* как такового в русской истории. Раздумье привело к этому эссе. К чему приведет эссе, не знаю, оно же свободное, а запоздалые догадки о собственной родине порой опасны, как самодеятельный спуск в катакомбы. Мои догадки трудно изложить приличным штилем, покуда я в ярости.

Обычно я живу в социально-эмоциональном уединении, состоя в противоречии, даже противочувствии, с большинством современников-москвичей, особенно с интеллигенцией. Во-первых, мне хорошо. Я русская. Я испытываю этнический комфорт. Я выслушала всех, кто имел сообщить мне что-либо по национальной части. Это бессмысленная трата времени: отпугивать меня от русскости, в том числе от моей, – самоигральным фактом многокровья моего народа, кидаясь в меня засохлыми пирожками татарского нашествия или призывая попить из скандинавского копытца, чтобы Аленушка вместо братца Иванушки сама стала козленочком. Мы уже не в песочнице на прогулке с няней.

Одесса усиливает любовь до всеединства. Ты схвачен медом, ты в растворе, и прямо на Дерибасовской, где в первый же вечер тебе наяривают клезмерскую музыку, специфический продукт, ну ни капли русского, – ты слышишь музыку сфер. Оглушенный ударом космоса, не стесняясь очевидного перебора в эмоциях, раскачиваешься в такт, а вопрос жжет: почему, почему никто не говорит об Одессе правды? Почему в культуре зависла сувенирная лапша от концертной артели «Мурка, Япончик и партнеры»! Почему не пишут в красках, как хозяйственная немка, давшая империи город с аллюзивно-гомеровским именем, поставила его на карту, как на плиту, и сварила царский бульон в раскаленном котле, с приправами греческими, армянскими, еврейскими, молдавскими (вписать недостающее невозможно), поварятами взяла французов-итальянцев, – ну растипичнейший русский вышел город у матушки. Я не против. Только тут и понимаешь, какая чудо-губка прошлась по берегу и все впитала, особливо пыль чванливой гомогенности.

Панславянский хор неодобрительно загудел мне в оба уха, что город Одесса, южнокаменный цветок России, был обречен, и его выдрали, зачистили с карты. Но – это во-вторых, – чем громче вой хранительства, тем безучастнее мое сердце. И я не только право имею, но обязана живописать свои чувства, поскольку и над центром моей родины висит опасность *сувенир*изации, выхолащивания сути, глянцевания витрины. Всем самобытным анклавам довлеет угроза быть упакованными в коробочки на продажу в лавке для зевак. Матрешки на Красной площади, треухи на Арбате, свистульки лубочные – в специально отведенном месте я терплю как неизбежное зло экономики спроса и предложения. Но когда вся жизнь уходит в повсеместную ушанку или в тотальный блатняк – это форма зла, с которой надо сражаться.

Одесса, к счастью, держит свой калейдоскоп в своих руках, регулярно прикидываясь кадром из кино. В кошерном (еврейском) кафе на Нежинской девушка Маша (армянского происхождения), не подымая псевдоассирийских глаз, подает нам бразильский кофе и печалуется об украинском муже-моряке, ушедшем в дальнее плаванье на полгода, а поженились-то недавно. Простая-де уличная правда. Мы видели эту Машу. Она не матрешка в ушанке.

Кошерная армянка Маша – быль вроде словарика «с одесского на русский», превосходно отводящая глаза от главного. Чтоб не замацали.

Одесса неотвратима для русской культуры любого этноса, и все там были, от Пушкина до наших дней, со своим всем, что в душе и в теле, всем там что-то дается, сообщается, уведомляется, а загадка нарастает, сакрализуется. Одесса сейчас вдруг стала городом фестивалей заезжей культуры. Русской. Все поехали: театры, поэты, певцы, танцоры. Так и жду научно-практических симпозиумов по физике-химии среди русскодумающих ученых. Тепло, солнышко, волна, девушки – все оттягивает, как компресс, от больных дум об ушедшей в свою метаисторическую одиссею метрополии. Временный вынос центра на периферию зрения? Нигде не вынесешь Россию из России, я пробовала, а в Одессе Россия как в командировке. Внутри юридической России – барьер, ибо субъект рефлексии спаян с объектом, – куда там плыть! Только умом отплывешь. А вот Одессе как факультативному конференц-залу, в котором не нужны переводчики, отдать свои мысли на инвентаризацию – удобно, даже гигиенично. Тут отдохнуть от себя, не уходя из себя, – естественно.

Загадка Одессы прекрасна, как любовь, но временную, приблизительную разгадку я нашла в ненависти к ней малоизвестных деятелей, записки которых воспроизведены в книге Доротеи Атлас: то не там построили Одессу, то денег ей не давайте, то порто-франко запретите, то слишком европейский дух, то чересчур вавилонистый сброд, то начальники не те, – мозоль на сетчатке имперского глаза. Весь XIX век над Одессой висит туча. Пока Ланжерон мостит город брусчаткой, охранительные очи мостят Одессе незримый тракт в небытие. А потом выйдет какой-нибудь официальный патриот на покой и ну каяться, что погорячился. Кстати, я не знаю другой книги, аналогичной шедевру Доротеи Атлас, о каком-нибудь ином строящемся городе, имевшем такое же стратегическое назначение для России. Скажем, Новосибирск, – он тоже на воде, на Оби, тоже центр, акцент на укрепление империи, транспортный аспект, – был ли кто, противившийся замыслу царя, да так бодро, чтобы докладные да скрежет зубовный!

Кстати, Николай Гарин-Михайловский («Детство Темы» помните?), построивший в Ново-Николаевске (впоследствии Новосибирск) знаменитый мост через Обь, познакомился со своей будущей женой – где бы вы думали? – в Одессе. И куда ни кинь, за какую жизнь ни возьмись – из тех, кто строил и приращивал Россию, – непременно зацепишь хоть один одесский эпизод. Видимо, у самой большой на свете работы – я говорю о строительстве России – были системообразующие алгоритмы, невидимые, как ангелы, проекция которых по ходу реализации мегазамысла и обернулась фантастической географической картой, где текут книги, как реки, а имперская культурная модель, овеществленная в Одессе (все *языки* вместе – и каждый уникальная ценность), до сего дня таинственно посверкивает сквозь время. Материально утвержденная в архитектуре города и его квартальной структуре, мистически эта модель недостижимо парит в надмирном пространстве, куда не достать ни геополитическими, ни интерпретационными снарядами. Одесса как одиссея империи в сторону моря.

В сторону любви, громыхая пустотой, бредет прозаик Елена по Пушкинской, вся в неловких озарениях типа «А ведь *до*культурные, *до*моральные отношения между людьми – не описаны!». Без ощутимого перехода вспоминает белокурую бабенку в самолете на Одессу: «Ты чё! Не знаешь *комильфо*? Это когда не в тренде!». Подходит утомленный бегом и прыгом дум своих прозаик к винному магазину, а на стеклянной двери громадными буквами «Прохода к морю нет». И все кругом хохочет солнечно и посвистывает, как *свистящая согласная* Набокова, определяющая разницу между комической стороной вещей и их космической стороной.

Идет русский прозаик Елена домой, целует в благодарность за город Одесса еврейского мужа своего, а потом пишет неловкий тройной портрет, и прекрасно понимает, что не сказала одесситам, послушникам четвертого измерения, ничего нового. Разве что еще раз про любовь, которая способна все соединить и примирить, как Одесса.

Москва

Игорь Потоцкий

Как огромен этот мир

Время боли

В Париже я познакомился с Петром Алексеевичем Громовым. Его жена Клара Павловна была из рода князей Голицыных, она смотрела испуганными глазами на волны Сены, будто вспоминала судьбу поэта Пауля Целана. Она была стара и красива. Петр Алексеевич был младше жены на два года.

– Вот жизнь и прошла, – пожаловался Петр Алексеевич, улыбка слегка потревожила его тонкие губы. – Быстро и незаметно.

Клара Павловна ничего не сказала, только вздохнула. И в глазах ее промелькнула молния, а лицо на мгновение помолодело.

– Все в жизни относительно, – сказал Петр Алексеевич. – Я помню довоенный Париж, веселый и шумный. Я терялся в нем, ведь раньше жил в Праге, а этот город был более спокойным. Пражане обычно погружены в себя, а довоенные парижане казались мне слишком шумными. Женщины были не так красивы, как я их себе представлял, так что моя Клара выделялась среди них. Своими огромными глазами и классическими чертами лица. Тогда Клара была похожа на молодую патрицианку, описанную Овидием, только коварства в ней не было – одна нежность. А еще она мне казалась печальной и хрупкой, так что я все время боялся за нее, никуда не отпускал ее одну. Только однажды я согласился на ее свидание с Буниным.

– Я смутно помню само свидание, – призналась Клара Павловна. – Тогда я писала рассказы, но никому не давала их читать, но Петр Алексеевич, знавший писателя, настоял, чтобы я с ним встретилась. Я заново перепечатала машинке два рассказа и пошла.

Мне не хотелось встречаться с Буниным, но разве я могла отказать мужу? Мы встретились в кафе «Флора», на писателя я старалась не смотреть, а он делал вид, что не замечает моей растерянности. Я любила его рассказы, особенно ранние, где Русь просвечивалась, как крылья стрекоз. И все было в этом тревожном отсвете, такой я и представляла эту страну, где рождались и умирали мои предки, а я родилась в Праге, к большому моему сожалению.

– Что было дальше? – нетерпеливо поинтересовался я. Во мне проснулось любопытство, сдержать его было невозможно. Наверное, этот вопрос задавать не следовало.

– Потом Бунин, – тихо сказала Клара Павловна, – прислал мне открытку с хвалебными словами в мой адрес. Он меня ободрял, а мне тогда писалось с трудом, потому что мы с Петром Алексеевичем бедствовали; он никак не мог устроиться на работу, да и случайных приработков у нас было мало. У нас началось Время Боли, когда одна неудача следует за другой, но я сразу поняла, что и у писателя Бунина была боль, она читалась в его глазах, которые он прятал от собеседника. И я научилась у него прятать глаза. Больше я ничему у Бунина не научилась. Меня его строчки, обращенные ко мне, грели, я часто их перечитывала, а Париж стал тихим, нестерпимо тихим, но мы из него никуда с Петром Алексеевичем не уехали, ведь он всегда любил Париж, и покинуть этот город для него было бы самым страшным наказанием. Вот мы тихо и пережидали Время Боли. И Время Боли ушло, как только мужа взяли на работу в одну из лабораторий больницы. А потом и меня завалили переводами. Я тогда хотела позвонить Бунину и сказать, что Время Боли исчезло, но долго не решалась попросить телефонистку соединить меня с ним. А потом я прочла в «Русской мысли», что писатель покинул нас.

– Все мы покидаем эту землю, – прошептал Петр Алексеевич и печально улыбнулся мне.

Слова

Меня окружали самые разные слова: длинные, короткие, тихие, громкие, капризные, вздорные, размеренные, уверенные, плаксивые, нежные, страстные…

Вся моя жизнь всегда была построена на словах: я их произносил или слушал чужие. Слово за словом. И часто искал смысл, что был за словами.

И ко мне приходила Она. Маленькая девочка выросла в Прекрасную даму. Лепет сменился цитатами из Канта и Спинозы. И моя жизнь почти сразу же приклеилась к ее жизни, как почтовая марка.

– Ах! – говорила *она-ты*, – все здорово в этом мире.

И ее глаза сверкали, словно солнечные лучи. Сверкали и сверкали. А в словах блеска не было, и тогда я спросил:

– Хочешь, я научу тебя блестящим словам?

Она-ты ничего не сказала, упорхнув мотыльком.

А я прокричал самое звонкое слово.

Самое-самое-самое звонко-струящееся сло-сло-слово.

Без него моя жизнь ничего не значит.

О Лорке

В 15 лет я впервые сбежал из маленького таежного городка Бикина на несколько дней в Хабаровск. Мне просто захотелось побывать в большом и шумном городе. Я оставил родителям записку: «*Дорогие! Не волнуйтесь. Я уезжаю в Хабаровск, вернусь через несколько дней*».

Наверное, мама с отцом сильно волновались.

В Хабаровске я просто ходил по улицам. По Серышева, Истомина и другим. Денег у меня было мало, так что я питался исключительно пирожками с капустой и картофелем. Пирожки были горячими и вкусными. Меня поражало количество больших домов, а еще я боялся заблудиться и поэтому кружил по одним и тем же улицам, не отдаляясь от центра.

Потом я зашел в книжный магазин. И купил книжечку стихов Гарсиа Лорки. Маленькую, в суперобложке. Меня сразу же поразила ритмика его стихов. К тому же, как и в одном из его цыганских романсов, скоро сгустился вечер, и вспыхнули фонари, а окна в домах гасли постепенно: муравейник большого города погружался в сон. Мне негде было остановиться – знакомых

в Хабаровске у меня тогда не было. Я сел на скамейку (под фонарем) в каком маленьком скверике и принялся читать Гарсиа Лорку, а прямо надо мной висела луна, словно выпрыгнувшая из лоркинского стихотворения. Мимо меня прошла женщина в роскошной цыганской шали, на ее запястьях звенели серебряные браслеты. Но, вполне возможно, что это мне только показалось.

Женщины и совсем молоденькие девушки – испанки, каталонки и цыганки – возникали из стихов Лорки, но быстро пропадали, как видения, с которыми невозможно поговорить. И я внезапно вспомнил рассказ моей бабушки Цили о том, что мой дедушка Борис привел к нам домой (это было в Одессе в 1936 году) маленькую испанскую девочку, но бабушка подняла крик, потому что семья жила трудно, что он должен уйти вместе с ней. И дедушка увел ее в ночь, а вернулся домой под утро один и целый месяц не разговаривал с бабушкой.

– Какая она была? – спросил я у мамы.

– Маленькая и печальная, – ответила мама. – Твоя бабушка потом плакала, что она не смогла оставить ее у нас, но дедушка об этом никогда не узнал.

Это была печальная история. Девочка спасалась в Одессе от франкистов, расстрелявших поэта Гарсиа Лорку. Потом я прочитал в воспоминаниях брата Лорки, что поэт перед расстрелом плакал, но не пытался уговорить своих палачей не убивать его. Эти слезы могли стать прекрасными стихами, но не стали.

Стихи о Гарсиа Лорке написали Пабло Неруда, Николай Асеев, Евгений Евтушенко. «Когда убили Лорку, а ведь его убили, жандарм дразнил молодку, красуясь на кобыле…»

Впервые мне стихотворения Гарсиа Лорки на испанском языке прочитал кубинец Хорхе Мартинес. Он учился в Одессе и весь был переполнен стихами Лорки, Мачадо, Хименеса. А я ему рассказал о Хабаровске и Лорке. Он удивился:

– Вот куда занесло поэта!

Говорил он не обо мне, а о Лорке.

А тогда я вернулся в свой городок Бикин к родителям. И отдал книжечку Лорки отцу, а он ее потом читал половину ночи. И тяжело вздыхал. Он воевал, мой отец. Дошел до Берлина. И, наверное, хотел воевать в Испании, но тогда он был слишком молод.

А потом, спустя полгода, ко мне пришла девушка, и юбка ее шуршала крахмалом. Как у Гарсиа Лорки.

Из памяти

Она мне кричала, но я не остановился, потому что я был тогда молод – чуть больше двадцати, а ей было за тридцать. Одним словом, старуха. И почему это все мои знакомые считают ее мудрой? Непонятно. Да и не красива она, а привлекательна. Таких в Одессе много, а в Москве и Питере мало.

Я жил в Одессе и мимолетно с ней встречался. Наверное, я ей нравился, но она оставляла меня равнодушным. Такие женщины нравились Бальзаку. У него, скорее всего, был испорченный вкус. Но, вполне возможно, мой вкус страдает. Все-таки она была прелестной. И я должен был ее заметить. И покорить. Она хотела быть покоренной.

А потом я в нее влюбился, но было поздно: она потеряла ко мне интерес и сказала своей подруге Ж., что она меня видеть не может. Подруга Ж. пересказала ее слова мне и еще кое-кому из наших общих знакомых. Одному я набил морду, второй набил морду мне, а третьего…

Ладно, потом она снова влюбилась в меня.

Не верите? Спросите у нее. Только я ее телефон забыл.

Это было, было!

Первый раз по Ленинграду меня водили Женя Ганелин и Алексей Егоров.

Они тогда были молоды, настырны и полны жизни. Трагедии их в то время обходили стороной.

Помнится, за водкой была огромная очередь. Женя Ганелин легко прорвался в самое начало.

– Понимаете, – говорил он своим актерским басом, – ко мне приехал друг из Одессы. И нам надо выпить за встречу и за Одессу. Как можно скорее.

Очередь расступилась и пропустила Женю к прилавку. Наверное, тогда все в Питере любили Одессу.

Сейчас Евгений Ганелин заслуженный артист РФ, преподает в ЛГИТМиКе, играет одну роль в театре имени Комиссаржевской. Том самом театре, где когда-то работала тетя Иосифа Бродского. Женька мне рассказывал: «Она стояла у расписания репетиций и спектаклей и бесподобно выговаривала матерные слова. В этом деле она была докой. Номером первым».

Женя снимался в разных фильмах, но больше про доблестных милиционеров. Неужели и вправду есть такие интеллигентные милиционеры?

Несколько лет назад я был приглашен в Питер на музыкально-поэтический фестиваль Сергея Осколкова и выступал в зале Союза композиторов. На следующий день я шлялся по Питеру. Случайно оказался возле театра имени Комиссаржевской, зашел, спросил Ганелина. Удивился, когда вахтерша неожиданно очень вежливо сказала: «Ганелин вас просил подняться в фойе второго этажа». «Как он мог догадаться, – пронеслась в моей голове мысль, – что я сегодня зайду в театр?»

Я поднялся по лестнице и увидел накрытые столы, много людей и Женю Ганелина.

– Привет, Гоша! – сказал он мне, улыбнувшись. – Ты не опоздал. Одесская интуиция тебя не подвела. Мне присвоили звание заслуженного артиста РФ, а сейчас мы будем это самое звание обмывать.

Алексей Егоров стал доктором психологии. Со всеми вытекающими последствиями. Но сначала он женился и остепенился.

Алексей показывал мне Петербург Федора Достоевского: «Вот эта улица, вот этот дом…». Эта была довольно безрадостная экскурсия. Алексей рассказывал мне о сумасшедших. Хорошо еще, что в подъезде, где Раскольников убил старуху, мне не стало плохо.

А потом я показывал Ганелину и Егорову *мою* Одессу с артистами, поэтами, писателями, музыкантами, художниками. Мы, помнится, зашли в мастерскую Иосифа Островского, друга Михаила Козакова. Он показывал свои светящиеся полотна с еврейскими старичками и сам светился, как они, на полотнах. Он умел отодвигать время, а Женя тогда испол-

нил одну из миниатюр Жванецкого. Замечательно. На ура! И мы выпили за Одессу и Питер, а потом за Питер и Одессу. Одну бутылку вина на четверых.

Несколько кадров из памяти. И только.

Облако

Ты на нем сидела. Разумеется, на троне. Но трон был из какого-то очень легкого материала. Такого легкого, что облако спокойно его выдерживало вместе с тобой.

Потом я нарисовал тебя, держащую облако в своих раскрытых ладонях. Как у Шагала, хоть у него такого рисунка и нет… Поверь, я рисовал тебя с закрытыми глазами, потому что лишь закрыв глаза, я вижу тебя *всю*, а когда я их открываю, то часть тебя пропадает. Испаряется. Наверное, так происходит только со мной, но я ведь не профессиональный художник. Самоучка. И рисую только тебя и разные облака.

Здесь, на Земле, тебе со мной встречаться некогда. Ты изобретаешь сотни причин, чтобы отодвинуть наши встречи в сторону неопределенного будущего. И я всегда кричу тебе вдогонку, чтобы ты вернулась, но ты бежишь все дальше и дальше. Вернее, летишь облаком, не замечая меня. Куда-то за горизонт. Но потом ты мне звонишь, молчишь в телефонную трубку, но я слышу твое дыхание. А потом ты еле слышно говоришь:

– Гошка, я вернулась.

Ты от меня улетала двести лет назад и сто, и вчера. В своих маленьких босоножках, потому что они у тебя и вправду маленькие – из детства. И в своих очках, больших, даже огромных, скрывающих твои светло-лукавые глаза. При отлете ты мне ничего не сказала. Просто помахала рукой. А я боялся, что твои очки упадут и разобьются. Или ты их не найдешь в густой траве. Но я тебе ничего такого не сказал. Может, не успел?

Друг Сократ говорит, что у меня опять разыгралась творческая фантазия. Сократа на самом деле зовут Сашкой. Он доктор химических наук, самый молодой в университете – ему недавно

исполнилось 29 лет. Он никак не может сложить тебя и облако. А я могу, потому что я не доктор химических наук.

Сократ подтрунивает надо мной. Он женат и у него двое детей, и 20 проблем. Восемнадцать научных и две житейские. Он любит свою жену Клавку и боится, что она улетит на облаке, потому что может от тебя заразиться опасным вирусом. Оставит Сократа и двоих детей. И тогда Сократ не станет академиком. Но это уже вторая проблема. И поэтому он говорит мне:

– Сократи свою фантазию.

Я ничего не фантазирую.

Просто рисую и жду, когда ты мне снова скажешь:

– Гошка, я вернулась!



Елена Касьян

«А каждый звук – псалом и заклинанье...»

* * *

Увези меня, моя радость, к большой воде,
где сидеть у кромки, почти становясь водой.
где ни прошлых бед, ни обид горючих, ни глупых дел,
где с тобой и только,
с тобой и только,
с тобой…
Где и память канет, и время медлит, и тает боль,
где любовь везде.

Забери меня, моя радость, из этих мест,
тут такая осень, что стынет зрачок в глазу,
все дожди стекают на этот город с холста небес,
и сентябрь рисуют,
закат рисуют,
грозу…
И в изломах линий уже ни солнца вверху-внизу,
и печаль окрест.

Увези меня, моя радость, к большой волне,
где тугие чайки над белой пеной висят.
где качает время мои тревоги на самом дне,
где я буду вся тебе,
буду вся тебе,
буду вся…
Где на самом дне жемчуга ловить никому нельзя.
Только мне.

* * *

Какие штормы застят белый свет,
какие смерчи свищут во вселенной,
душа моя, неважно, сколько лет
нам плыть и плыть по этой глади пенной,
стоять на вырост, вглядываясь вдаль,
среди теней угадывая кровных,
понять, что в целом ничего не жаль,
поскольку даже сам себе не ровня.
Поскольку здесь на царство не взойти,
не обойти знаменья и предтечи,
но, Боже правый, посреди пути
вдруг различить родное, человечье,
тебе навстречу полное любви,
что только чудом и сумело сбыться.
И вот, покуда светится, живи,
покуда длится…

* * *

И вот уже
захвачены врасплох,
и нас внезапно покидает время,
где мы опять становимся не теми,
кем кажемся себе,
но, видит Бог,
в попытке вычесть знаки препинанья,
мы сочиним
такой молитвослов,
в котором всё – равняется любовь,
а каждый звук – псалом и заклинанье.
И в нашем небе
повисает птица,
где время нас покинуло опять,
и мы молчим,
не зная, как начать.
И только птица в небе длится, длится…

* * *

Город метнется навстречу тебе вдоль дождя –
запахом мокрой коры, штукатурки, озона…
Собственно говоря, никакого резона
все это помнить и прятать в карман, уходя.

Время легко избавляет от всех полумер.
Если на самом-то деле ничем не владеешь,
глупо присваивать, что и помыслить не смеешь.
Так говорят о последней любви, например.

Что же касается памяти… видимо, не
в ней уже дело, поскольку и даты исчезли.
Значит, действительно что-то меняется, если
внутренний голос становится слышен вовне.

Там, где уже бесполезно склонять падежи,
столько изнанки у слов, что немеешь невольно.
Осень осалит неслышно, обнимет не больно.
Господи, что с этой нежностью делать, скажи?

Город глядится в окно. Изнутри на него
смотрят стенные часы с молчаливым укором,
словно пытаясь отсчитывать время, в котором,
кроме бессмертия, нет ничего, ничего…

* * *

Оттого ли двигаться по краю,
Что других ориентиров нет?
Я сама пока не понимаю,
Как мы помещаемся во мне.

Отчеркнуть касания и жесты,
Упразднить объятья, и тогда –
Что такого ты увидишь вместо
Этой дани разным городам?

Нам ли, дерзким, до сих пор горящим,
Откровенья считывать с листа,
Чтобы этот звук животворящий
Отворил упрямые уста?

В ожидании вселенской стужи,
Как на этот атлас ни смотри,
Даже если выбраться наружу,
Все равно останешься внутри.

Где дороги неисповедимы,
Не солги, не выдай, не убей.
Что ты знаешь обо мне, помимо
Неизбывной нежности к тебе?..

Так и жить – угадывать заранее,
Изменяя линии руки,
Узнавая даже очертания,
Совпадая даже вопреки…

* * *

Время месит белый свет в аккуратные просфоры,
В белых капсулах квартир спит людское вещество,
Осень смотрит на меня, не готова к разговору,
И хотела бы сказать, да не скажет ничего.

Бесполезно выбирать, если сам себе свидетель,
У молчания в долгу оставаться если бы…
Среди всех возможных форм пребывания на свете
Остается только быть, остается только быть.

Оставляя между строк карандашные пометки,
В монохромный этот мир глупым цветом прорастать
И качаться, словно лист на запястье голой ветки,
И о будущей зиме ничего еще не знать.

Львов

Александр Хинт

Несухой остаток зимы

*

случайный взгляд оседает, ретушь такого-то дня
взятого целиком из головы объектива
из заброшенной сумки
из забывших меня
можно составить поселок городского типа
где отключили свет, составить ясное представление
о соотношении улицы, фонаря и ограды
о балансе белого и руки
мешают тени
«подойди поближе», им уже и не надо
уже засвечена резкость, максимум – да или нет
был или не был сугроб? что там на варежках, иней
вспышка
и соляные столбы падают в свет
как ресница во сне
запоминая себя молодыми

большая морская, 49

Свинцовый рубин остывал в февральской Неве,
боги реки под мостами сплавляли окурки.
Что в несухом остатке зимы? Неделимость на две,
бежевый уголь любви, обрастающий коркой
ветра – в парадное, мерзлое тело валторн
за эндорфином надежды врывается ночь.

Вдох каменел, каждый шаг ощупывал дно,
двери качались, гремя якорями цепочек.

Позже она говорит: «Ты устал и продрог,
ужин придется согреть, я ждала тебя к ужину»,
думает: «любишь меня, примерно как свой сюртук,
если Владимир еще позвонит, я не буду раздумывать».

Вынырнув наискосок из бездны окна,
луна у портьеры первобытно бессмертна.
Он говорит: «Сегодня ты снова бледна.
Господи, кто шлифовал восьмигранное зеркало,
там, на изгибе Морской, ненасытна такая звезда,
впору родиться вновь»,
а думает: «пуля быстрей почтальона
и лаконичней», думает: «в таборе улицы, да,
да, конечно... по табору улицы темной»

на доброту ночи

двадцать лет, как обвязанный именем легион
из египетской тьмы-тараканы в обетованное ложе
все идет; вожака или не было здесь никогда, или он
перешел в беспредельную веру – что, в общем, одно и то же

и еще двадцать лет, не меньше, вперед, назад, добела
раскалять пустыню глухим язычеством, офисным чаем
заливать очертания медленных клавиш добра и зла
где скрижали истерты и замысел неразличаем

Евленья Виноградова

«Ее общение с собою напоминает шорох рощи...»

* * *

Место выбрали там, где на донник пахучий,
на репейник и дерн лист слетает крапчáтый,
посидеть, полежать средь неясных созвучий
на земле, словно жизнь – только край непочатый.
Словно только вздохнул этот воздух тягучий
возле теплой стерни после ржи невысокой,
чтоб из сердца, щемящего радостью жгучей,
снова чувства большим восходили потоком.

Скосят клевер-траву – вместо скошенной тут же
отрастает нежнейшего цвета отава.
Луг в исподнем душист, словно плат, отутюжен,
и мы рады ступить на его переправу.

* * *

сама с собою неустанно
она болтает днем и ночью
то просит *там* за маму Анну
то над собакою бормочет
то ей приспичит заругаться
на грязный двор и бездорожье
на то что милых восемнадцать
ей возвернуть никто не сможет
на то что огород вреднючий
который год не плодоносит

на то что внук урок не учит
а просит жвачку и лосося

ей гадских денег не хватает
(смешно) на склянку марганцовки
зато дорвался до италий
зряшной сосед поганец Вовка
ей для поливочного дела
ту марганцовку эх как надо
на подоконниках – глядела –
у всех давно цветет рассада

ее общение с собою
напоминает шорох рощи
там ветви рвутся в голубое
но не взлетая ропщут ропщут

* * *

Пора сорвать тоски репей – лесок утюжить лыжами,
оторопев во сто тетерь, сомлеть у елей с фижмами!
Пора конькам на лед теперь… Осечка! – тема русская –
вороньей стаей оттепель, как семечками, лузгает.
Но голенастой быть уже: снега грядут под нордами –
Короста наста, выдюжи зимы походку твердую!
В погоне бурной улица: бегут заботы жаркие –
Пургой не в пору ль пудриться? Зовут наряды маркие!
Тропарь с пристрастьем выучен, казна деньками щелкает –
словарь истратим рыночный: За елками! За елками!

Сродни веселым дележам покупки елей бойкие!
Огни, в тесемках дилижанс, хлопушки, хмель и ойканье!
Ошкурен сочный мандарин на снега свежем кружеве.
До дури алчный взгляд витрин – им все б зевак выуживать!
– Пожива нынче недурна! – ворона ближним каркает.
Зенит зимы. Звенит струна страстями жизни жаркими!

* * *

«От смерти нет в саду заветных трав».
Аптекарь В. Орлов

Отведи меня, улица, на заглохший пустырь.
Там на травы невхожие, как стена в монастырь, –
желто-жухлые, вялые, под снега обреченные, –
упаду я усталая, октябрем удрученная.
Волновалась вопросами под цветущими вишнями: прихожанка?
послушница? непутевая? лишняя?
А назад-то как хочется! Да, боюсь, не назад.
И во снах все бормочется про невиданный сад.
Льют там травы нетленные ту же самую песнь?
Мой пустырь, друг смиренный мой,
может, сад этот есть?

* * *

куда ни ткнусь ни лодки ни весла
одно крыло от велика «Десна»
да дом забитый с мертвым коромыслом
колодец с колесом… Сансары? нет… не зна…
и нету смысла
взгляд отводить с обугленной стены
на пыльный самовар без крана но с трубою
когда и кем из-за какой вины…
и было ли
с тобою?

две мухи звонко просятся на свет
в слепом оконце завиток от хмеля
разрухи сон… на печке ты Емеля
но щуки под рукой в помине нет
и ты шагаешь по хребту забора
поваленного ветром и дождем
сквозь зверобой аж до грибного дора

тут скот пасли осинник увлажнен
отсюда прелый дух и тропка в гору
скорбя ведут на пятницкий погост
где ель застыла вместо колокольни
где от могил заметны только колья
да в человечий окаянный рост
трава такая что в своих объятьях
готова удержать и уронить
но нить от солнца золотая нить
на чистом платье

* * *

Продам родительский очаг,
нехитрый скарб раздам по вещи.
Лекарство выпив натощак,
сорвусь туда, где море плещет.

Там в ноябре под двадцать пять,
там люди в ярком кормят чаек.
Там страсть не держат на цепях
и виноградным привечают.

А здесь печурка внедогляд,
роняя головню на щепки,
нет-нет да треснет, коль палят
одну березу в холод крепкий.
И ты сидишь себе, следишь, –
сомлев лицом, – за огоньками,
колени обхватив руками…
…И никуда не убежишь –
не пустит под порогом камень.
Его мой дед еще, кажись…

…Какая ни на есть, а жизнь –
…дарованная стариками…

* * *

Белесый свет на дюнах от луны.
Два светлячка – сиянье ярче шелка –
как водится в июне, – влюблены.
И тщится шепелявая иголка
к прибою приторочить галуны.
Прилипли к телу джинсы и футболка,
планктон не в силах бездну превозмочь.
С ним чудится – морская кофемолка
и нас с тобой перемолоть не прочь!

И снова слева солнца тихий блеск.
Разбросаны прозрачные медузы.
День. Новый день из черноты воскрес,
тем укрепил наличие союза.
Подобно тени, долог интерес –
подробно изучать следы от шторма.
И каждый новый безмятежный всплеск
соединяет содержанье с формой.

В сплошном смешенье моря и песка
с вкрапленьем солнца в каждой из песчинок
смешно лишенье, призрачна тоска.
Волна к волне, – их жажда беспричинна.
Завидна даже участь пятака –
для глаз твоих – в карманах щедрой смерти.
Да это все потом!.. Ну, а пока
ни сил ошибки править, ни усердья.

* * *

О чем ты думаешь с утра,
готовый к осени кромешной?
О том ли, как декабрь промешкал
с зимой, что нынче не шустра?
Земная, тоже не безгрешна
и тоже хнычет от утрат…

А помнишь, первый снег слетел,
как сала шмат на сковородку?!
Да, мало… и, скорей, на откуп,
чем в завершенье бренных дел.
И было влажно подбородку,
и было все как ты хотел…

Нашлась газета под селедку,
тост величавый, словно снег.
Дышалось спиртом – пили водку
до дна, и чтобы без помех
успех явился к нам простецкий
с деньгами и с грядущим днем.
Смеялся в телике Жванецкий.
Мы хлопотали над огнем.
Печь с дымом долго разгоралась
(примета верная – к гостям),
я неумело матюгалась.
Дрова (судили по гвоздям)
от сруба старого не грели –
зато горели так горели!
Ладонь болела от ножа.
Щепать лучину не спеша,
меня учила в детстве мама.
Тогда – наивна и упряма,
теперь – прилежна и мудра, –
я все же отворила раму,
и снег к нам падал до утра…

* * *

их не хотят топить ох не хотят
теперь они глядят на мир красиво
еще не понимают что глядят
а ты не понимаешь как случилась
вот эта неоправданная милость
и гладишь гладишь пальчиком котят

* * *

«Снег идет, снег идет»
Б. Пастернак

Снег идет, снег идет…
и теряешься в догадках:
след, под следом гололед –
неожиданный и каткий –
он спешит припорошить
ошалелым кокаином
не с того ль, что рад смешить,
не жалея ног и спины?!

Загурманил свежий снег –
прочь попутный запах гнили!
Задурманил пеших… – всех,
будто булочник ванилью, –
ароматом из щелей,
благовоньем от колдобин.
Озадачил кобелей –
метьте мир, он старомоден!

Смех и грех! – Опять за власть
страстно борешься, бездомный?
Озорник! Ну, тешься всласть, –
радость от тебя бездонна!

Великий Устюг

Олекса Резніков

Прокидається душа

* * *

Люблю зародження вірша:
якесь слівце в сильце трапляє,
чи думка думку упіймає,
чи настрій слід лункий лиша.

Це, ніби подих вітру в гаї,
душевний спокій поруша,
і прокидається душа,
і сили всі свої збирає,

як ніби хоче відкоша
чужинцю дати. Так, буває,
перлину скойка виверша
з піщини, що у ню трапляє.

Люблю дивитись, як зростає
перлинка нового вірша.

* * *

Варити борщ – це теж творити.
Для цього треба мати хист,
щоби їстивним вийшов зміст,
у відповідну форму влитий.

Капустка, сіль, лавровий лист,
м'ясце, буряк. І – закислити.
Як треба вміти замінити
отим борщем любовний лист!

Хоч дехто схильний говорити,
що коли любить – все поїсть,
та більшість хоче догодити,

бо твердо знає, що у піст
так легко може завалитись
до серця чоловіка міст.

Зомбі

Я – зомбі, я – робот,
Що вкажуть, те робить
За пайку, за плату,
За жінку, за хату,
За місце під сонцем,
За те, що віконце
Без грат!

Мій пульт керування
Такий бездоганний,
Що рівного в світі
Іще не відкрито:
Це культ існування,
Це культ виживання,
Це культ споживання –
Мій пульт!
Я дався на пробу
До смерти, до гробу,
За булку, за робу,
Іду твердолобо,
Я, робот.

Я, зомбі,
Мій розум на пломбі:
Нічого нового,
Нічого чужого
Не сприйме повік.
Я – зомбі,
Я – робот.
І я – чоловік.

Гаснущий голос

Кричу в пустыне…
Ни души, ни трав, ни зверя.
Кричу в пустыне…
Ни ветерка, ни шороха песка.
Кричу в пустыне…
Если голос свой слышу лишь сам,
то, может быть, я молчу?!
Кричу в пустыне…
И голосу не за что зацепиться,
только бы переждать,
пока кто-нибудь подойдет…
Кричу в пустыне…

Играющий на струнах дождя

Он умел играть на дождевых струнах.
Когда начинался дождь
и протягивал с небес до земли
свои мерцающие серебром струны,
музыкант выходил на улицу
и начинал примериваться.
Руки его стремительно
перебирали дождинки,

озвучивали несколько аккордов,
пробегали гамму.

Чистые высокие звуки
наполняли воздух.
Останавливались прохожие,
удивленно глядели на его движения,
а он,
не обращая на них внимания,
начинал играть
старинный восьмиголосый напев
Григория Сковороды
«Иже херувимы».

Это была чудесная, неземная музыка!
Это был потрясающий спектакль!

Ему приходилось много бегать,
все десять пальцев работали.
глаза уставали
от поисков нужных струн дождя.
Но зато
это была дивная,
чарующая,
упоительная музыка,
которую, к сожалению,
могли слышать лишь избранные.
Хотя
никто
их не избрал.
И музыкант
вдохновенно играл
для самого себя.

Украинской республике,
чьим именем меня судили

Как гром среди ясного неба
звучит приговор судебный:
«Ты любишь меня не в меру.
Не сын потому ты –
дервиш!
Ты любишь меня не в меру –
готов на руках лелеять,
я ж к этому не привыкла:
должны ли так дети делать?
Ты любишь меня не в меру –
нельзя так любить помпезно!»

О чем говоришь ты, мама?!
Глаголить так неуместно!
Подумай, за что ты судишь!
Побойся Бога! Опомнись!
СУДИТЬ ЗА ЛЮБОВЬ СЫНОВЬЮ?!
Печальнее есть ли повесть?!
Соседи тебя осудят,
Покроют позором люди!
И стыдно мне перед ними
до самой кончины будет!
Моя ты Республика, мама!..
Средь ханжеских декораций
зачем свое имя ты даришь
на службу злых провокаций?

Перевод Анатолия Яни

Маргарита Геворкян

«Златорунная тонкая нить...»

Наш гость – «Литературная Армения»

В 2013 году по инициативе Всемирного клуба одесситов большая делегация из нашего города побывала в Ереване. Устанавливались экономические, туристические, культурные связи.

Одним из результатов поездки стало общение членов редколлегии нашего альманаха с членами редколлегии журнала, которому уже 55 лет, – «Литературная Армения».

Мы договорились поддерживать литературные связи. Уже сейчас у молодых одесских поэтов есть подстрочники стихов их коллег из Еревана, и мы надеемся, что как только они превратят их в русские стихи, мы познакомим с ними читателей.

А сегодня мы представляем подборку стихов куратора журнала Маргариты Геворкян, пишущей на русском языке. И поздравляем ее с выходом в Ереване первой книги стихов!

Абрикосовый иней

Что могу я тебе подарить?
Когда все отдала, что имела.
Мимо прошлого тянется нить
В позапрошлое. Я тогда пела...

Что могу я тебе подарить?
Море умерло в глади озёрной.

И дрожит, и колеблется нить:
Был ли жемчуг? – Песок мелкозёрный.

Что могу я тебе подарить?
Трудный путь от конца до начала?
Обещанье, которое нить,
Что стреножит мечты у причала?

Что могу я тебе подарить?
Среди вязкого хаоса линий
Златорунную тонкую нить –
На ветвях абрикосовый иней.

Касыда о черной ночи

В ту ночь мы ступили двое.
И не было неба краше.
Погасли сумерки в хвое.
Лик озера чуден и страшен.
Я знала: из этой ночи
домой вернется один.
Ни звука. Едва качнулась
Дикая ветвь кизила:
Словно спала и очнулась,
Беззлобно плечо пронзила.
Я знала: из этой ночи
домой вернется один.
То будто плач мандолины:
Ты пел (струны били чаще)
Мотив Араратской долины –
И не было песни слаще.
Я знала: из этой ночи
домой вернется один.
Я слышала, как по жилам
Крадется чад мандрагоры…

…Когда эту ночь прожѝла,
Душа улетает в горы.
Я знала: из этой ночи
домой вернется один.
И путались пальцы с словами,
В жаркой ночи блуждая.
А утро махнет жерновами –
Буду тебе чужда я.
Я знала: из этой ночи
домой вернется один.
Кто я – твой Свет или Темень?
Нет нам начала и края.
Кто ты – мой Дух или Демон?
Нет нам ни ада, ни рая.
Я знаю: из этой ночи
домой вернулся один.

* * *

И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю.
Быт. гл. 9:1

…И вот – одна. Друзья далёко:
Там, где гранатовый восход,
Где величаво и широко
Разлил Севан потоки вод;
Там, где чинара молодая
Ласкает вешнюю лазурь,
И горной цепью, не страдая,
Навеки скован Зангезур.
Там Просветителя Лампада
(Мираж в отечестве ином).
Там я пьяна от винограда,
Еще не ставшего вином.
Там нет приятней аромата,
Чем очага родного дым.

Там, у подножья Арарата,
Мой брат остался молодым…
Камней бесчисленные раны
Там точит скорбь, а не волна:
Как кровью жертвенной в Коране,
Земля скитальцами полна…
…И вот – одна. Душа далёко –
Там воздух горьковато-прян;
Там одному не одиноко,
Там дух свободен и упрям!
Там сила праведного бденья
Сойдет с Вершины Бытия –
Домой дорогой возрожденья
Вернет меня из забытья!

Колыбельная

Майская ночь,
нежная ночь,
баюшки-бай,
крошечка дочь.
Вместо подушки
облачный пух,
шепчет на ушко
сны Сонный Дух.
Майская ночь,
южная ночь,
баюшки-бай,
млечная дочь.
Белым окрашен
путь в небесах,
лунный барашек
спит в волосах.
Майская ночь,
царская ночь,

баюшки-бай,
папина дочь.
Будет приданое:
волк да павлин,
бабочка странная,
сеть да кувшин.
Майская ночь,
горькая ночь,
баюшки-бай,
грустная дочь.
Грустные губы,
грустный овал –
грустный художник
тебя рисовал.
Майская ночь,
лживая ночь,
баюшки-бай,
нерожденная дочь.

* * *

За плечами четыре десятка,
На плечах – рифмотканая вязь.
Снова выстрел – и снова «десятка»,
Снова слухов и домыслов грязь.
Не бывает могил у поэтов:
Вечный дом – промеж строф, между строк.
Сколько было и будет наветов,
Всякий раз обрывающих срок…
Режь, воруй, непотребствуй веками,
Предавай, продавай, милый край,
Населяя себя червяками,
Созидая себе адский рай.
Что тебе до поломанных крыльев?
Кто тебе твоей правды певец,
Тот, что сам, от тщеты обессилев,
Надевает терновый венец?..

Жадный, жалкий, как старая шлюха,
Милый край без поэтов и муз,
Кто лишил тебя святости духа
И сменил на узду святость уз?
Сколько было и будет куплетов? –
Приговор многоточия строг…
Не бывает могил у поэтов:
Вечный дом – промеж строф, между строк.

* * *

Бабушке Марго

День остыл в объятиях заката.
Отворчали где-то глухари.
Разминется с нами жизнь когда-то –
Не листают вспять календари.

Все пройдет: и этот зимний вечер,
Когда прошлого еще не жаль,
И еще не расплетает ветер
Дорогих воспоминаний шаль.

А однажды старческие плечи,
Позабыв сроднившуюся боль,
В ожидании последней встречи
Вспомнят шаль – но ту проела моль.

О кольце, что я всегда носила,
Всхлипнет внучка папе: «Подари!»
Я себе бессмертья не просила –
Не листают вспять календари!

Ереван – Львов

Вера Зубарева

Зимние этюды

* * *

Снежной ели сверкает айсберг,
Корабли домов укачало,
И сугробов белые вазы
В сердцевинах лелеют молчанье.
Лепестками волнуя воздух,
Белый ветер над ними вьется.
На странице – следы полозьев
Зазывают строку за околицу…
Бусы льдинок дрожат на ветках.
Затевает метель ямбы.
И на всём – лишь пятнышко света
Фонаря от настольной лампы.

* * *

Месяц, как дух, возник
В нимбе литых планет.
Льдов зазеркалье. В них –
Рыб ледяных свет,
Гладких кристаллов поток,
Инея снежный иврит,
И новорожденный бог
В таинстве букв вихрит.

Филадельфия

Анна Старко

Г. О.

Анне Старко 16 лет, она учится в выпускном классе средней школы «Майбуття». В 2013 году Анна стала лауреатом международного музыкально-поэтического фестиваля «Одна маленькая свеча», а еще она дважды лауреат Одесского областного конкурса «Море талантов».

Мне нравится, что ее голос звучит все уверенней. Она фиксирует все, что видит и чувствует: от одесского двора до парижских мостов. Ее тексты предельно искренни и честны, в них есть своя мелодия.

Двуязычный цикл стихов «Г. О.» – не просто настольная японская игра, но история одной любви, попытка передать уплывающее мгновение во всей его сложности и красоте.

Игорь Потоцкий

Русский Бог

Мимо окон моих тюремных
Ты проходишь, как русский Бог.
Мимо книжек моих нетленных,
Мимо самых больших дорог.
Ты проходишь, как чуткий спутник
(Ты проходишь и ты бежишь).
По легенде и я – распутник,
По легенде – и только лишь.
Ты проходишь, как снег и пламя,
Излучая волшебный свет.
Мимо строчек моих – по краю,
Оставляя заметный след.

Карпаты

Вот и осень. Желтые деревья,
Лес затих, не слышно ничего…
Ходят в селах разные поверья,
Ну а мне – отрадно и легко.

Пахнет елкой, и хрустят орехи,
Вид чудесный – падает листок.
Заяц носит серые доспехи
И поет домашний водосток.

Дождь идет – и капли отбивают
Каждый слог нескладного стиха,
А в Карпатах ветры запевают,
Ночь к ветрам по-прежнему глуха…

Рыжий кот мурлычет на коленях,
Молоко парное на столе.
Белый ангел в деревянных сенях
Что-то шепчет, шепчет обо мне.

Вспомню нас – потухшая лампада
Начинает ласково гореть…
Кроме вас, мне ничего не надо,
Приходите рядом посидеть…

Молчишь…

Светлый лик – твои глаза иконы,
Голос – колокольный благовест.
Всю тебя переполняют волны,
Шторм и штурм – один случайный жест.

Всю тебя переполняют строки,
«Українська класика буття».

«Я писала истины – немногим,
А стихи – так вовсе для тебя».

Всю тебя переполняют страсти,
Божий дух и дьявольская тишь.
А душа – в твоей великой власти?..
Ты молчишь?.. Конечно же – молчишь.

Мірабо

«Під мостом рук
Вода тече хлюпоче
Од вічних поглядів спочити хоче…»
Г. Аполінер. «Міст Мірабо»

Ніч спокійна, наче до світанку
Ти сидиш і слухаєш мене…
Дай собі велику обіцянку
Не шукати образи Моне.

Дай собі велику обіцянку
(Сила є в обіцяних словах).
Схожа ти на ніжну єгиптянку,
Що несе століття у руках.

Будеш ти у Лондоні, Парижі,
Станеш наче Байрон чи Дідро…
А коли почуєш тільки тишу –
Віршик мій залишиш у метро.

Хтось нужденний сповідь прочитає
І піде шукати Мірабо.
Хто любив – любові той не знає,
Кто кохав – кохає все одно.

Скрябин

Холодный вечер. Дует из окна,
Свеча погасла. Всюду – едкий дым.
А ты уедешь этой ночью в Крым,
А я одна. По-прежнему одна.

Горчит вино, и чай давно остыл,
Молчанье заполняет тишину…
Я этот мир загадочный решу,
А ты разрушишь ненадежный тыл.

Ночник горит, а ты не хочешь спать,
Мой робкий сон уходит за порог.
У всех влюбленных невозможный рок:
Казенный дом. Работа. И кровать.

Но вот рассвет: на стеклах синий цвет,
Курлычут птицы, словно океаны.
Сюжет простой, но можно даже в Канны:
«Один бокал. Одна записка. Плед».

История искусств

Твой Гоген рисует руны,
Мой Шагал летит в окно.
У Кало порвались струны
(или – может быть – Мальо?).

Маяковский любит Лилю,
Любит Соню – русский Цвет.
Ждет Пьеро свою Мальвину,
А Мальвины больше нет.

Юный Моцарт ищет чудо,
И Бетховен – песни лун.

Ах, Сальери, ты – Иуда,
А еще немножко лгун.

Все мы ищем, все рисуем,
Чем-то очень дорожим.
Разве всуе? Разве всуе?
Мы в поэзию бежим?..

Го

Если подумать, это
Может напомнить Го:
Вроде живут поэты,
Вроде совсем легко –

Им не нужны планеты
Кроме своих планет.
Им не нужны монеты,
Важен один момент.

Если подумать, строки –
Это сплетенье рук.
Так вот летят дороги,
Так раздается стук.

Так вот уходят души
К самой родной душе.
Ты образуешь сушу,
Рифмы же нет на «ше».

Наше искусство – память,
Чистый осколок льда.
Можно ли все исправить?
Думаю, никог-
Да.

Евгений Голубовский

Свет и достоинство Александры Ильиничны Ильф

Горестная весть из Москвы 14 декабря 2013 года буквально ошеломила – умерла Александра Ильинична Ильф. Пятого декабря я получил письмо от нее. Оказалось, последнее.

Мы были знакомы более двух десятков лет, и всегда я чувствовал какой-то особый свет доброжелательства, интеллигентности, ума и тонкого юмора в этом человеке.



Ильф с дочкой. Начало 1936 г. Фото В. Иваницкого

Не только десяток книг, связанных с Ильей Ильфом, а часто и с его другом и соавтором Евгением Петровым, подготовленных к изданию Александрой Ильиничной, стоят у нас на книжных полках. Но как самая трогательная реликвия хранится ее шуточная визитная карточка:

Александра Ильф.
Дочь Ильфа и Петрова

Это былая милая и тонкая шутка. Но это было и реальное понимание дочерней привязанности и долга сохранить и издать архив. Полностью. Без цензурных правок и вычеркиваний.

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», оказалось, имели главы, которые в юности нам не привелось читать, не говоря уже об отдельных фразах и репликах. Вот где пригодилась ее профессия редактора. Слой за слоем она снимала цензурные «редактирования» в книгах И. Ильфа и Е. Петрова.



Маленькая Саша с родителями. Февраль 1937 г. Фото В. Иваницкого

Записная книжка 1927 года вообще не публиковалась раньше. Как и ряд других. Александра Ильинична предложила издательству выпустить ее факсимильно.

Вторая замечательная книга, которую подготовила и издала Александра Ильинична, – Евгений Петров. «Мой друг Ильф». Петров трижды брался за то, чтобы написать воспоминание об Иле (так он называл товарища, соавтора). Остались три черновика, три рукописи, которые вошли сейчас в этот том, дополненный воспоминаниями, считай, комментариями людей, которые знали Ильфа и Петрова. Так три подготовительных материала для книги стали увлекательным (как биографический роман) чтением, где помимо Евгения Петрова и Ильи Ильфа присутствует еще одна личность – составителя, человека, действительно проявившего дочернюю заботу о рукописях и Ильи Ильфа, и Евгения Петрова, – Александры Ильиничны.

Кстати, фамилию Ильф – по псевдониму отца, а не Файнзильберг, как было у него в паспорте, она получила по какому-то специальному правительственному указу. Так что не всегда правительство ошибалось. Она сохранила дух интеллигентности своих родителей своей работой, вырастила замечательного сына Илью Кричевского (по фамилии ее мужа), живущего ныне в Израиле.

Я спрашивал Александру Ильиничну, что она помнит о манерах, вкусах, облике отца.

– Ничего, мне было два года, когда он умер. Я знаю о нем в деталях, в подробностях по рассказам матери, по его записным книжкам, а сейчас и по его фотографиям… Кстати, и я не всегда могу, читая роман, вычленить, что писал отец, а что Евгений Петров. Я уже привыкла к тому, что я дочь Ильфа и Петрова.

Лет десять тому назад в Одессе прошла презентация книги-альбома, составленной Александрой Ильиничной, «Илья Ильф – фотограф». И это стало буквально новым открытием Ильфа – тончайшего фотографа, одинаково любящего и живопись французских импрессионистов, и фотомонтаж русских конструктивистов.

Впервые увидел читатель и любовную переписку Ильи Ильфа и Марии Тарасенко. Когда Александра Ильинична нашла пакет с этими письмами, прочла, она долго плакала. Она своих роди-

телей узнала с другой, более сокровенной стороны, любящими и ревнующими, нежными и ироничными. Оставлять эти письма о любви для внуков и правнуков? Это столь высокий пример любви и верности, что, отбросив сомнения и сантименты, А.И. Ильф издала эти письма.

Так появилась еще одна книга – «Илья Ильф, или Письма о любви», подготовленная Александрой Ильиничной Ильф, с ее комментариями.

В книгу вошли полторы сотни писем, два рассказа Ильи Ильфа, документы, свидетельства современников…

Но, конечно, главное в книге – это письма Ильи Ильфа и Марии Тарасенко, в которых шум их времени, картины неустроенного мира. И над всем этим, превозмогая житейские невзгоды, звучат два голоса, две мелодии, сливающиеся в одну – музыку любви.





А сравнительно недавно ей удалось разыскать картины своей матери Марии Николаевны Тарасенко, талантливого живописца, входившей в 20-е годы прошлого века в одесскую группу «Коллектив художниц».

Невзирая на множество препятствий, она сделала в Москве выставку и выпустила каталог…

Надеюсь, что и после кончины Александры Ильиничны будут выходить подготовленные ею к печати книги, как и эта написанная ею для нашего альманаха статья.

Саша, а только так просила она называть себя в кругу друзей, любила приезжать в Одессу, особенно в день рождения города, 2 сентября, потому что этот город был для нее родным и любимым, она чувствовала его тепло в улыбках, в глазах друзей, в воздухе, в его зелени, в его море.

Она останется с нами в нашей памяти, в нашем сердце…

Александра Ильф

За золотым руном, или Странствия командора

Роман «Золотой теленок», задуманный Ильей Ильфом и Евгением Петровым как продолжение и завершение «Двенадцати стульев», был напечатан в московском журнале «30 дней» в 1931 году. Первое книжное издание появилось весной 1933 года.

Напомним историю главного персонажа романа «Двенадцать стульев» – Остапа Бендера. Евгений Петров вспоминал, что первоначально, когда они с Ильфом приступили к совместной работе, «Остап Бендер был задуман как второстепенная фигура, почти что эпизодическое лицо. Для него у нас была приготовлена фраза, которую мы слышали от одного нашего знакомого биллиардиста: «Ключ от квартиры, где деньги лежат». Но Бендер стал постепенно выпирать из приготовленных для него рамок. Скоро мы уже не могли с ним сладить. К концу романа мы обращались с ним как с живым человеком и часто сердились на него за нахальство, с которым он пролезал почти в каждую главу».

Думаю, читатель не забыл сюжет первого романа, подаренный молодым журналистам «мэтром» Валентином Катаевым: «Поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев, разбросанных революцией по стране». Тему развивает современник и друг соавторов Виктор Шкловский:

«В схеме, предложенной Катаевым, Остапа Бендера не было. Героем был задуман Воробьянинов и, вероятно, дьякон, который теперь почти исчез из романа.

Бендер вырос на событиях, из спутника героя, из традиционного слуги, разрешающего традиционные затруднения основного героя, Бендер сделался стихией романа, мотивировкой приключений.

Несмотря на смерть, он, как настоящий удавшийся герой, ожил. Он был убит, но не исчерпан.

Герои же романов приключений могут быть только исчерпаны, а не убиты.

Он ожил в «Золотом теленке».

Евгений Петров рассказывал: «…Мы поспорили о том, убивать Остапа или нет. Действительно, были приготовлены две бумажки. На одной из них мы изобразили череп и две косточки. И судьба великого комбинатора была решена при помощи маленькой лотереи. Впоследствии мы очень досадовали на это легкомыслие, которое можно было объяснить лишь молодостью и слишком большим запасом веселья».

В «Золотом теленке» снова появляется Остап Бендер: он воскрес, как Шерлок Холмс в рассказе Конан Дойла «Пустой дом». Если вы помните, в романе «Двенадцать стульев» Бендер погибает от руки Воробьянинова (ему перерезали горло, как итальянцу в конан-дойлевском рассказе «Шесть Наполеонов»). Бендер вновь предстает «главным действующим лицом романа, самой сильной его пружиной» (как называл его В. Катаев), «стихией романа, мотивировкой приключений» (как называл его В. Шкловский).

Но какие приключения в этой книге? Почему мы собираемся говорить о путешествиях?

Как ни странно, в ответ процитируем не оценки советских критиков и литературоведов, а явно «антисоветский» рекламный текст, помещенный на суперобложке первого издания «Золотого теленка» на английском языке, вышедшего в свет в Нью-Йорке в 1931 году:

Книга, которая слишком смешна,
чтобы быть опубликованной в России!

Роман насыщен юмором и сатирой; хороший вкус авторов очевиден. Герой – Остап Бендер – поглощен погоней за богатством. С тремя помощниками путешествует он по России в трясущейся автоколымаге, чтобы найти миллионера и избавить его от миллионов. Планы и приключения этого беспардонного, но весьма привлекательного квартета – захватывающее чтение, и сегодняшняя Россия разворачивается, как карта, под колесами их фантастической колесницы.

Несмотря на ехидство американских издателей, с ними нельзя не согласиться: тогдашняя Россия разворачивается перед нами, как географическая карта, увлекающая в путешествие. «Золотой теленок» – не только прекрасный сатирический роман, но и увлекательная книга путешествий и приключений.

По законам жанра путешествие протекает в поисках. Поиски рождают приключения. Фабула романа – спрятанное богатство, которое нужно найти.

События развиваются под знаком пути, с постепенным повышением «ранга» передвижения. Роман начинается торжественной одой пешеходу: «Пешеходов надо любить». Следующий этап: герои трясутся на дряхлой «Антилопе», с завистью наблюдая настоящий автопробег: «Да, – сказал Остап, – теперь я и сам вижу, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения». Апофеоз железной дороги: литерный поезд, идущий на открытие Турксиба. Турксиб – мотив, связанный с архетипами дороги и движения, это символический путь в новую жизнь. В дальнейшем ранг передвижения снижается: верблюд, поезд и, наконец, извозчик. Реку Днестр главный герой пытается перейти пешком.

Путешествие Бендера и его спутников можно уподобить плаванию на суденышке (паруснике?) «Антилопа», от одного острова к другому (островок Арбатов, большой остров Черноморск). Названия географических точек в основном вымышлены или анонимны (Арбатов, Удоев, Черноморск, «небольшая виноградная республика»).

Передвижению главных персонажей соответствуют «морские», навигационные метафоры: «Скумбриевич попытался взять курс на берег, но Остап отрезал ему дорогу и погнал в открытое море»; «Козлевич получил брелок в виде компаса…»; «Курс на восток! – командует Остап. – У вас есть прекрасный навигационный прибор – компас-брелок»; «Они шли посреди улицы, держась за руки и раскачиваясь, словно матросы в чужеземном порту. Рыжий Балаганов, и впрямь похожий на молодого боцмана, затянул морскую песню». Декларация Остапа: «Приходится действовать не только на суше, но и на море». Мотив моря тесно связан с действиями героев: «Титаническая борьба на морском берегу». «Остап кричал, как морской царь». Он «стойко выдерживает

натиск фронтальных и боковых ветров», отдает команды: «Малый ход», «Полный ход!». Еще несколько «морских» ассоциаций: «Паниковский, перебирая ногами, ухватился за кузов, потом налег на борт животом, перевалился в машину, как купающийся в лодку, и… упал на дно»; «Антилопа» на своей стоянке издавала корабельные скрипы»; «В этом флотском борще плавают обломки кораблекрушения» (последняя фраза недвусмысленно говорит о полной неудаче мероприятия).

Командор (то есть капитан) автопробега полагает, что «машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя», и присваивает ей название «Антилопа-Гну». Здесь уместно вспомнить, что «Антилопа» – имя корабля Гулливера, на котором тот отправился в плавание в 1699 году.

Сюжет путешествия вписывается в достопримечательности посещаемых мест. Поиски миллионера разворачиваются на фоне характерных явлений советской жизни конца 1920-х и начала 1930-х – автопробегов, дальних авиаперелетов, полярных экспедиций, великих строек, перестройки быта в Средней Азии. Тем не менее высшие достижения цивилизации соседствуют с хаосом в хозяйственной сфере, отсутствием товаров, господством фразы, штампа и лозунга, стадностью идеологических кампаний, бюрократизмом: «Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Днепровская гидроэлектростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «уйди-уйди», написана песенка «Кирпичики» и построены брюки фасона «полпред». В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. <…> Под все изобретения муравьиного мира подводится гранитная база «коммунистической» идеологии. <…> И пока в большом мире идет яростная дискуссия об оформлении нового быта, в маленьком мире уже все готово: есть галстук «Мечта ударника», толстовка-гладковка, гипсовая статуэтка «Купающаяся колхозница» и дамские пробковые подмышники «Любовь пчел трудовых».

Путешествие и действия персонажей соотносятся с крупными историческими вехами: к примеру, открытие конторы «Рога и копыта» связано с концом нэпа; склока в коммунальной квартире происходит в разгар полярной эпопеи летчика Севрюгова; победа Бендера над Корейко совпадает с открытием Турксиба.

Соразмерность литературного мира и географического устройства вселенной создает насыщенное пространство, предоставленное в распоряжение действующих лиц:

«Ночь, ночь, ночь лежала над всей страной. В Черноморском порту легко поворачивались краны, спускали стальные стропы в глубокие трюмы иностранцев и снова поворачивались, чтобы осторожно, с кошачьей любовью опустить на пристань сосновые ящики с оборудованием Тракторостроя. Розовый кометный огонь рвался из высоких труб силикатных заводов. Пылали звездные скопления Днепростроя, Магнитогорска и Сталинграда. Были тут фабрики, комбинаты, электростанции, новостройки. Светилась вся пятилетка, затмевая блеском старое, примелькавшееся еще египтянам небо».

«А поезд, выбегая из строящейся Москвы, уже завел свою оглушительную песню. Он бил колесами, адски хохотал под мостами и, только оказавшись среди дачных лесов, немного поуспокоился и развил большую скорость. Ему предстояло описать на глобусе порядочную кривую, предстояло переменить несколько климатических провинций, переместиться из центральной прохлады в горячую пустыню, миновать много больших и малых городов и перегнать московское время на четыре часа».

«Качались на широкой атлантической волне американские джентльмены, увозя на родину рецепт прекрасного пшеничного самогона».

«Пассажиры вылезли из машины и, разминая ослабевшие ноги, прошли немного вперед. На распутье стоял наклонный каменный столб, на котором сидела толстая ворона. Сплющенное солнце садилось за кукурузные поля. Узкая тень Балаганова

уходила к горизонту. Землю чуть тронула темная краска, и передовая звезда своевременно сигнализировала наступление ночи».

В своих странствиях Бендер посещает председателя исполкома и контору «Геркулеса», участвует в художественных и литературных дискуссиях, поселяется в коммунальной квартире, становится жертвой газовой атаки, присутствует при смычке. Виртуальный «любимец Рабиндраната Тагора» (о чем сообщает афиша с портретом Бендера в шальварах и чалме) наносит визит индийскому мудрецу, посетившему Советский Союз 11-25 сентября 1930 г.

Маршрут путешествия. Средство передвижения

Обязательный атрибут перемещения в пространстве и времени – маршрут путешествия, средство передвижения. Важную роль играет передвижение пешком («Решено было войти в город пешим порядком», «Миллионеры двинулись широким дромадерским шагом»). К иным средствам передвижения принадлежат извозчик, автомобиль, поезд и верблюд. Во время газовой атаки Остапа уносят на носилках, а инженер Талмудовский спасается с Восточной Магистрали на моторной дрезине.

Арбатов

Этот провинциальный город – исходная точка маршрута. Главный путешественник Остап Бендер прибывает на узловую станцию Арбатов товарно-пассажирским поездом. Первое, что бросается ему в глаза, – огромная лужа на привокзальной площади. Этот факт отмечен в рукописи первой главы романа «Великий комбинатор» (1929), вошедшей в измененном виде в роман «Золотой теленок». Способ передвижения в данном случае – «человек-паром», на плечах которого Бендер за две копейки добирается до «сухого берега», то есть до Бульвара Молодых Дарований. В «Золотом теленке» этих подробностей нет. Сказано только, что «гражданин в фуражке с белым верхом… двигался по улицам города Арбатова пешком, со снисходительным любопытством озираясь по сторонам». Резюмируем: он прибыл поездом и идет пешком.

Путешествие главных персонажей может считаться реальным. Кроме условных городов авторы описывают подлинные географические точки (Одесса, Москва, Ташкент). Подтверждаем, что Ильф и Петров действительно перемещались в описываемом пространстве. В сентябре 1929-го, будучи в командировке в Ярославле, они повстречали будущего Адама Козлевича – шофера Адама Сагассера. В записной книжке Ильфа: «Шофер Сагассер», «Чуть суд – призывали Сагассера – он возил всех развращенных, других шоферов не было», «Шофер блуждал на своей машине в поисках потребителя». В материалах к «Великому комбинатору» Сагассер обозначен как «ярославский шофер». Не исключено, впрочем, что Арбатов географически близок Саратову: Балаганову «достался золотой арбатовский участок, примыкавший к Республике Немцев Поволжья…» (ныне – Саратовская область). Черноморск – псевдоним Одессы, родного города соавторов. В апреле-мае 1930 года Ильф и Петров участвовали в поездке на открытие Турксиба (в романе – Восточная Магистраль) и побывали в Средней Азии.

В Арбатове путь Бендера пересекается с передвижениями Шуры Балаганова и Михаила Самуэлевича Паниковского. Все трое – «дети лейтенанта Шмидта». Что привело их в Арбатов? Все они – путешественники!

«От Минска до Берингова пролива, и от Нахичевани на Аракс до Земли Франца-Иосифа входят в исполкомы, высаживаются на станционные платформы и озабоченно катят на извозчиках родственники великих людей».

Откуда приехал в Арбатов Остап Бендер, этот «джентльмен в поисках десятки»? Где он был в течение тех пяти лет, пока мы считали его мертвым? Точного ответа нет.

Бендер предстает перед председателем исполкома как один из сыновей лейтенанта Шмидта – «буйной корпорации» самозванцев и аферистов. «Каприз артиста», – уверяет он. «Вы, вероятно, из Москвы?» – спрашивает его председатель. – «Да, проездом», – отвечает Остап уклончиво.

Вообще-то, он повсюду бывал, все повидал. «Черноморск! – с презрением восклицает он. – Там даже в довоенное время человек

с десятью тысячами назывался миллионером». О Самарканде: «Я тут был лет пять тому назад, читал лекции о борьбе с абортами». О Ташкенте: «В Ташкенте можно весело провести дня три». А вспомните «Двенадцать стульев»!

О прошлом Шуры Балаганова известно, что «занят он был преимущественно тем, что сидел в исправительных домах различных автономных республик и областей». «Из мировых очагов культуры он, кроме Москвы, знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская».

Третий мнимый сын лейтенанта – Михаил Самуэлевич Паниковский – нарушил конвенцию, пробравшись на чужой эксплуатационный участок. Его вышвыривают из исполкома, за ним гонятся арбатовцы. Но вот подробности его дореволюционного прошлого: «Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Паниковский до революции. <…> И вам скажут, что до революции Паниковский был слепым. Если бы не революция, разве я пошел бы в дети лейтенанта Шмидта? Ведь я был богатый человек. У меня была семья и на столе никелированный самовар. А что меня кормило? Синие очки и палочка. <…> Я выходил в очках и с палочкой на Крещатик и просил какого-нибудь господина почище помочь бедному слепому перейти улицу. Господин брал меня под руку и вел. На другом тротуаре у него уже не хватало часов, если у него были часы, и бумажника. <…> Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек! Фамилия ему была Небаба, Семен Васильевич. Он теперь музыкальный критик».

Бендер и Балаганов сводят знакомство с арбатовским шофером-неудачником и предлагают ехать с ними в Черноморск: «А в Арбатове вам терять нечего, кроме запасных цепей. <…> Бензин ваш – идеи наши».

Адам Козлевич был основоположником автомобильного дела в Арбатове. Его прошлое: он просидел в тюрьме в общей сложности три года за воровство, однако советская пенитенциарная система оказала свое благотворное действие: «Козлевич, Адам Казимирович, сорока шести лет, происходящий из крестьян б. Ченстоховского уезда, холостой, неоднократно судившийся, вышел из тюрьмы честным человеком».

Сходство подлинного Адама Иосифовича Сагассера, чеха, жителя г. Ярославля, с Адамом Казимировичем Козлевичем, поляком (упомянуты его «светлые польские глаза»), ограничено тем, что в описываемые годы Сагассер действительно владел таксомотором с надписью «Эх, прокачу!». Подробная история Сагассера, опубликованная в русскоязычной нью-йоркской газете в 1995 г., перепечатана в кн.: Евгений Петров. «Мой друг Ильф». М.: Текст, 2003, с. 417-419.

Биография «Антилопы»: это был «такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея. <…> Порода машины была неизвестна, но Адам Казимирович утверждал, что это «лорен-дитрих». В виде доказательства он приколотил к радиатору автомобиля медную бляшку с лорен-дитриховской фабричной маркой».

При первом знакомстве с машиной Остап иронизирует: «Оригинальная конструкция, заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление – и получилась прелестная колхозная сноповязалка».

Однако он достаточно честен, чтобы воздать ей должное: «Все же это была машина, автомобиль, экипаж, который, как говорил Остап, при всех своих недостатках способен, однако, иногда двигаться по улицам без помощи лошадей». Иногда и вправду машина способна на многое: «Зеленая «Антилопа», скрипя всеми своими частями, *промчалась* по внешнему проезду Бульвара Молодых Дарований и *вылетела* на рыночную площадь» или «Зеленый ящик с четырьмя жуликами *скачками понесся* по дымной дороге».

«Средство передвижения» получает характеристики живого существа: «Антилопа» повернула и, *как слепой щенок, стала тыкаться* в стороны в поисках обходной дороги», «В четвертом часу *затравленная* «Антилопа» остановилась над обрывом».

Бедное средство передвижения!! После крушения оно так и не оправилось. «Машина после ремонта что-то капризничает и работает только один час в день. Все время ее чиню, прямо сил никаких нет», – жаловался Козлевич.

Итак, начинается большое путешествие с большими приключениями. Пусть читателей не смущает, что оно будет называться то мореплаванием, то автопробегом.

Арбатов… Удоев… Лучанск… Черноморск

Бендер и Балаганов покидают Арбатов. Бросив спасательный круг Паниковскому, «Антилопа» снимается с якоря и несется на всех парусах по намеченному маршруту: «Полный ход, – скомандовал Остап».

Антилоповцы находятся на линии автопробега Москва – Харьков – Москва, приблизительно в 150 километрах впереди головной машины. Декларация Остапа: «Совершенно ясно, что некоторое время мы продержимся впереди автопробега, снимая пенки, сливки и тому подобную сметану с этого высококультурного начинания». «Антилопа» идет под пиратским флагом: «Автопробегом – по бездорожью и разгильдяйству!».

Большой Новозайцевский тракт приводит их в село с традиционным митингом («Автомобиль не роскошь, а средство передвижения». «Все в Автодор!»); затем они причаливают к «древнему Удоеву», якобы основанному в 794 году (захват горючего, обед). «Сутки мчались они впереди автопробега».

О Лучанске сказано, что это «город очень маленький». Команда прекрасно пообедала и под руководством Бендера экипируется в магазине готового платья с бумажкой на входной двери: «ШТАНОВ НЕТ». Во время митинга (командор возглашает знаменитое: «Автомобиль не роскошь, а средство передвижения!») получена телеграмма о задержании зеленой машины, идущей впереди автопробега. Антилоповцы поспешно разводят пары.

«Дальше на пути лежал городок, названия которого антилоповцы никогда не узнали, но хотели бы узнать, чтобы помянуть его недобрым словом. У самого же входа в город дорога была преграждена тяжелым бревном». С трудом преодолев препятствие, они устремляются на Гряжское шоссе (три часа пути):

«К Гряжскому шоссе «Антилопа» подошла под все усиливающийся рокот невидимых покуда автомобилей. Едва успели свернуть с проклятой магистрали и в наступившей темноте убрать машину за пригорок, как раздались взрывы и пальба моторов, и в столбах света показалась головная машина. <…>

Полотнища ослепительного света полоскались на дороге. Машины мягко скрипели, пробегая мимо поверженных антилоповцев. Прах летел из-под колес. Протяжно завывали клаксоны. Ветер

метался во все стороны. В минуту все исчезло, и только долго колебался и прыгал в темноте рубиновый фонарик последней машины.

Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями».

Однако путешествие продолжается. «В четвертом часу затравленная «Антилопа» остановилась над обрывом. Внизу на тарелочке лежал незнакомый город. Он был нарезан, как торт. <…> Зубчатый лес подходил к городу. Дорога петлями падала с обрыва».

Высадившись с борта «Антилопы» на неизвестном «островке», Остап производит традиционные для путешественника наблюдения над туземцами (монархистом Хворобьевым и художниками-станковистами). Команда Остапа перекрашивает судно в желтый цвет. Декларация Остапа: «Дела призывают нас в Черноморск».

Черноморск

В город антилоповцы въехали на рассвете. «Привет первому черноморцу! – крикнул Остап, когда машина с тракторным грохотом проносилась мимо Корейко. – Теплые морские ванны еще работают? Городской театр функционирует? Уже объявили Черноморск вольным городом?»

Цель путешествия достигнута. Антилоповцы бросили якорь и ступили на землю плодородного острова. Предстоит большая охота.

Топонимика Черноморска/Одессы

Илья Ильф и Евгений Петров – одесситы, и это, как говорил Остап Бендер, «медицинский факт». Их романы буквально прослоены Одессой, – не могли же они забыть родной город, который знали лучше других городов?

Несколько слов о Бендере. Это образ собирательный, однако совершенно одесский. В нем проглядывают черты одесских современников соавторов – и мелкого ловкача Мити Ширмахера, и Остапа Шора, «внешность которого», по словам В. Катаева, «соавторы сохранили в своем романе почти в полной неприкосновенности: атлетическое сложение и романтический, чисто черноморский характер».

А фамилия?

Когда в юности Ильф жил на Малой Арнаутской, где, по сообщению Остапа, делали всю одесскую контрабанду, в соседнем доме была мясоторговля Бендера. В Одессе были и другие Бендеры, а еще один Бендер служил вместе с Ильфом в одесском учреждении с труднопроизносимым названием Опродкомгуб.

«Мой папа был турецко-подданный», – сообщал Бендер. Это подданство принимало немало одесситов – при некоторых житейских обстоятельствах это было весьма удобно. Бендер называет себя Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей. Гибридное (турецко-немецкое) имя также характерно для Одессы. Антилоповцы зовут его Остап Ибрагимович. Боюсь, что и нам придется, подобно вдове Грицацуевой, называть его «Товарищ Бендер».

По сути, вся вторая часть «Золотого теленка» посвящена Одессе. Тождество Одессы и Черноморска устанавливается легко и неопровержимо. В «Великом комбинаторе» этот город на Черном море без затей называется Одессой. Открытым текстом сказано, что Корейко служил «в канцелярии юридической консультации, находившейся на Пушкинской улице в Одессе» (гл. 5). «Дела призывают нас в Одессу!» – заявляет Бендер.

Год основания города соавторы знали точно, почему и написали, что «между древним Удоевым, основанным в 794 году, и Одессой, основанной в 1794 году, лежали тысяча лет и тысяча километров грунтовой дороги». Не преминули они отметить, что в чемоданчике, в котором Корейко хранил свои неправедные миллионы, честный человек мог держать брюки из клетчатой ткани «Столетье Одессы».

А «Геркулес», в финсчетном отделе которого служил подпольный миллионер, по словам авторов, помещался в бывшей гостинице. Напомним, что в 1921 году Ильф служил бухгалтером в упоминавшимся уже Опродкомгубе, в гостинице «Большая Московская» (на Дерибасовской против Городского сада, «где толстая струя фонтана оплывала как свеча»).

Киностудия, куда Остап продал сценарий «Шея», – тогдашняя кинофабрика ВУФКУ (Всеукраинского фотокиноуправления) на Французском бульваре. Нарпитовская столовая № 68, она же бывшее кафе «Флорида», – знаменитое кафе Фанкони. Музей древностей, на ступенях которого Бендер признавался в любви Зосе Синицкой, –

Археологический музей. Гостиница «Карлсбад» – «Лондонская». Частная гимназия Илиади «со всеми правами правительственных гимназий», где в третьем классе Бендер зазубрил латинские исключения («пуэр, соцер, веспер, генер…»), была на Дворянской, № 1/3, и в этой гимназии учились друг Ильфа Лев Славин, а также прототип Бендера – Остап Шор.

«Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я, второе общество взаимного кредита?» – с горечью вопрошал зиц-председатель Фунт, и земляки-современники Ильфа и Петрова вспоминали 1-е общество взаимного кредита на углу Пушкинской и Греческой улиц и 2-е общество взаимного кредита (Торгово-промышленное и ремесел общество взаимного кредита) на Греческой, между Ришельевской и Пушкинской.

Зиц-председателя Фунта милиционеры увозят в «дом из красного кирпича, к окнам которого по странному капризу архитектора привинчены толстые решетки». Одесская тюрьма в юбилейном для Одессы 1894 г. была переведена с нынешней Привокзальной площади на дорогу к Люстдорфу в новое здание, отвечающее описанию.

Своеобразной достопримечательностью города были теплые морские ванны, о которых Ильф писал: «Когда всё в Одессе разрушится, морские ванны по-прежнему будут сиять и переливаться светом. Одесситы любят морские ванны». Паниковский делится с Балагановым тайной «золотых» гирь Корейко в буфете искусственных минеральных вод. Такие заведения, оставшиеся с дореволюционных времен, еще при нэпе были разбросаны по всей Одессе. Слух одесситов ласкает и указание на то, что акации в Черноморске «несли некоторые общественные функции: на одних висели синие почтовые ящики… к другим же были прикованы жестяные лоханочки с водою для собак». Пикейные жилеты возле бывшего кафе Фанкони утверждали, что «такого августа не было со времени порто-франко». Был такой август или не был, но порто-франко осчастливило и обогатило Одессу еще в 1817 году и продолжало это делать сорок лет кряду.

Улицей Полтавской победы, на которой молодой Корейко мечтал найти кожаный бумажник с деньгами, одно время называлась бывшая и нынешняя Канатная. Малая Касательная улица – «гибрид» Малой Арнаутской и спародированной (однако существующей до сих

пор) Косвенной. Арнаутские галереи опоясывают старинные дворы на обеих Арнаутских и других одесских улицах. Улица Лассаля – послереволюционное название Дерибасовской, улица Франца Меринга – Нежинская. Бронзовая фигура екатерининского вельможи, стоящая посреди площади, – конечно же, памятник герцогу Ришелье.

В 1920-е годы завод «Одесская Бавария» выпускал и рекламировал пиво «Тип-Топ», о котором можно прочесть теперь разве что в нашем романе: «А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду, за соседним столиком, и пьет сорокакопеечное пиво «Тип-Топ». Реклама тех лет: «Пейте пиво «Тип-Топ» в пивных барах Пищетреста. Пивной бар. Ул. Лассаля, 8, Пищетреста. Пиво: пильзенское, мартовское, «Тип-Топ».

«И вообще последний город – это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана», – горечью говорит Остап. После революции через пограничный город Шепетовку можно было выехать в Польшу, то есть за границу. Но с начала 1930-х это стало невозможным. «В конце концов заграница – это миф о загробной жизни, – печально резюмировал Ильф. – Кто туда попадает – не возвращается назад». Остап пытается бежать из Одессы в Румынию. В начале 1920-х сотни смельчаков проделывали этот рискованный путь. Некоторые погибали на границе или от рук чекистов.

А сколько одесситов поделилось с персонажами романа своими фамилиями! Часовщик Фунт, который держал мастерскую на Ришельевской. Домовладелец Бомзе. Купец 1-й гильдии Зайонц. Служащий ссудно-сберегательной кассы Берлага. Еще один Берлага служил в Опродкомгубе, вместе с Лапидусом и Пружанским. Немецкому специалисту Генриху-Мария Заузе досталась фамилия одесского художника В.Х. Заузе.

Бендер и его команда в Черноморске. Посещение «Геркулеса». Остап видит Корейко. Попытка ограбления и ограбление миллионера-конторщика. Вселение антилоповцев в «Воронью слободку». Открыта контора «Рога и копыта». Знакомство Остапа с Зосей Синицкой. Бендер собирает «следственные материалы» о деятельности Корейко.

Но кто такой этот Корейко, за которым гонится Бендер?

Александр Иванович Корейко, уроженец Черноморска, – тоже путешественник, но путешественник поневоле. С молодых лет

он мечтал о богатстве. Его бурная деятельность началась в 1917 году с торговли казенными медикаментами во время голода и тифа. Одно из наиболее удачных дел – «похищение маршрутного поезда с продовольствием, шедшего в голодающее Поволжье». В 1922 году он появляется в нэповской Москве. «Какой доход могут принести человеку две обыкновенные бочки, наполненные водопроводной водой? 20 рублей? 3 рубля? 8 копеек? Нет… Александру Ивановичу они принесли 400 000 золотых рублей 00 копеек». Жажда обогащения отправляет его в «маленькую доверчивую республику», отстоявшую от Москвы на 3 000 километров («синее небо, верблюды, оазисы и пижоны в золотых тюбетейках»), где Корейко помогает строить электростанцию: «Идея электрификации отсталых окраин чрезвычайно близка его сердцу». Следствием подобных среднеазиатских панам были громкие судебные процессы. Третьим этапом его активности были «скромная конторская работа в «Геркулесе» и спекуляции валютой, мехами, камушками и прочими компактными предметами первой необходимости. И, наконец, серия самовзрывающихся акционерных обществ под цветистыми названиями». Остап Бендер, как ищейка, идет по следу подпольного миллионера.

«Дело Александра Ивановича Корейко» с блеском закончено, но миллионер-конторщик подло скрывается. Деньги кончились, Воронья слободка сгорает дотла, контора недоступна. Бендер с командой выезжает из Черноморска. В пути «Антилопа» разваливается, Паниковский умирает. На маленькой железнодорожной станции Остап проникает в вагон поезда особого назначения, идущего на открытие Восточной Магистрали (Турксиб, Туркестано-Сибирская магистраль – железная дорога, соединившая Среднюю Азию с Сибирью). Теперь он – лжежурналист «Черноморской газеты».

«Даешь смычку!». «Привет героям – строителям Восточной Магистрали!». Оренбургская степь. Оренбург. Станция Горная – южный исток Магистрали. Хрустальный перевал. Ст. Гремящий Ключ

Географические названия подлинные. См. очерк Ильфа и Петрова «Осторожно! Овеяно веками!» (1930).

«Путешествие по Восточной Магистрали доставляло великому комбинатору много радости. Каждый час приближал его

к Северному укладочному городку, где находился Корейко». Наконец Остап обретает миллионера и изымает вожделенный миллион. Но его выкидывают из литерного поезда, не берут в самолет. С ним Корейко. Покинуть Восточную Магистраль невозможно. Резюме Бендера: «Транспорт отбился от рук. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? Четыреста километров. Это не воодушевляет. Остается одно – принять ислам и передвигаться на верблюдах. <…> Семь дней верблюды тащили через пустыню новоявленных шейхов». И в самом деле, верблюды – «не роскошь, а средство передвижения».

Самарканд – Ташкент…

Бендер бывал в Самарканде и воспевает его как «городок, не уступающий Багдаду. Плоские кровли, туземные оркестры, ресторанчики в восточном вкусе, сладкие вина, легендарные девицы и сорок тысяч вертелов с шашлыками карскими, турецкими, татарскими, месопотамскими и одесскими. И, наконец, железная дорога». Увы! Успешная перестройка быта в Средней Азии «изжила», «истребила» и «придушила» и погребок «Под луной», и кабачки в азиатском роде с тимпанами и флейтами; зато можно послушать Большой симфонический квартет имени Бебеля и Паганини; путешественники воздержались.

Бендер поездом отбывает в Ташкент. Корейко остается в Самарканде, хочет служить конторщиком. Его путешествие завершилось.

Мы встречаемся с Остапом в Москве, на Рязанском вокзале. «С тех пор, как он расстался с Александром Ивановичем у камеры хранения ручного багажа, куда подпольный миллионер сдал свой чемоданишко, прошел месяц». Для него этот месяц был полон лишений, унижений и даже страданий: «В первом же городе, в который Остап въехал с чувствами завоевателя, он не смог достать номера в гостинице»: забронировано за конгрессом почвоведов. (С 20 по 30 июля 1930 г. в Ленинграде проходил 2-й международный почвоведческий конгресс, и как раз в эти дни там были Ильф и Петров, работавшие над либретто комедии «Подхалимка» для Ленинградского театра сатиры.) «Весь день он ездил по городу на извозчике. В лучшем ресторане он полтора часа томился в ожидании» (обедает конгресс почвоведов). «В театре в этот день давался спектакль для

почвоведов, и билеты вольным гражданам не продавались. <…> Чтобы не ночевать в интересах науки на улице, миллионер в тот же вечер уехал, отоспавшись в международном вагоне.

Утром Бендер сошел в большом волжском городе [Сталинграде?]. С деревьев, вертясь винтом, слетали желтые прозрачные листья. Волга дышала ветром. Номеров не было ни в одной гостинице. <…> И снова Остап провел день на извозчике, с нетерпением дожидаясь курьерского поезда, где можно умыться, отдохнуть и почитать газетку. Великий комбинатор провел пятнадцать ночей в разных поездах, переезжая из города в город, потому что номеров нигде не было».

Москва

Бендер высаживается из поезда в Москве на Рязанском вокзале в «печальный и светлый осенний день…». Неожиданная встреча с несчастным и нищим Балагановым. Командор дает ему 50 тысяч. «Они вышли на Каланчевскую площадь. Такси не было. На извозчике Остап ехать отказался. <…> Пришлось сесть в трамвай». Там обладатель пятидесяти тысяч «машинально» украл дамскую сумочку. Его уводят в милицию. «Врата великих возможностей» захлопываются. Путешествие Балаганова закончено.

В гостинице Бендера по-прежнему преследуют почвоведы («В ста пятидесяти номерах спал конгресс почвоведов, вернувшийся из поездки»). Беседа о смысле жизни с «индийским гостем» – Рабиндранатом Тагором – не удалась. Не зная, чем заняться, Остап с интересом истинного естествоиспытателя рассматривает аборигенов, то есть «обыкновенных прохожих, которые прыгали в автобус, как белки».

Черноморск

Средство передвижения – железная дорога. Уже осень: «Силою неожиданно напавшего на город северо-восточного ветра нежное бабье лето <…> было загнано к мусорным ящикам, желобам и выступам домов. Там оно помирало среди обугленных кленовых листьев и разорванных трамвайных билетов. <…> Черноморцы брели против ветра, опустив головы, как быки».

Встреча Бендера с Козлевичем. Остап привез для «Антилопы» «подержанный маслопроводный шланг». Зося Синицкая замужем.

Остап дважды преодолевает искушение избавиться от миллиона. Прощание с родиной по форме № 5.

Направление. Точное время

Путешественники имеют обыкновение указывать курс и точное время в своих путевых журналах, и эта традиция неуклонно соблюдается авторами:

«Выехали из Черноморска, взяв курс на восток».

«Великий комбинатор поплыл на боку, раздвигая воды медным плечом и держа курс на северо-северо-восток…»

«Солнце встало над холмистой пустыней в 5 часов 02 минуты 46 секунд».

«В 3 часа ночи Александра Ивановича разбудили. Пришла телеграмма. <…> В 17 часов 35 минут того же дня прибыла вторая депеша».

«Ровно в 16 часов 40 минут Васисуалий Лоханкин объявил голодовку».

Хронология достоверна: в Черноморск Бендер прибыл во второй половине сентября 1930 года. Всю зиму он готовился к отъезду и в приднестровских плавнях появился весной 1931-го: «Шумела мартовская ночь…»; «В 3 часа ночи строптивый потомок янычар ступил на чужой заграничный берег. <…> Здесь тоже была весна…». Точность – вежливость королей. И авторов.

Путешественник – аборигены

В незнакомой стране путешественники, как правило, встречаются с аборигенами. Роман густо населен представителями разнообразной фауны, современной и доисторической.

По пути следования «Антилопа» бросает якорь на маленьком острове, над которым, плача и завывая, реет допотопный птеродактиль (монархист Хворобьев), со свистом проносятся грифы

и стервятники (художники-халтурщики). На острове Черноморск Бендер с опаской наблюдает за ящерами, рептилиями и плотоядными конторы «Геркулес». Начальник конторы – типичный представитель коренных обитателей, о чем говорят и растительный мир вокруг него, и манера поведения: «…Из-под живительной тени *пальм и сикомор* вынырнул Полыхаев. <…> В усах у него, *как птичка в ветвях*, сидела алмазная слеза. Полыхаев… так энергично потирал руки, будто бы хотел *трением добыть огонь по способу, принятому среди дикарей Океании*».

Джунгли «Вороньей слободки» кишат ядовитыми змеями и хищными тварями (отставной дворник Никита Пряхин, ничья бабушка, бывший горский князь, а ныне трудящийся Востока гражданин Гигиенишвили, тетя Паша – торговка и горькая пьяница, Александр Дмитриевич Суховейко, «в прошлом камергер двора его императорского величества, которого в квартире звали просто Митричем», и прочая квартирная сошка, во главе с ответственной съемщицей Люцией Францевной Пферд). В этих джунглях тщетно пытается укрыться унылое непарнокопытное (Лоханкин). Зато летчик Севрюгов – настоящий сталинский сокол!

Вспомним, что конечная цель Бендера-путешественника – Рио-де-Жанейро. Поэтому тоном будущего колонизатора Остап заявляет: «Куплю плантацию и выпишу в качестве обезьяны Балаганова. Пусть срывает для меня бананы!».

Компонентами путешествия служат приключения героев

Авантюры

Принадлежность к буйной корпорации мнимых детей лейтенанта Шмидта. «Антилопа» – «головная машина автопробега». Визит Остапа к Корейко под видом киевского милиционера. Контора «Рога и копыта». Продажа сценария «Шея» Одесской кинофабрике. Бендер – пассажир литерного поезда. Как представитель кооперативной организации прорывается к Рабиндранату Тагору. Намерен перейти государственную границу.

Комические эпизоды

«Пиво отпускается только членам профсоюза». «Штанов нет». Рецепт самогона. Телеграммы, полученные Корейко. Паниковский – слепой. Лоханкин подвергается порке. Молочные братья пилят гири. Пикейные жилеты. Зиц-председатель Фунт. Берлага в сумасшедшем доме. Агитационный гроб с надписью «Смерть бюрократизму». «Торжественный комплект». Поездка на верблюдах.

Неудачи

Позорное бегство из Удоева. Противохимические учения. Исчезновение Корейко. Пожар в «Вороньей слободке». «Контора умерла». Гибель «Антилопы». Остапа высаживают из литерного поезда. Ему не удается купить самолет. Он не может найти применение своему миллиону. Балаганова уводят в милицию. Бендер отвергнут Зосей. Кавалер ордена Золотого руна, ограбленный и избитый румынской сигуранцей, снова на советском берегу. Прощальная декларация Бендера.

Объекты наблюдений героев

Дорожные впечатления

«…Дорога осталась такой же, какой была при Соловье-разбойнике. Горбатая, покрытая вулканической грязью или засыпанная пылью. Ядовитой, словно порошок от клопов, потянулась отечественная дорога мимо деревень, городков, фабрик и колхозов, протянулась тысячеверстной западней. По ее сторонам, в желтеющих, осквернённых травах, валяются скелеты телег и замученные, издыхающие автомобили».

«Когда остатки армии антилоповцев пересекли долину и перевалили через новый холм, сейчас же за ним открылась маленькая железнодорожная станция. <…> На станции буфета не было. Горела керосиновая лампа. В пассажирском зале дремали на мешках две бабы. Весь железнодорожный персонал бродил по дощатому перрону, тревожно вглядываясь в предрассветную тьму за семафор».

«Раздался гул, задрожала проволока, из гула вылупились волчьи глазки, и короткий блестящий поезд с размаху влетел на станцию. Засияли широкие стекла мягких вагонов, под самым носом антилоповцев пронеслись букеты и винные бутылки вагон-ресторана, на ходу соскочили проводники с фонарями, и перрон сразу наполнился веселым русским говором и иностранной речью».

Окружающая обстановка

«По главной улице на раздвинутых крестьянских ходах везли длинную синюю рельсу. Такой звон и пенье стояли на главной улице, будто возчик в рыбачьей брезентовой прозодежде вез не рельсу, а оглушительную музыкальную ноту. Солнце ломилось в стеклянную витрину магазина наглядных пособий, где над глобусами, черепами и картонной, весело раскрашенной печенью пьяницы дружески обнимались два скелета».

«Июньское утро только начинало формироваться. Акации подрагивали, роняя на плоские камни холодную росу. Уличные птички отщелкивали какую-то веселую дребедень. В конце улицы, внизу, за крышами домов, пылало литое, тяжелое море. Молодые собаки, печально оглядываясь и стуча когтями, взбирались на мусорные ящики».

«Ветер схватил Остапа за плечи и потащил к Приморскому бульвару. Здесь было пустынно, никто не сидел на белых скамейках, изрезанных за лето любовными надписями. На внешний рейд, огибая маяк, выходил низкий грузовик с толстыми прямыми мачтами».

Встречи

«По аллее, в тени августейших лип, склоняясь немного набок, двигался немолодой уже гражданин. Твердая соломенная шляпа с рубчатыми краями боком сидела на его голове. Брюки были настолько коротки, что обнажали белые завязки кальсон. Под усами гражданина, подобно огоньку папиросы, пылал золотой зуб».

«…Из-за угла вынесся извозчичий экипаж. В нем сидел толстяк, у которого под складками синей толстовки угадывалось потное брюхо. Общий вид пассажира вызывал в памяти старинную рекламу патентованной мази, начинавшуюся словами: «Вид голого тела, покрытого волосами, производит отталкивающее впечатление».

«…Остап пошел к Супругову. <…> Супругов не скакал по этажам, не носил альпийского берета, не носил даже заграничных приставских шаровар-гольф. На нем приятно отдыхал взор».

$$E = mc^2$$

Бендер путешествует не для того, чтобы развлечься, – у него есть цель. Он торопится ради нее. И ради собственного спасения. Средства передвижения спешат вместе с ним:

«Козлевич *пустил мотор* и *одним махом взлетел* на свое сиденье. Машина *прыгнула вперед, не дожидаясь* Остапа. <…> Адам Казимирович *нажал педали*. «Антилопа» *заскрежетала и остановилась*. Командор *кувыркнулся* в машину с отчаянным криком: *«Полный ход!»* <…> *Обезумевший* Козлевич *перескочил на третью скорость, машина рванулась…*

– *Самый полный!* – завопил Остап.

И тут жители Лучанска впервые поняли преимущество механического транспорта перед гужевым. Машина *забренчала всеми своими частями и быстро унеслась*, увозя от справедливого наказания четырех правонарушителей».

«На утро четвертого дня пути *поезд взял на восток*. Мимо снеговых цепей – Гималайских отрогов, – *с грохотом перекатываясь* через искусственные сооружения (мостики, трубы для пропуска весенних вод и др.), а также бросая трепетную тень на горные ручьи, литерный поезд *проскочил городок* под тополями и *долго вертелся* у самого бока большой снеговой горы. Не будучи в силах одолеть перевал сразу, литерный подскакивал к горе то справа, то слева, *поворачивал назад, пыхтел, возвращался назад*, *терся о гору* пыльно-зелеными своими боками, всячески хитрил – и *выскочил, наконец, на волю*».

Обратите внимание на глаголы, рождающие скорость, экспрессию, динамику:

«Прохожие *вдруг заторопились*, будто бы их *погнал* ливень. <…> Торговки семечками… *бежали*, выпятив животы, и в их камышовых корзинках среди сыпучего товара *подскакивали* стеклянные стаканчики. Через улицу *вкось промчался* Адольф Николаевич Бомзе. Он благополучно *успел проскочить* в вертящуюся дверь «Геркулеса». *Прогалопировал* на разноцветных лошадках взвод конного резерва милиции. *Промелькнул* краснокрестный автомобиль».

«Люди… *сталкивались*, <…> *разбегались* по многочисленным лестницам и *немедленно* по этим же лестницам *бежали вниз*. В вестибюле они *описывали круг*, *на секунду останавливались*… и снова *пускались наверх с такой прытью, будто бы их стегали сзади мокрым линьком*. *Стремглав проносились* ассистенты, консультанты…»

«…Из дверей конторы… *вышел* человек и, хватаясь за сердце, *пошел прочь*. <…> Сначала он вяло передвигал ноги, потом постепенно *начал ускорять ход*. *Завернув за угол*, бухгалтер… *побежал очертя голову*».

«Тело водителя «Антилопы» *сделало шаг вперед*, но душа его… *рванулась назад*».

Командорскому чину Бендера соответствует энергичная манера передвижения: «Он проследовал мимо взволнованных читательниц парадным шагом…». «В голове процессии, делая гигантские шаги, несся командор». «Начальник отделения носился по городу в желтом автомобиле…»

Мечты героев

В начале повествования Остапу Бендеру необходимы 500 000. Он взял бы частями, но ему нужно сразу. «Вообще-то мне нужно больше, – объясняет он, – пятьсот тысяч – это мой минимум». Зачем? У него есть причина, есть и повод:

«Я хочу уехать, товарищ Шура, очень далеко, в Рио-де-Жанейро».

«Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?»

«Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги. <…> У меня лично есть 400 сравнительно честных способов отъема. <…> Ах, если бы только найти индивида! Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, на блюдечке с голубой каемкой».

Мечты Бендера вместе с жизнеописанием Корейко лежат в папке, где были «пальмы, девушки, синее море, белый пароход, голубые экспрессы, зеркальный автомобиль и Рио-де-Жанейро, волшебный город в глубине бухты, где живут добрые мулаты и подавляющее большинство граждан ходит в белых штанах. Наконец-то великий комбинатор нашел того самого индивида, о котором мечтал всю жизнь».

Он получает вожделенный миллион. (Миллион – хрестоматийное воплощение богатства.) «Вот я и миллионер! – воскликнул Остап с веселым удивлением. – Сбылись мечты идиота! <…> А что я могу на них сделать?.. Купить 50 000 серебряных ложечек, отлить из них конную статую Паниковского и установить на могиле?»

При первом знакомстве с Балагановым Бендер спрашивает: «Какая сумма вам нравится? – Пять тысяч, – быстро ответил Балаганов. – В месяц? – В год». При последней встрече Бендер повторяет вопрос. «Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и наконец объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо».

Мечты Паниковского: «Я вставлю себе золотые зубы и женюсь, ей-богу, женюсь, честное, благородное слово».

Мысли Адама Козлевича сосредоточены на «Антилопе»: «Мой «лорен-дитрих» – добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких бьюиков».

Резюме Остапа: «Балаганов очень мил, но глуп. Паниковский – просто вздорный старик. А Козлевич – ангел без крыльев».

Мотив странствия – один из способов раскрытия характера главного героя

Несколько лет, отделяющих Бендера эпохи «Двенадцати стульев» от эпохи «Золотого теленка», коренным образом меняют внешний и внутренний облик героя. Если в 1927 году он описывается как «красавец с черкесским лицом», сейчас, в 1930-м, это существо иного, высшего порядка: «Атлет с точеным, словно выбитым на монете лицом. Смуглое горло перерезал хрупкий белый шрам. Глаза сверкали грозным весельем»; «Лицо его затвердело и приняло медальные очертания». Не случайно «Балаганов почувствовал вдруг непреодолимое желание вытянуть руки по швам». В первом романе герой наделен чертами авантюриста, похитителя чайных ситечек и гамбсовских стульев. Он не делает программных заявлений, не испытывает мировой скорби и ни в чем, кроме первоклассного авторского юмора, не выходит за рамки собственно плутовского амплуа.

В «Золотом теленке» Бендер становится подлинно великим комбинатором. Погибнув в финале первого романа, во втором он возрождается новым человеком. Его плутовство – не мошенничество ради денег, а искусство ради искусства.

И хотя он по-прежнему наделен способностью к перевоплощению – сын лейтенанта Шмидта («чистая случайность, каприз художника»), командор пробега, беспартийный монархист, советский паломник-пилигрим (бомбейский жрец и любимец Рабиндраната Тагора), невропатолог и психиатр («Я изучаю души своих пациентов. И мне почему-то всегда попадаются очень глупые души»), врач-общественник, потомок янычаров, дирижер симфонического оркестра и пр. – «нечистой работой» это не назовешь. Ему принадлежат интригующие телеграммы и остроумные репризы, он – автор киносценария «Шея» и «Торжественного комплекта», он не глупее журналистов, едущих «на смычку», а главное – и этого у него не отнять – он создатель «Дела Александра Ивановича Корейко» («До самой смерти меня будет тешить мысль, что я избавил общественность от великого сквалыжника»).

Образ Бендера имеет за спиной солидный ряд плутовских персонажей мировой литературы. Авантюрные сюжеты «Золотого теленка» навеяны и «Графом Монте-Кристо», и «Приключениями Шерлока Холмса», и рассказами О'Генри.

Завязку поисков и приключений представляет мотив тайны богатства, которая становится известной герою (Балаганов рассказывает Бендеру о подпольном миллионере). Типичен сюжет с погоней за противником и его исчезновением (Корейко). От героя Дюма идет тактика преследования (Бендер собирает материалы о темном прошлом конторщика). Обнаруживаются реминисценции из Конан Дойла (погибший и воскресший Шерлок Холмс).

Традиционные авантюрные сюжеты спроецированы на советскую действительность. В рассказе Марка Твена банковский билет в миллион фунтов стерлингов становится неразменной монетой, обеспечивающей герою все желаемое. Бендер владеет миллионом, но в советской России нет легальной возможности его потратить. Приехав в Самарканд, он, как Рип ван Винкль в новелле Вашингтона Ирвинга, не узнаёт города. Под видом милиционера командор выручает Паниковского (эпизод построен по известной приключенческой схеме: в «Принце и нищем» Хендон спасает принца от разъяренной толпы; в рассказе О'Генри «Джефф Питерс как личный магнит» Энди Таккер, прикинувшись детективом, уводит компаньона).

Однако было бы в высшей степени несправедливо идентифицировать приключения Бендера как чисто «плутовские»: образ великого комбинатора, интеллектуального, обладающего некой магнетической властью над окружающими, представляет уникальное явление в нашей литературе.

Но и это не все. Как известно, на протяжении веков люди путешествовали с определенной целью – разбогатеть, найти счастливую любовь, излечиться от несчастной, увидеть иные края, поправить здоровье и так далее. Путешествия издавна стали неотъемлемой частью образа жизни.

Вспомним поэтому о «Путешествии Евгения Онегина». Почему? Не будем предполагать, что биография Бендера сходна с биографией пушкинского Онегина, который, *Дожив без цели,*

без трудов / До двадцати шести годов, / Томясь в бездействии досуга / Без службы, без жены, без дел, / Ничем заняться не умел. Не будем сравнивать путешествие Бендера по страницам романа с Путешествием Евгения Онегина, который, как писал великий поэт, *…начал странствие без цели, / Томясь в бездействии пустом*. У Бендера есть цель, а говорить о его бездействии просто смешно!

Поэт пишет: *Им овладело беспокойство, / Охота к перемене мест / (Весьма мучительное свойство, / Немногих добровольный крест).* Согласимся, что эти «свойства», пожалуй, совпадают. Да, Бендер возложил на себя «добровольный крест» преследования подпольного миллионера. По многим причинам эта сложная задача вызывает его «беспокойство» и «охоту к перемене мест».

Но вот путешествие подходит к концу. Миллион в руках великого комбинатора. Почему же герой не чувствует радости?

Он не может истратить свой миллион так, как ему хочется. Он не может жить так, как ему хочется. Бендер открыто связывает себя с Онегиным (и с Айвенго Вальтера Скотта): «Я типичный Евгений Онегин, он же рыцарь, лишенный наследства советской властью». Он продолжает путешествовать по самой прозаической причине: ему негде преклонить голову: «Ему надоели вагоны, верхние и нижние диваны, весь трясущийся мир путешествий». Настроение Бендера вполне соответствует настроению Онегина: *И путешествия ему, / Как всё на свете, надоели*. «Тело мое прописано в гостинице «Каир», а душа манкирует, ей даже в Рио-де-Жанейро не хочется», – вторит ему Остап.

«Все это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет, – со злостью говорит он. – И вообще последний город – это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. <…> Заграница – это миф о загробной жизни. Кто туда попадет, тот не возвращается».

Помните ли вы тот вечер на Турксибе, когда Бендер добился своего миллиона?

«Остап вдруг опечалился. Его поразила обыденность обстановки, ему показалось странным, что мир не переменился сию же секунду и что ничего, решительно ничего не произошло вокруг. И хотя он знал, что никаких таинственных пещер, бочонков с золотом и лампочек Аладдина в наше суровое время не полагается,

все же ему стало чего-то жалко. <…> Тайна раскрыта, цель достигнута, делать больше нечего, и надо менять профессию».

Менять профессию… Разочарованию Бендера эхом откликается его финальная декларация: «Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы!».

Путешествие командора и его приключения закончились на льду Приднестровья. Закончились не традиционным *прощанием с родиной* (вспомним байроновского Чайльд-Гарольда, героя, совсем не чуждого русской литературе: «Прощай, прощай, родимый брег…»), а *возвращением* – без миллиона, без иллюзий, с одним только трофеем – чудом сохранившимся в битве орденом Золотого Руна.

* * *

Виктор Шкловский, которого мы цитировали в начале предисловия, сумел оценить приключенческий «привкус» в сочинениях Ильфа и Петрова. В год выхода романа «Золотой теленок» (1933) он сблизил соавторов с героями книг о путешествиях и приключениях:

«Ильф и Петров – чрезвычайно талантливые люди.

Когда я их вижу, я вспоминаю Марка Твена. Мне кажется, что чуть печальный Ильф… – Том Сойер. Фантаст, человек литературный, знающий про лампу Аладдина и подвиги Дон Кихота, он человек западный, культурный, опечаленный культурой. Петров – Гек Финн… мне кажется, что Петров смеется, когда пишет».

Москва

Сергей Седых

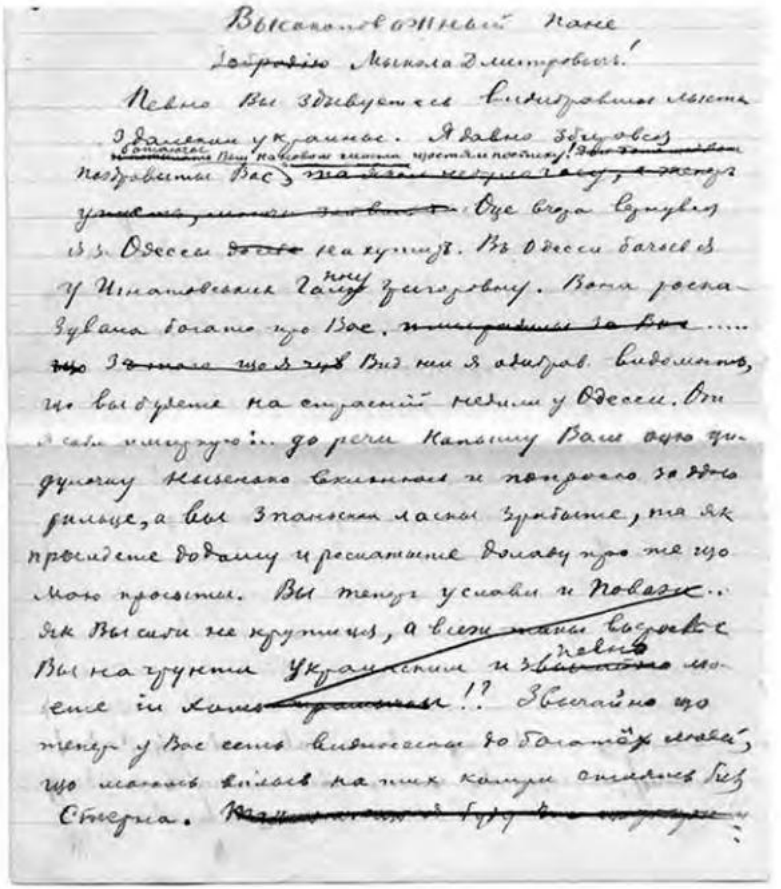
Артист и художник

Корифей украинского театра П.К. Саксаганский тесно связан с Одессой, начиная с юношеских лет, когда учился в Одесской юнкерской школе. Позже в течение многих лет ему приходилось по два-три месяца проводить здесь на гастролях. Со временем у него сложился круг одесских друзей и знакомых. Об одном таком знакомстве и рассказало письмо Панаса Карповича Саксаганского к известному одесскому живописцу, академику, одному из учредителей Товарищества южнорусских художников Николаю Дмитриевичу Кузнецову. Письмо это было обнаружено в архиве[1], находящемся у Петра Богдановича Тобилевича – правнука великого актера.

Приводим текст на языке оригинала (особенности письма автора сохранены):

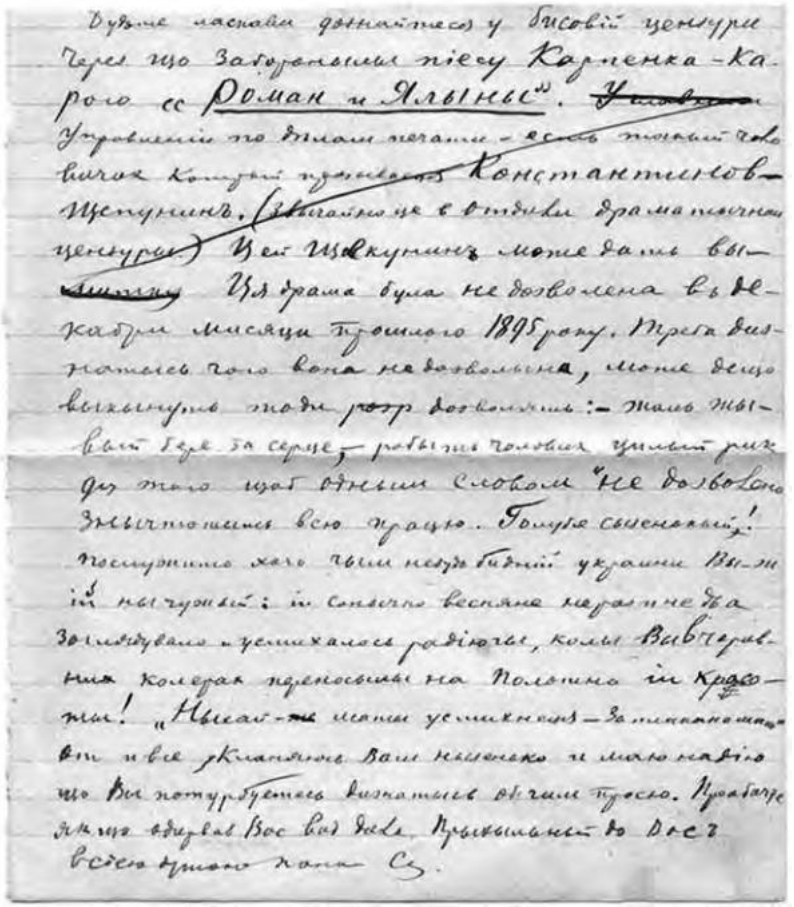
Високоповажний пане добродию Микола Дмитрович!

Певно Ви здывуетесь, видибравши лыста з далекои Украины. Я давно збирався поздоровити Вас, бажаючы Вам на новом мисти щастя и поспиху! Оце вчора вернувся я з Одессы до себе на хутир. В Одесси бачыв я у Игнатовських Ганну Григоровну. Вона росказувала багато про Вас. И мы радилы за Вас… З того що я чув вид неи я одибрав видомость, що Ви будете на страсний недили у Одесси. От я соби и миркую: …до речи напышу Вам оцю цидулочку, нызенько вклонюсь и попросю за одно дильце, а Вы з паньскои ласкы зрабыте, та як прыидите до дому и роскажыте доладу про те, що маю просыты. Вы тепер у слави и повази… як Ви сиби не крутиця, а все ж такы виросли Вы на грунти украинским и, певне, любите ии, хоть трошычкы!?.. Звычайно що тепер у Вас есть видносыны до багатех людей,



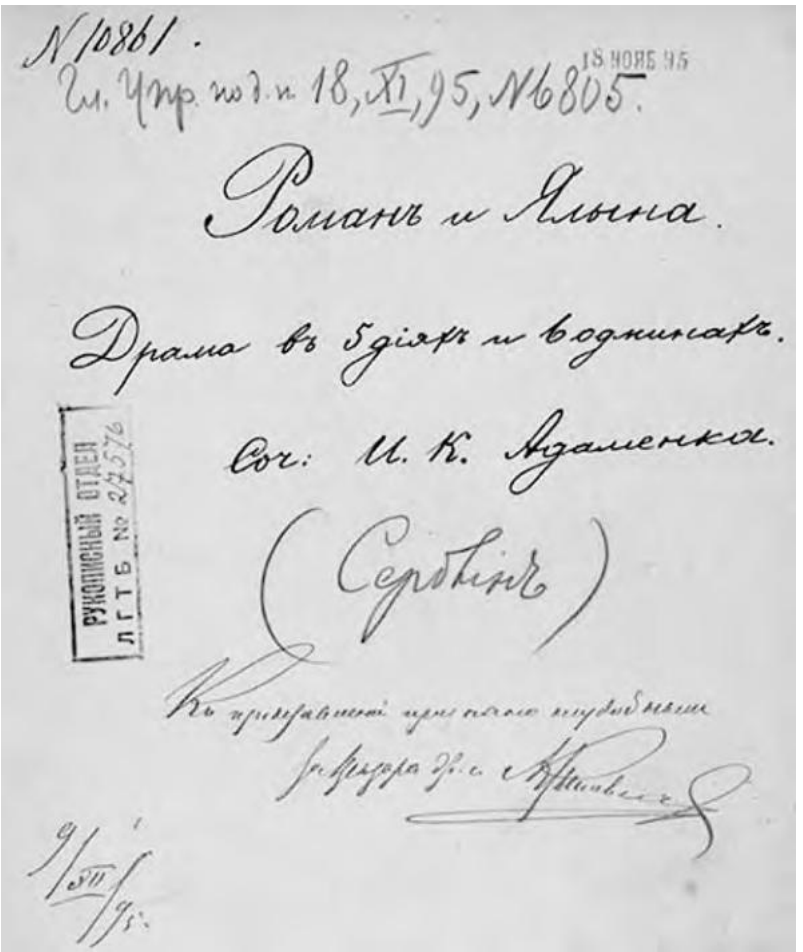
що мають вплыв на тих, котри стоять биля Стерна. [Неразборчиво, зачеркнуто]

Будьте ласкавиі, дизнайтеся у бисовий цензури, через що заборонили пиесу Карпенка-Карого «Роман и Ялина». У главном Управлении по делам печати есть такый чоловичок, котрий прозиваецся Константинов-Щекунин (звычайно це в отдили драматичнои цензури). Цей Щекунин може дать випитку. Ця драма була недо-



Черновик письма П.К. Саксаганского к Н.Д. Кузнецову. Архив Саксаганского (Москва)

зволена в декабри мисяци прошлого 1895 року. Треба дизнатысь чого вона не дозволына, може дещо выкынуть тоди дозволять: жаль жывый бере за серце, робыть чоловик цилый рик для того, щоб одным словом «не дозволено» знычтожыть всю працю. Голубе сызенький! Послужить хоч чым-небудь бидний Украини. Вы же ий не чужий: ии сонычко весняне не раз и не два заглядувало



Титульный лист рукописи драмы «Роман и Ялина». СПбГТБ

и усмихалось, радиючы, коли Ви в чаривних колерах переносылы на полотно ии красоты! «Ныхай – же маты усмихнеця, заплакана мати» – от: все. Кланяюсь Вам низенько и маю надию, що Ви потурбуетесь дизнатысь об чим просю. Пробачте, як що одірвав Вас вид дила.

Прыхыльний до Вас всиею душою Панас С[аксаганський]».

Письмо датировано 1896 годом и написано после посещения Одессы. Гастроли летнего сезона 1896 года «Товарищества русско-малороссийских артистов под управлением А.К. Саксаганского» начались в Николаеве (27.03 – 19.04) и продолжились в Одессе (21.04 – 5.05)[2]. Письмо написано до страстной недели, которая в 1896 году приходилась на период с 18 по 24 марта. Скорее всего, Саксаганский посетил Одессу не в период гастролей, а во время отдыха от представлений в феврале – начале марта 1896 года. Тогда же и было написано письмо.


ЗОРЯ
ІЛЮСТРОВАНЕ ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВЕ ПИСЬМО ДЛЯ РОДИНИ
ВИДАВАНЕ
НАУКОВИМ ТОВАРИСТВОМ ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА
під управою
Василя Лукича.
Одповідний за редакцію: ЮСТЪ ПАЛЬМІЯНЧИЙ.
РІЧНИК СІМНАЙЦЯТИЙ.
1896
У ЛЬВОВІ, 1896

Журнал «Зоря» № 20, 1896 г.
Из собрания Т. Максимюка

Саксаганский упоминает, что П. К. встретил Анну Григорьевну у Игнатовских. В «Адрес-календаре» имеются сведения о титулярном советнике Игнатовском Николае Сергеевиче, «враче по хирургическим и заразным болезням», числящимся сверхштатным ординатором при Одесской городской больнице[3]. Примечательно то, что много лет он проживал по ул. Херсонской в доме № 36 – по этому адресу ранее проживал Илья Ильич Мечников (на доме установлена мемориальная доска), там же много лет проживала семья Кузнецовых, а в 1896 году жила мать Николая Дмитриевича Клавдия Гавриловна. И именно в этом доме Саксаганский встретил жену Н.Д. Кузнецова Анну Григорьевну. В кругу семьи ее называли Галей. И то, что в черновике письма первоначально было написано имя Галя, а потом исправлено на Ганна, говорит о дружеских отношениях с семьей Кузнецовых. А. Г. рассказала Саксаганскому о том, что ее мужа пригласили в Императорскую Академию художеств на должность профессора, и теперь он работает в столице. Кузнецов приехал в Одессу



РУССКІЙ ТЕАТРЪ

Въ Четвергъ, 8-го Января 1898 года.

А. К. САКСАГАНСКАГО

ВЪ БЕНЕФИСЪ

П. К. КАРПЕНКО-КАРАГО

ЛЫХА ИСКРА

ПОЛЕ СПАЛЫТЬ И САМА СГЕЗНЕ

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

МОЛЧАНІЕ

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Начало въ 8 час. вечера.

Афиша 1898 г.
Кировоградский краеведческий музей

из Петербурга, как и предполагалось, перед Пасхой. В письме к своему другу художнику В.Д. Поленову, отправленном из Одессы 4 апреля 1896 года, он упоминает о своем спешном отъезде из Петербурга в связи с болезнью.[4]

Удалось ли Кузнецову помочь братьям Тобилевичам, неизвестно.

Но сам предмет просьбы представляет интерес. Пьеса «Роман и Ялина» была написана И.К. Карпенко-Карым в 1895 году и подана в ноябре этого же года в Главное управление цензуры по драматическим произведениям как сочинение И.К. Адаменко. Этот экземпляр рукописи хранится в Санкт-Петербургской театральной библиотеке, и на его титуле есть рукописная надпись красными чернилами: *«9/XII – 95 г. К представлению признано неудобным»*[5]. Видимо, этот вердикт и стал причиной написания письма.

Несмотря на запрет к постановке, драма печатается в 1896 году под названием «Сербин» во львовском журнале «Зоря», № 20-24, и в 1897 г. во Львове в сборнике сочинений И.К. Тобилевича (Карпенко-Карого). Вероятно, как «Сербин» она повторно направлялась в Управление цензуры, и снова был получен отказ. А на рукописи «Романа и Ялины», которая подавалась ранее, бдительный цензор напи-

сал грифельным карандашом – «Сербин». Тем самым давая понять, что уловку Тобилевича он распознал.

И все же пьеса дошла до зрителя. Помог случай. А путь оказался вечный, как мир…

Вот как об этом вспоминал Панас Карпович: «*Ще за піст брат написав дві п'єси: «Понад Дніпром» та «Чумаки» і одіслав в цензуру: раніш написану п'єсу «Сербин». Цю п'єсу не дозволили. Карпенко перемінив назву на «Лиха іскра поле спалить і сама щезне» і знову послав «на дибу». Коли я переписував п'єсу, то, роздивляючись заборонений примірник, брат Іван звернув увагу на підпис: «за правителя дел Зюнзя». – «Знаєш, брате, цікаве прізвище: чи не любить ця Зюнзя випить? Зроблю так: пославши до цензури п'єсу, надішлю йому 25 карбованців і напишу, що, здається, забув наліпити марки і ласкаво прошу виправити мою помилку». Так і зроблено. П'єси завжди лежали в цензурному «застінку» по два-три місяці, а дякуючи тому, що Зюнзя «наліпив марки», за літо ми одержали дозволені цензурою «Чумаки» (18 червня 1897 року № 4457), разом прислано і «Понад Дніпром». А «Лиха іскра» дозволена в вересні 1897 р.»*[6]


ИВАНЪ ТОБИЛЕВИЧЪ (Карпенко-Карый).

Драмы и Комедіи.

Томъ III.

VII ОТДѢЛЪ

1681

ОДЕССА.

1903.

Обложка издания «Драмы и комедии. Том III»



Н.Д. Кузнецов. «П.К. Саксаганский в образе казака»



Н.Д. Кузнецов. Портрет П.К. Саксаганского



Н.Д. Кузнецов. П.К. Саксаганский
в роли Харька Ледачего в пьесе «Паливода XVIII столетия» И. Карпенко-Карого

Под этим названием драма была поставлена на сцене. Премьера ее состоялась в 1897 году в Херсоне и 3 декабря этого же года с большим успехом была показана в Одессе. «Одесская газета» в отзыве на спектакль писала: *«...новая пьеса г. И.К. Тобилевича... очень красива в исполнении, блещет роскошью костюмов и разыграна труппой образцово».*[7]

В последней редакции произведение напечатано было в Одессе в 1903 году типографией Акционерного южнорусского общества печатного дела как «Лиха іскра поле спалить і сама щезне» в третьем томе «Драм и комедий».

Вернемся к отношениям талантливого актера и известного художника. Когда состоялось их знакомство, достоверно не известно. Давая лестные отзывы о его живописи, автор письма знал о ней не понаслышке. В доме хранились портреты, написанные Кузнецовым, которые являются документальным подтверждением их встреч. После смерти великого артиста картины были переданы его супругой Н.М. Тобилевич в Государственный музей театрального, музыкального и киноискуства Украины.

Портреты написаны в 1894 году, но датированы только два из них – «Портрет П.К. Саксаганского» и «Портрет П.К. Саксаганского в роли Харька Ледачего в пьесе «Паливода XVIII столетия». «П.К. Саксаганский в образе казака»[8] без даты.

Саксаганский и Кузнецов могли встречаться в 1894 году в Одессе во время зимних гастролей «Театра», проходивших с 8 декабря по 24 февраля в сезоне 1893/94.

В это же время состоялась премьера пьесы «Паливода XVIII столетия». «Ведомости Одесского градоначальства» писали: *«Г. Саксаганский (Харько Ледачий) был героем этого спектакля. Каждый жест, каждое слово артиста вызывали всеобщее одобрение»*[9]. Сам Саксаганский вспоминал*: «Успіх ми мали великий, особливо п'єса «Паливода», що пройшла 15 раз у новому театрі й два рази в оперному...»*[10].

В настоящее время портеты переданы на хранение в Музей выдающихся деятелей украинской культуры (Киев) и находятся в экспозиции постоянно действующей выставки, посвященной жизни и творчеству Саксаганского, расположенной в помещении



Панас Карпович Саксаганский с женой Ниной Митрофановной Левченко



П.К. Саксаганский в своем кабинете
На заднем плане видна работа Н.Д. Кузнецова
Фотографии предоставил П.Б. Тобилевич

музея М. Старицкого. Надо надеяться, что после предполагаемого открытия музея П.К. Саксаганского в его киевской квартире, где он прожил многие годы, на улице Жилянской в доме № 96, портреты вернутся домой.

Примечания

[1] Архив П.К. Саксаганского. Хранится у П.Б. Тобилевича (Москва).

[2] Тобілевич Б.П. Панас Карпович Саксаганський / Б.П. Тобілевич. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1957, с. 305.

[3] Адрес-календарь. 1896. О., 1896, с. 314, 347.

[4] ОР ГТГ, ф. 54, ед. хр. 2510, л. 1.

[5] СПбГТБ, инв. № 23381.

[6] Саксаганський П. Театр і життя: мемуари / П. Саксаганський. – Харьків: Рух, 1932.

[7] Русский театр // Одес. газ. – 1897, 4 дек., № 318, (В мире искусств).

[8] В Музее выдающихся деятелей украинской культуры картина значится как «Портрет П.К. Саксаганского в казацкой одежде».

[9] Малорусские спектакли: [«Паливода XVIII століття»] // Ведомости Одес. градоначальства. – 1894, 12 февр., № 34.

[10] Саксаганський П. Театр і життя: мемуари / П. Саксаганський. – Харьків: Рух, 1932.

Ефим Бершин

Песочные часы Юрия Левитанского

По стихам Юрия Левитанского гуляет сквозняк. Всегда. О чем бы ни писал – сквозняк. Как будто он жил с дырой в стене. С дырой, из которой время от времени появлялись не видимые другим люди, выползали не ведомые другим события, звучала не слышимая другими музыка. А иногда вместе с этим в комнату просто врывалась снежная буря или проливной дождь. Но чаще сквозняк почти незаметно уносил в эту дыру все, без чего вчера еще жизнь казалась немыслимой. Всех, без кого жизнь – не жизнь. И засыпало снегом времени.

> Снегом времени нас заносит – все больше белеем.
> Многих и вовсе в этом снегу погребли.

Погребли, оставив лишь

> …Море Терпенья. Берег Забвенья. Бухта отчаянья.
> Последней Надежды туманные острова…

И изумленный Левитанский, понимая и в то же время по-детски не понимая, что происходит, вдруг выдохнул: «Робот храпит у меня за стеною».

Что ж, робот так робот. Неважно. Важно другое: этот «кто-то» за стенкой, с которым он жил, беседовал, спорил, умиротворял, – никуда и никогда не исчезал. Этот робот прописывался везде, где прописывался Левитанский. Он был полноправным членом семьи. Даже не так – он был главным членом семьи. Беспокойным. Иногда буйным. Всегда чужеродным. Сожителем,

с которым родственные связи вроде бы и не прослеживались, но оказались более прочными, чем любые родственные узы. Попытки его умиротворить, конечно, ни к чему не привели и привести не могли. При всей детской и недетской мудрости Левитанского.

Вот эта дыра в стене, этот постоянный сквозняк и порождали в Левитанском ощущение постоянной бездомности. Будто не в доме, не в квартире жил. И даже не в чужой квартире – на заметенном перекрестке, со всех сторон продуваемом, где нет ни указателей, ни светофоров. А видимость выбора четырех дорог – только видимость выбора четырех дорог. И – вечный выбор пятой, шестой, седьмой, куда никакие указатели не ведут. Вот и стоял. Обездомленный.

* * *

Но Левитанский не был бы Левитанским, если бы не попытался и этот ужас осветить своим собственным, таким неповторимым, таким теплым светом. Левитанский не был бы Левитанским, если бы не попытался согреть этот вечный ползущий из стены холод, вывернуть все наизнанку. Создать или даже просто осознать все это как праздник. Пусть и грустный праздник, но все-таки праздник:

Светлый праздник бездомности,
тихий свет без огня.
Ощущенье бездонности
августовского дня…

Левитанский был мудрым и неторопливым не только в суждениях. Но и в жизни. Многим, кто знал внешнюю канву жизни поэта, это утверждение покажется чрезвычайно спорным. Ну, как же:

Были смерти, рожденья, разлады, разрывы –
разрывы сердец и распады семей –
возвращенья, уходы…

Да, было. Все было. Но не просто «разрывы сердец и распады семей», не просто «возвращенья, уходы», после которых – новый «светлый праздник бездомности». Все это – почти безысходная попытка примирить свою жизнь с требованиями того самого робота, что храпит за стеною. С этим бесконечным сквозняком, одновременно дающим и отбирающим все самое ценное, что было в его жизни. Отбирающим близких, отбирающим покой, отбирающим саму жизнь. Но дающим стихи, а значит, и жизнь тоже. Тут никакой мудрости не хватит. Нельзя победить стихию, как нельзя победить Бога. Но можно попытаться договориться. Вот он и договаривался.

Замирая, следил, как огонь подступает к дровам.
Подбирал себя так, как мотив подбирают к словам…

Это – мудрость. Мудрость, проявляемая в сверхжестких условиях отсутствия выбора.

Переезжая с места на место, с одной квартиры на другую, Левитанский неизменно перевозил за собой свой сквозняк, свою дыру, своего робота. И вскоре выяснялось, что опять, как в этом же стихотворении, после того как

…доиграла шарманка, в печи догорели дрова.
Как трава на пожаре, остались от песни слова.

И – «стоят холода, и стоят над землей холода». Все сначала. Правда, «остались от песни слова». Не в этом ли главное?

* * *

Левитанский писал даже не отдельные стихи, а целые книги. Мыслил – книгами. Потому и не ставил под стихами дат написания. Видимо, так. И сегодня сложно определить, когда именно были написаны «Песочные часы». Если впервые они попали в книгу «День такой-то», то и написаны были где-то в первой половине семидесятых. Значит, тогда и мелькнула эта мысль… Или не мысль даже – ощущение безысходности перемещения

из одного пространства в другое. Перемещения и возвращения. Через ту самую дыру. Через ту маленькую безысходно втягивающую в себя воронку, так похожую на воронку песочных часов. Туда-назад. Безысходно – потому что полагал, будто мы не властны над теми, кто переворачивает где-то над нами «два конуса стеклянных». И Левитанский (опять же о мудрости, безысходной, обреченной мудрости) сумел осознать себя одной из песчинок, струящихся сквозь воронку пространства и времени.

Я был частицей этого песка,
частицей бесконечного потока,
вершащего неутомимый бег
меж двух огромных конусов стеклянных…

Он жил в том пространстве и в том времени, где от человека мало что зависит. Он общался с теми силами, с которыми не поспоришь. Мужество в данном случае – не спорить с тем и теми, с кем спорить бесполезно. Левитанский, зная историю Иова, оказался мудрее Иова. Мужество в том, чтобы на этом фоне заставить себя жить обычной жизнью, хотя уже и «проснуться было так неинтересно». Мужество в том, чтобы все-таки просыпаться, все-таки вставать, бриться, пить чай, кому-то помогать, совершать поступки

…между тем как день
все время просыпался,
просыпался,
пересыпался,
сыпался
и тек
меж пальцев, как песок
в часах песочных,
покуда весь просыпался,
истек
по желобку меж конусов стеклянных,
и верхний конус надо мной был пуст,
и там уже поблескивали звезды,

и можно было вновь идти домой
и лечь в постель,
и лампу погасить,
и ждать,
покуда кто-то надо мной
перевернет песочные часы,
переместив два конуса стеклянных,
и снова слушать,
как течет песок,
неспешное отсчитывая время.

Так вот. Песочные часы. Лабораторная колба времени. Туда-сюда. Песок перемещается из пространства в пространство сквозь узкую горловину. По песчинке, по человеко-песчинке, «по желобку вдоль конусов стеклянных». Зачем? Чтобы попасть из одного замкнутого пространства в другое, в котором только и может быть актуальным то, что мы называем временем? Время не живет на свободе – только в замкнутой на все засовы камере человеческого бытия. И что? Спастись, проникнув сквозь игольное ушко за стену крепости, где стены будут уже со всех сторон?

И кто переворачивает эти часы? «Кто-то надо мной…»? Тут не хочется соглашаться с Левитанским. Не «кто-то» – сам человек и переворачивает. Иначе не умеет. Страшно. Так и возникает супрематическое время.

* * *

В «Разговоре о Данте» Мандельштам пишет о том, что Дант, «соединив несоединимое, изменил структуру времени» или даже «вынужден был пойти на глоссолалию фактов, на синхронизм разорванных веками событий, имен и преданий именно потому, что слышал обертоны времени». И приходит к выводу, что Дант создал образ «стояния времени». Любопытно. Встав перед проблемой соединить события разных лет, Дант умудрился просто-напросто остановить время.

Левитанский выбрал образ замкнутого времени. Метафору замкнутого времени. Но метафору столь видимую, столь

прозрачную (как сами песочные часы), что она выбивается даже за само представление о метафорах.

У Левитанского все метафоры – прозрачны, видны насквозь. Одна из самых гениальных метафор века – его, Левитанского, из стихотворения «Ну что с того, что я там был…»:

Я лед кровавый в январе.
Я прочно впаян в этот лед –
я в нем, как мушка в янтаре.

Даже зная факт его военной биографии, зная, что при обороне Москвы он лежал на снегу, льду сорок первого года за пулеметом рядом со своим другом и поэтом Семеном Гудзенко, все равно поражаешься. Потому что надо было еще себя увидеть с той немыслимой высоты, откуда война, кровь, оборона, холод сливаются в одну застывшую мертвую точку «мушки в янтаре». И благодаря этой точке пространство войны открывается намного реальнее, явственнее, шире, чем при прочтении многотомных произведений.

Не та ли это точка песочных часов, сквозь которую просачивается время?

Опять же согласимся с Мандельштамом: «Определить метафору можно только метафорически». Развить – тоже. Метафора – ключ в иное видение, ключ к иному пространству и даже иному времени, если таковое существует. Поэтому понять и продлить заключенный Левитанским в метафору путь можно только тем же способом – метафорически. Уйдя от привычной, давно навязшей в зубах, а то и опошленной внешней биографической канвы. «Ну что с того, что я там был». И действительно, то, что он «там был», и не только там, а во множестве других мест, – все это меркнет перед одной маленькой мушкой в янтаре.

* * *

Координаты времени условны.
Привычно говорим – задолго до.
До нас. До наших дней. До нашей эры.

До Рима. До Пилата. До Голгофы.
До Ноя. До ковчега. До потопа.
История – вся сплошь – задолго до.
Живущие меж прошлым и грядущим,
все тщимся заглянуть как можно дальше.
За нами – тьма, и перед нами – тьма.
Так и живем меж тою тьмой и этой,
на крохотном пространстве между ними…

Итак: что если оторвать у песочных часов днища? Горловину оставить, а днища оторвать. И тогда то, что сумеет просочиться, все эти песчинки и человеко-песчинки уйдут в совершенно бездонное пространство. Туда, где «уже поблескивали звезды». Туда, где образуется нановремя. Кстати, известный американский ученый Ричард Фейнман, предтеча нанотехнологий, сделав свое открытие, восторженно воскликнул перед переполненной аудиторией: «В том мире полно места!». Левитанский это понял без Фейнмана, хотя и не мыслил нанокатегориями.

Или не понял, нет. Услышал, почувствовал. Увидел. Да и как было не почувствовать, если вся жизнь его (не образ жизни, а именно жизнь) стремилась за пределы замкнутого времени, туда, где «за нами – тьма, и перед нами – тьма».

Он все-таки попытался оторвать днища песочных часов, чтобы обрести свободу. И вечность обрести. Не без сомнений, конечно. Не без боли. Не без грусти. Не без ностальгического желания вновь попасть «туда, в года неведенья, где так малы и так наивны сведенья…». А кто такого желания не испытывает? Кому приятно жить в продуваемом всеми ветрами пространстве, если так «приятно вспомнить, засыпая, что держится земля на трех китах»?

…и просыпаясь –
да, на трех китах
надежно и устойчиво покоится,
и ни о чем не надо беспокоиться,
и мир – сама устойчивость,
сама
гармония,

а не бездонный хаос,
не эта убегающая тьма,
имеющая склонность к расширенью…

В своей манере, конечно, сделал. При помощи формы. Вернее, ее отрицания. Впрочем, и это неточно. Просто Левитанский доказал, что гармония лежит за пределами формы. И это стало инструментом, ключом, попыткой разгадки тайны вечного сквозняка.

* * *

Итак, три проблемы: хаос, гармония и форма. Ключ к решению – ощущение ритмов. По общему заблуждению, ритмы имеют отношение исключительно ко времени. Но это не так. Далеко не так. Так – если говорить о времени замкнутом. Но если речь о нановремени, почти недоступном человеческому восприятию, то ритмы – нечто совсем другое. Это – жизнь. Это до-жизнь, это после-жизнь. До нас и после нас. Это – всегда и везде. Это пульсирующая вечность. Левитанский это почувствовал, увидел «нанозрением»:

Только ритмы, одни только ритмы,
бесконечное множество ритмов,
их биенье, круженье, теченье,
и пересеченье,
и противоборство.
Вся Вселенная – скопище ритмов,
грандиозная ярмарка ритмов,
их ристалище,
форум, арена.

Уж согласимся, что в привычное понимание понятия «ритм» ни круженье, ни пересеченье, ни тем более противоборство никак не укладывается. «Ристалище, форум, арена» – тем более. Что же это?

Это ритмы вселенского хаоса. Или того, что нам кажется хаосом.

«Хаос – это тот порядок, который был разрушен при сотворении мира», – как-то пошутил Станислав Ежи Лец. Но в этой шутке – никакой шутки. Потому что хаос – действительно порядок. Иной порядок. И мы со своим земным порядком – часть всемирного хаоса, часть той непостижимой для обычного человека гармонии, существовать в которой страшно. Гармония хаоса, переведенная на язык земного порядка, еще воспринимается. В чистом виде – нет. Когда Левитанскому стало тесно в его песочных часах, когда он догадался, что «вся Вселенная – скопище ритмов», и сам заявился на эту «грандиозную ярмарку ритмов», в нем свершилась революция. Она пылала, то затихая, то раскаляясь вновь и в «Кинематографе», и в «Дне таком-то», а окончательно победила в «Прогулках с Фаустом». И он уже мог написать со знанием дела:

…на волнах одного только ритма
плавно качаюсь.
Как прекрасны его изгибы и повороты…

Причем не метаморфоза, а замечательная метафора случилась в нем самом. Его революция оказалась опять же метафоричной. Потому что он вскрыл не только верхний конус песочных часов, где «уже поблескивали звезды», но и нижний, разглядев своим удивительным зрением сходство между ритмами Вселенной и ритмами памяти.

Бездна памяти, расширяющаяся Вселенная,
вся из края в край обжитая и заселенная,
вместе с вьюгами, снегопадами и метелями,
как реликтовый лес не вянущий, вся зеленая.

Бездна памяти, беспредельное мироздание,
расходящиеся галактики и туманности,
где все давнее
только четче и первозданнее,
очевиднее и яснее до самой малости.

И ведь действительно память пульсирует именно так – множеством пересекающихся и противоборствующих ритмов. В ней сверкает, кричит и пенится настоящая ярмарка, где каждое воспоминание норовит перекричать, перепульсировать другое, соседнее. Хотя – какое соседство в бесконечности?

Хорошо: увидел, услышал, почувствовал. Что? «Эту убегающую тьму, имеющую склонность к расширенью»? Тьму впереди и тьму позади? И что с этим делать? Гармонизировать такой хаос – это вам не стихи на злобу дня и ночи со сцены Лужников или Политехнического. И Левитанский осторожно, в своей неповторимой лирической манере начал нащупывать гармонию этой тьмы, гармонию того, что по нашим земным меркам вполне можно было бы назвать дисгармонией. Иную гармонию. И оказалось, что она лежит за пределами привычных стихотворных форм. Да и вообще – за пределами формы. В том числе – за пределами формы песочных часов.

* * *

Перечитываю свои же слова, написанные почти сразу же после смерти Левитанского в 1996 году: «Перед русской поэзией XX века у Левитанского есть две бесспорные заслуги: во-первых, он реанимировал глагол, а во-вторых, доказал, что строка может длиться целую вечность, не теряя при этом своей естественности, органичности. После Пушкина никто, кажется, так не любил глаголы, никто их так изысканно не рифмовал, не перекатывал по строке, как волна перекатывает гальку – шурша и звеня. А рифмовал их настолько виртуозно, что складывалось впечатление, будто до него эти глаголы никто и нигде не употреблял. И еще в этом был прямой вызов тем, кто пытается и для поэзии устанавливать какие-то каноны и правила, в частности тем окололитературным снобам, которые почему-то вдруг решили, что глагольная рифма – дурной тон. А традицию понимают как нечто предписанное, связывая ее, в основном, с формой, забывая, что главное-то – в степени таланта, в образе дыхания».

Но право же, не в этом суть,
и спорить о свободе метра –
как спорить о свободе ветра,
решая, *как* он должен дуть.

Конечно, Левитанский, подневольный, или, грубее говоря, раб собственного сквозняка, знал, о чем говорил. Он знал, что «ветер, дождь или трава свободны по своей природе», и приравнял к ним поэзию. Потому что «стих, он тоже в этом роде, его природа такова».

Сделав стих частью природы, слив воедино природу и поэзию, Левитанский обрел свободу. Парадоксально, но факт: он обрел свободу в рабстве. Если слить стих или самому слиться с окружающей средой (какой бы она ни была, кстати), свобода является незамедлительно. Так же парадоксально когда-то написал об этом Григорий Померанц, поведав, что никогда не чувствовал себя таким свободным, как в лагере (это в сталинском-то лагере!), когда они с другом в лютый мороз бродили по вечерам вдоль колючей проволоки и рассуждали о литературе и философии. Объяснить все это сложно. Далеко не все поняли и одобрили, что неудивительно. Как не все поняли, что именно имеет в виду Левитанский, говоря о свободном стихе. А дело просто «в степени свободы», достигнутой в предлагаемых обстоятельствах.

О, только б не попутал бес,
и стих по форме и по мысли
свободным был бы
в *этом* смысле,
а там – хоть в рифму или без!

Бес, кстати, попутал многих. В девяностые годы, когда на нас обрушился не тот, вселенский, а реальный социальный хаос, молодые и не только молодые поэты, не умея разобраться в его природе, принялись его просто-напросто… украшать. Каких только форм не напридумывали! Отменили знаки препинания – то ли умышленно, то ли по недостатку грамотности. На публичных выступлениях издавали какие-то звериные вопли, выдавая это за поэзию. Ну а большей частью пытались преподнести читателю какой-то не осознанный

ими самими поток даже не сознания, а подсознания. Разумеется, с натужным, неестественным, нарочитым уходом от классических форм стихосложения. Чем нелепее – тем оригинальнее.

Левитанский владел абсолютным мастерством, любой формой. Что, в частности, доказал в своих пародиях на известных поэтов. Это единственный из известных мне случаев, когда пародисту удалось спародировать не отдельно выдернутые строки, а все – стиль, словарь, образ мышления пародируемого. Словом, явил высшее мастерство. Отказ от привычных форм у Левитанского не натужен, не экспериментален, а именно гармоничен. Органичен. Потому что он пошел не за формой. А за гармонией. Именно гармония, именно его новая свобода, лежащая за пределами песочных часов, продиктовала ему длину строки, которую, как оказалось, можно длить и длить бесконечно:

Красный боярышник, веточка, весть о пожаре,
смятенье,
гуденье набата.
Все ты мне видишься где-то за снегом, за вьюгой,
за пологом вьюги,
среди снегопада.
В красных сапожках, в малиновой шубке,
боярышня, девочка,
елочный шарик малиновый
где-то за снегом, за вьюгой,
за пологом белым бурана.
Что занесло тебя в это круженье январского снега –
тебе еще время не вышло,
тебе еще рано!

Казалось бы, так не бывает. И тем не менее, стих абсолютно гармоничен, естествен и даже классичен, несмотря на явный уход от «четырехстопных», «пятистопных» и прочих ямбов. Складывается впечатление, что сама конфигурация, сам рисунок строки – черпак, предназначенный для того, чтобы ту самую бесконечную тьму, пустоту, саму вечность зачерпывать и подавать к писательскому столу с целью гармонизации.

Освободившись, Левитанский не то чтобы перестал обращать внимание на классические формы – просто он не гармонию втискивал в формы, а формы заставлял служить гармонии. И появились стихи «хоть в рифму или без». В одном и том же стихотворении рифма у него может появляться и исчезать. Один и тот же стих из ритмичного и рифмованного может переходить в белый, свободный. А потом возвращаться на круги. Для него, владевшего рифмой и вообще словом, как мало кто другой, это не составляло проблемы. При этом он не был упрямым в своем реформаторстве, отдавая дань и классическому стиху тоже. Важным было другое – свобода. Важным было само движенье. Остальное не то чтобы уже не имело значения, имело, конечно, но он не был властен над тем, что ему предстояло открыть.

И почти незаметное, медленное продвиженье,
передвиженье медленное, на семь слогов,
на семь музыкальных знаков, передвиженье,
на семь изначальных звуков, на семь шагов,

и восхожденье, медленное восхожденье,
передвиженье к невидимой той гряде,
где почти не имеет значенья до или после,
и совсем не имеет значенья, когда и где…

Французский художник, писатель и сценарист Жан Кокто написал, что «художник сначала находит, а потом – ищет». Я бы уточнил: свободный художник. К Левитанскому это относится в полной мере. Он сначала находил, а потом уже, иногда через много лет, предпринимал попытку осмыслить найденное. Находил, а потом уже искал, что же это он такое нашел.

* * *

В годы нашего общения я был молод, задирист и многого не понимал. Левитанский понимал, что я не понимаю, но относился к этому снисходительно. «Еще немного поживете – поймете», – приговаривал он. Потому что видел тот «виток дороги»,

на котором я находился, видел направление движения, а это для него было важнее. Он знал, что

> …виток дороги – еще не итог дороги,
> но виток дороги важней, чем ее итог…

Так и оказалось.

Если бы он сегодня был жив, я готов был бы молчать и только слушать. О тех витках, которые он уже прошел. О том, что там – за другими поворотами, за пределами песочных часов. Но… «Не поговорили».

Остается прислушиваться к сквознякам. К тому сквозняку, с которым он слился, в котором растворился, и который унес его далеко за пределы всех литературных форм – «в бездну памяти, беспредельное мироздание».

Москва



Михаил Рашковецкий

Omnia ex nihil

Этот текст – совершенно субъективное признание в любви к творчеству Игоря Гусева.

Люди, оказавшиеся перед лицом вечности, нередко говорят: «Будто вся жизнь промелькнула перед моими глазами».

Ну, вся, не вся, а последние двадцать с лишком лет одесского современного искусства – наверняка. Не могу писать о Гусеве наукообразно, отстраненно и высокопарно. Все это время он где-то поблизости, открытый и лукавый, понятный и таинственный.

Я люблю Гусева, но странною любовью. Здесь рассудочность чувствует себя неуютно.

Жаля, оса всегда попадает в нервный узел не оттого, что штудировала анатомию.

Уже не очень хорошо помню те многие выставки, которые видел за эти годы или даже делал сам как куратор. Но точные «уколы» Гусева ощущаю, как сегодняшние.

Об Игоре Гусеве заговорили после «Пистета». Эта работа поражала сплавом наивности и цинизма, настолько невозможным, что после нее мне стало уже сложно воспринимать наивность без подозрения в потаенном цинизме и цинизм – без сокрытой наивности.

Я был буквально потрясен перформансом «Дефлорация Океана». О чем он, не помню совершенно. А общее состояние переживаю, как будто и не прошло двадцати лет. «Общее состояние» – название группы в составе Игоря Гусева, Вадима Бондаренко и Юли Депешмод.

Потом – замечательная серия акций «Aqua vita» этой группы в сотрудничестве с Сергеем Ануфриевым. Перформансы чаще

всего утрачивают свое эмоциональное воздействие при знакомстве с ними по документации. Но не в случае «Общего состояния». Во второй половине 2000-х я показывал сборник «Портфолио» некоторым специалистам: редактору «левого» венского культурологического журнала «Оса», куратору ПинчукАртЦентра. Они невольно останавливались на фото этих акций и начинали спрашивать, а можно ли приобрести весь сборник.

Мне посчастливилось плотно сотрудничать с этой группой во время подготовки их проекта «Братание» в 1994-м. Небольшой проект, характерный для тогдашнего Центра современного искусства «Тирс» по масштабу, но совершенно особый по типологии.

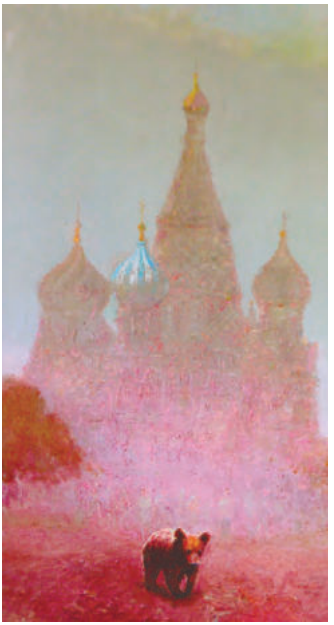
Вначале Гусев, Бондаренко и Депешмод (молодые и симпатичные) тотально и внезапно братались с людьми разного возраста, пола и социального статуса на улицах. Затем фотографии этих объятий и поцелуев были представлены в «Тирсе». Причем в момент открытия, когда в залах собралась достаточно фешенебельная по меркам Одессы публика, в выставочное пространство ворвался взвод солдат, начавших напористо «братать» всех присутствующих.

Казалось бы, пустячок. Ни о чем, из ничего. «Только шалость». Но и сейчас во всем, что я пишу или делаю, живет «Братание».

Параллельно с акциями Гусев продолжал делать странную живопись. На одной из выставок в «Тирсе» была представлена его работа с четырьмя балеринами, которая настолько раздражила мэтра одесской живописности Юрия Егорова, что после этого он называл весь Центр «Тирс» не иначе как «Лебединое озеро».

На первой большой одесской выставке «Свободная зона» (1994) Гусев представил полиптих из четырех работ под названием «Портик». Это была хорошая живопись, отчасти в ройтбурдовской манере. Но, конечно, странная – четыре руинированные колонны, и вдруг – холсты подсвечиваются сзади, а колонны предстают перед зрителем в своем целостном первозданном виде. Из ничего.

Недавно я увидел одну из гусевских колонн в аукционном каталоге. Она называлась «Колонна». Эстимейт этой работы оказался больше, чем весь бюджет выставки «Свободная зона»,















с ее 70-ю участниками из Одессы, Киева, Львова, Харькова, Москвы, Тирасполя и Нью-Йорка.

На что жил художник Гусев в 90-е, для меня – тайна, покрытая мраком неизвестности.

Возможно, этим мраком отчасти объясняются горькие строки художника, посвященные 90-м (из эпитафии украинскому искусству в тексте «Ключ от квартиры» к берлинской выставке 2007 года):

«**Постсоветское пространство. Украина. Девяностые годы.**

Фонды. Гранты. Искусство новых технологий. Для Одессы прошло незамеченным и практически не оставило следа».

Для меня работы и проекты Игоря Гусева («Аленушка», безымянная инсталляция с сумкой из проекта «Art&Fact», «Рудименты Дарвина», перформансы и видеоперформансы из «Мартовского week-end'а», «Sugar free», «Старт», «Паранойя чистоты») – как контрольные выстрелы одесского искусства 90-х. Или, лучше сказать, – контрольные точки восстановления системы.

К началу 2000-х Игорь Гусев остался единственным и действенным системообразующим фактором современного искусства Одессы.

Не случайно именно он стал куратором всеукраинской акции «Культурный герой» в нашем городе.

К середине нулевых Гусев входит во всевозможные топы, причем не только как один из ведущих представителей современного украинского искусства (о чем свидетельствует участие в проектах «Первая коллекция» и «Прощай, оружие»), но и как достаточно успешный в коммерческом отношении живописец. Не знаю, так ли это было на самом деле. Помню фразу Игоря того времени: «Я себя позиционирую как богатый художник». Сказано было с легкой иронией, но в каждой шутке есть доля шутки. Меня всегда радовал рыночный успех авторов, которых я люблю. Но и тревожил: слишком много примеров, когда художники преодолевают житейские невзгоды, оставаясь художниками, и ломаются, превращаясь в лучшем случае в ремесленников, не выдерживая испытания успехом.

В атмосфере сгущался гламур. Его отблеск подозрительным глянцем накладывался на работы Гусева. Конечно, они, как всегда,

были ироничны и парадоксальны. Но мне казалось – слишком легки, до легковесности.

И вдруг в самый разгар невыносимой легкости бытия Гусев взрывается «Арт-рейдерами». Из ничего. В 2007-м до кризиса еще настолько далеко, что он кажется невозможным, и слово «occupy» ассоциируется пока лишь с событиями второй мировой войны. Успешный автор организует группу, разворачивающую регулярную активность в самом что ни на есть аутсайдерском сердце Одессы – блошином рынке под названием Староконка. Никто туда не гонит этих художников – и давно известных, и совсем молодых, – никто не заманивает возможностями карьерного роста. Они делают это в охотку. Занимают свое арт-место под солнцем, разворачивая на асфальте черный целлофан, покупают тут же на рынке всякую милую негламурному сердцу дребедень и тут же делают из нее работы, которые представляют многочисленной публике, бродящей вдоль целого городка таких черных прилавков. Делают как будто из ничего и не для чего. Но цель этих акций существует, и лучше всего ее сформулировал сам Гусев: «Хочется настоящего».

Как всегда парадоксально. Ну что, казалось бы, настоящего в этих старых вещах – призраках исчезающего мира? Разве что люди, продающие и покупающие, глазеющие и любопытствующие. Желающие странного причащения к фантомному бытию, стократ более реальному, чем призрачность, создающаяся усилиями маркетологов и мерчандайзеров.

Параллельно с акциями на Староконном рынке Гусев учреждает галерею «Норма», андеграундную во всех отношениях. Это нормально, утверждает он, когда художник просто реализует и показывает свою работу, не будучи ограниченным какими-то «форматами» или требованиями рынка. Это нормально, когда художник может побыть сам себе куратором, как говорил Зееман, «от идеи до гвоздя». Самоорганизация и самоуправление. Но для того чтобы такая норма воплотилась в жизнь (хотя бы по субботам), был необходим сам Гусев.

При всех прорывах в «неформат» Игорь Гусев умудряется оставаться «успешным художником». Как-то у него получается сражаться на два фронта. Между блеском и нищетой.

В этом ему серьезно помогает институция Анатолия Дымчука, человека достаточно сумасшедшего, чтобы оставаться нормальным в безумном-безумном-безумном мире. Не буду перечислять и анализировать все выставки, акции и публикации, говорящие об устойчивости такой коллаборации на протяжении последних лет. Внимательному читателю достаточно взглянуть на CV автора. Приблизительно с 2008 года в биографии художника невольно обращаешь внимание на участившиеся названия NT-Art или Dymchuk Gallery, объединенные на платформе DymchukArtPromotion. Не менее важна и обратная связь: в стремлении Дымчука балансировать на грани нормы/безумия (то есть в стремлении оставаться человеком) Гусев, безусловно, оказывает ему серьезную поддержку со своей стороны.

Я упомянул термин «платформа», значения которого стали бурно размножаться в последнее время: от птичьего языка айтишников до названия романа одного из самых странных современных писателей Мишеля Уэльбека.

В нынешней тяге к «платформе» подозревается всеобщая тоска по устойчивости и основательности. Притом, что сбавлять инновационный темп категорически запрещено.

Игорь Гусев предельно радикализирует взгляд на проблему в проекте «Платформа вечности».

Как объяснил нам Пелевин, вечность исчезла вместе с распадом СССР. Но Беляев-Гинтовт твердо пообещал: «Мы все вернем назад».

В работах этой серии сразу обращаешь внимание на предметный аромат ретро. Радиоточка. Дама в бэрете. Мороженщица за старинной будкой-каталкой с белым тентом. Строй юных морячков. Мужчина в шляпе. Что-то такое из моего детства 60-х. Можно предположить, что это отзвук детских воспоминаний автора, но он родился только в 1970-м.

Вдруг возникают парадоксальные анахронизмы. Автомобиль из 50-х на фоне современных новостроев. Картина с двумя мужскими фигурами под радиоточкой называется «Петр, где айфон?».

«Разрушай, чтобы жить!» – название одной из инсталляций проекта. Может быть, платформа вечности строится из деструкции непреодолимых стен между эпохами? Из предельного

обнажения того факта, что совершенно необходимый нам вещный мир, который маркирует календарное время, всего лишь антураж, реквизит без невидимых, но не рвущихся каналов связи между «просто людьми». А как иначе мы могли бы ловить кайф от египетских росписей, переживать за героев Софокла, понимать, что действительно как-то неладно в Датском королевстве?

В моем любимом фильме (из тех самых ретро-60-х) ученый-физик, он же коммунист и атеист, на смертном одре спорит со своим другом-священником, который уговаривает умирающего покаяться и обратиться. И действительно, какой смысл во всей нашей тварной жизни без царствия небесного? Куда все девается, когда «кредит закрыт»? Как жить со слоганом «из ничего в ничто»? К чему все наши старания и усилия без платформы вечности? Но облученный научными опытами физик твердо возражает: «Все остается людям». И он прав – все остается людям. Включая Хиросиму и Чернобыль, принца датского и даму в бэрете. Это так, даже если прав священник, и царство небесное существует.

Но проект Гусева не только и даже не столько об этом.

Недавно я закончил статью о современном искусстве, начинавшуюся со старинной максимы: «Ничто не может произойти из ничего». Ex nihilo nihil fit.

Не отказываюсь от этих слов и сейчас. Однако Гусев своей «Платформой вечности» парадоксально опровергает чеканную мудрость мертвой латыни. Он напомнил эпизод из моей студенческой ленинградской поры. Я познакомился с двумя талантливыми молодыми психотерапевтами. Они проводили недельный семинар «Как стать счастливым». Мне казалось, что это чистое шарлатанство, и из любопытства выклянчил участие в семинаре (по знакомству – бесплатное, другим семинаристам счастье стоило, как говорится, по-взрослому). Самое удивительное – по окончании семинара участники не жалели о потраченных деньгах: заявленная цель была достигнута. Суть происходившего (конечно, с использованием всяких гипнотических штучек и теоретической базы на основе новейших методов, даосизма и старообрядческой литературы) заключалась в научении слушателей входить в творческое состояние. Для этого нужно было освобождаться от тяжеленных вериг всех приобретенных жизненным опытом

«готовых ключей» к решению разнообразных, но стереотипных проблем. Опустошаться. И учиться творить из ничего. По образу и подобию. А как можно творить по-другому? По-другому – уже не творчество, а в лучшем случае – добротное ремесло.

Муки творчества. Это непросто и на самом деле мучительно – вытягивать из ничего, из необъятной пустоты, из опустошенного себя то, чего никогда и нигде не существовало раньше. Преодолевая страх перед чистым листом, чистым холстом. Перед новым. Всякий раз – впервые. Ex nihil omnia. Из ничего – все.

Искусство причащает к такой истине эффективней, чем психотерапия.

Проект «Платформа вечности» – прежде всего, визуализация творческого процесса. Как бы мы ни изворачивались, ни ссылались, ни цитировали, ни опирались на костыли привычного, «профессионального» («привычка свыше нам дана, замена счастию она»), люди обречены творить. Изобретать колеса, айфоны и финансовые схемы. Создавать небывалое, забывая о прошлом и вспоминая о нем.

В этом бремя и счастье страстей человеческих. И да пребудут они вечно.

Алексей Гришин

Зрелость и белой лошади к лицу

«Иногда мне хочется сказать, обращаясь к себе: «Анатолий, не говори, брат, красиво…» Но старый конь, привыкший к цирковой арене, все еще по привычке мотает в поклонах головой, кокетливо выбрасывает подагрические ноги, размахивает поседевшей гривой и, как избалованный публикой тенор, ждет аплодисментов».

Анатолий Горюшкин. «Театр одного актера»

Откуда у него этот образ? – Не знаю. Но циркового коня мы с ним видели пять или шесть лет назад в *Воронцовском парке* (юго-запад Москвы). По субботам и воскресеньям туда приезжала на белой лошади юная всадница. Как только она спешивалась, главным действующим лицом становился ее конь. Замирая в явно балетной позиции перед бывшей барской усадьбой, он, конечно же, надеялся на аплодисменты. Копыто левой задней ноги лишь самым мыском едва касалось брусчатки. Лошадь стояла абсолютно неподвижно, честно отрабатывая номер. В конце концов, какая-нибудь мама, выгуливающая поблизости своего ребенка, сажала его в седло. Мы всегда останавливались, как и большинство проходивших мимо, и смотрели на эту картину издали, чтобы видеть целиком…

Наш обычный маршрут был другим. Встретившись у кольцевой станции метро *Парк культуры*, пересекали *Комсомольский проспект* (в самом его начале), шли до первого сквера, позволяющего свернуть к набережной, и переходили на другой берег реки. Пройдя с остановками на перекус весь *Нескучный сад*, возвращались по двухъярусному лужниковскому мосту на левобережье и разъезжались по домам – каждый на своем троллейбусе.

Успевали обменяться мнениями чуть ли не обо всех писателях не только *золотого*, но и *серебряного* века, до странности совпадая в оценках. Тем не менее, когда он объявил, что не сторонник так называемых «стихов с содержанием», показалось нужным уточнить, правильно ли его понимаю.

– Иногда получается…

– Да? Например?

– *Прощай, немытая Россия*.

– Кто-то вышел из «Шинели» Гоголя, а я, пожалуй, из шинели лермонтовского Печорина. А может быть, из шинели Грушницкого.

Вот так. Опять совпали. Выяснилось, что в его системе координат (так же, как и в моей) Лермонтов занимает особое место.

Он (еще неосознанно) обдумывал «Театр одного актера», отбирал материал. На ходу пересказывая сюжет за сюжетом, проверял, будет ли интересно другим. Потом многое перенес на бумагу слово в слово. Что-то отсеивалось.

Конечно, говорили не только о литературе. Однажды, порадовавшись тому, что наладился выход в свет многотомной «Поэзии Московского университета от Ломоносова и до…», спросил у него, не значимая ли фамилия «Горюшкин». Ответил мгновенно: «Вот увидишь, на шестом томе (его стихи были в шестом томе) сломается». И как в воду глядел. Сломалось раньше. Однако это невезение, не имеющее ничего общего с литературой. В отношениях с ней – полный порядок.

Недавно прочитал мне дополнительную главу к «Театру одного актера». Трудно было поверить, что можно улучшить эту хорошо структурированную автобиографичную прозу. От добра добра не ищут… Получилась «перебивка», расчлененная на несколько эпизодов. Стало лучше. Глупо пересказывать прозу поэта. Но «Полустанок Яръ» привиделся. А сны пересказывают.

«Яр. Крутояр. Обрыв… А под ним – бездна. И на краю этого крутояра висит твоя жизнь…». – Мозговой центр, вырабатывающий дидактику, выключен. Нет блюдечка с голубой каемочкой, на котором выложены готовые смыслы. Все связи ассоциативны. – Ночное застолье. – Спутница, запивающая ледяным шампанским пение цыганских скрипок (к утру, смахнув слезинку белоснежным платком с монограммой «Э. П.», признается, что она –

женщина-строка из чужого стихотворения). Ее зовут Линор. В доказательство предъявлено само стихотворение:

«Ждал я дня из мрачной дали, тщетно ждал, чтоб книги дали
Облегченье от печали по утраченной Линор…»

Ничего не поделаешь. – Черный ворон, сидящий на заснеженной березе возле пассажирской платформы, где остановился поезд, должен быть похожим, хотя бы внешне, на Эдгара По.

Человек, осторожно спустившийся из вагона на безлюдный перрон, оказывается Чеховым. Неожиданно. Впрочем, выглядит он узнаваемо (пальто до пят, фетровая шляпа, пенсне, в руках старомодный медицинский саквояж – сельский врач приехал совершить обход среди крестьян ближайшей деревни, логично). Его мысли вслух тоже очень чеховские. А рядом с Антоном Павловичем логично появление автора «Антоновских яблок» – Бунина в форменной фуражке дежурного по станции.

Действие развивается, отталкиваясь от сложившихся обстоятельств. Естественно, что дежурный замечает на дальнем краю платформы крепкого старика, заросшего седой бородой, в зипуне, подпоясанном веревкой, и огромных обшитых внизу кожей доисторических валенках, как будто снятых с ноги неандертальца. С особенным удовольствием «дворник» выметает на раскисшую дорожку несколько перьев, занесенных ветром из разоренного гнезда черного ворона. Иван Алексеевич подходит к нему «как солдат к генералу», и они говорят о смерти «какого-то Ивана Ильича».

У входа в зал ожидания поставлена гипсовая статуя. Скульптурная лепка надменного гипсового лица «напоминает лик поэтессы, которая через десять лет с парадного входа войдет в недостроенный, пахнущий увядшими фиалками и порохом революций желтый дом Русской поэзии…» (еще только войдет, а памятник уже есть – полустанок находится в точке пересечения времен, прошлое переливается в настоящее, иногда заскакивая в будущее).

Точная дата происходящего, судя по аршинным буквам над входом в зал ожидания и форменной фуражке дежурного, а главное –

по самоощущению, – четвертое марта тысяча восемьсот девяносто девятого года. По этой причине, видимо, Федор Михайлович с Настасьей Филипповной остаются за кадром, хотя и на слуху…

В концовке эпизода отдохнувший паровоз накрывает платформу облаком пара и дергает вагоны. Из зала ожидания доносится чей-то вопрос: «Русь, куда же несешься ты? Дай ответ…». Русь как всегда молчит – и не дает ответа. Лишь совсем лишившийся рассудка черный ворон прокаркал простуженным басом: «Ну, давай, поедем к «Яру»…»

«Полустанок «Яръ», теряя очертания и краски, медленно, как в полусне, растворился в золотой бездне мартовского дня».

Вот такой сон (или полусон) с форточками в чужие сны, в целую библиотеку чужих снов… и – в собственное творчество, которое *уже не втянешь в спор и не заластишь.* Выделенное курсивом принадлежит Пастернаку. С Пастернаком ему удалось встретиться. Будучи студентом последнего курса журфака, пришел к Мэтру показать свои стихи. Следом за ним (в том же 1957 году) в Переделкино ходил еще один поэт. Мэтр, которого уже начинали клевать за «Доктора Живаго», тем не менее поинтересовался, где Толя, назвав его «номиналистом». Толя был на Сахалине. Работал там по распределению в районной газете.

«Номиналист». – Хорошо это или плохо? В любом случае чаще о таких говорят: родились не в то время или не в том месте, забывая, что *место врача в тифозном бараке*.

Фрагмент из «Театра одного актера» опубликован в «Гранях». В эмигрантском по корням журнале. Закономерно. Опубликовали «своего». Конечно, он – эмигрант. Эмигрант внутренний и не по своей воле. Сам ни в какую эмиграцию не стремился. Но так вышло.

Так уж вышло в жизни нашей –
И чем дальше, тем верней –
Свято место у Параши
И – Культура – имя ей.

В *пост*-совковых,
пол-совковых

От судьбы – не продохнуть…
И от запахов знакомых
В андеграунд держим путь.

Никогда не знаешь, где найдешь. Елена Дунская (две строфы, процитированные выше, принадлежат ей) – прекрасная поэтесса (к тому же поющая). Но всегда страшно занята. Поэтому легко представить, как, обозначив тему электронной почты (Зрелость и белой лошади к лицу), она встает и, прихватив свой флагманский Android, поддерживающий разговор неопределенной длины, идет на кухню посолить суп и проверить заодно, не подгорает ли курица, вращающаяся на вертеле в духовке. Сняв птицу с вертела и отломив хрустящее крылышко, она снова садится за компьютер и заканчивает прерванную работу, глядя в телевизор. В результате письмо я получаю на совершенно другую тему. Не связанный с текстом заголовок про цирковую лошадь из парка, которую Дунская тоже видела, соединился в моей голове с образом, придуманным Горюшкиным: «Но старый конь, привыкший к цирковой арене…». В итоге точное слово, чтобы охарактеризовать возраст этого *Человека и Холстомера,* нашлось – *зрелость*. Именно зрелость. Потому что старости не было.

С восьмидесятилетием, Анатолий Александрович! В России надо жить долго…

Москва

Белла Верникова

Одесский текст: от Осипа Рабиновича к Юшкевичу и Жаботинскому

«Наивные» смотрящие отличаются от историка искусства тем, что тот осознает ситуацию.
Эрвин Панофски

Последнюю розу Кастилии лета покинул блум печальный блуминокий облумок… Блум сплетал, расплетал, связывал, развязывал.
Джеймс Джойс

В начале 21-го века приобретает широкое распространение изучение городских и региональных сверхтекстов русской литературы. Как отмечает российский исследователь Елена Галимова в статье о региональном северном тексте русской литературы, определение феномена сверхтекста, предложенное в книге новосибирского ученого Нины Меднис, восходит к концепции В.Н. Топорова, работы которого наряду с исследованиями Ю.М. Лотмана и других ученых тартуско-московской семиотической школы положили начало изучению локальных литературных текстов. Понятие «Петербургский текст» было введено в научный оборот в 1984 г., когда в сборнике «Труды по знаковым системам» Тартуского университета были опубликованы статьи В.Н. Топорова «Петербург и «Петербургский текст русской литературы» и Ю.М. Лотмана «Символика Петербурга и проблемы семиотики города». Е.Ш. Галимова подчеркивает, что существующие методы исследования сверхтекстов адекватны, прежде всего, для изучения городских текстов: «петербургского», «московского», «римского», «венецианского», «пермского» и др. Эти методы

опираются на представления о городе как феномене культуры. По приведенному там же определению Натальи Шмидт: «город – это способ окультуривания и структурирования масштабного пространства, введение человеческого измерения в природный мир. Город-идея преобразовывает, преображает среду обитания специфическими средствами (архитектура, планировка и др. функционально-эстетические способы градостроительства). …город становится культурной семиосферой, не только средоточием цивилизации и культуры, но подчас и неким сакральным топосом, на который накладывается сетка символико-мифологических представлений».

Понятие городского текста исключительно продуктивно для исследования одесской литературы, составляющей основу мифологии города. Одесская литература создавалась, печаталась и изучалась в тесном переплетении с городскими реалиями, такими, как история Одессы и краеведение, природные условия местности, архитектура и топонимика города, его народонаселение, ментальность, одесский язык и др. Комплекс этих понятий сконцентрирован в моем стихотворении начала 1980-х гг.:

Как человека, мы способны
любить свой город или не любить.
Чему дано в одно соединить
людей живущих и когда-то живших,
архитектуру, говор, склад ума,
вечерний запах моря на остывших
от зноя улицах, где мы живем,
как на ветру, во времени своем.

Одним из ранних одесских текстов, вызвавшим похвальную рецензию в петербургском (тогда столичном) журнале «Отечественные записки», был изданный в Одессе в 1849 г. сборник «Литературные вечера», где опубликована повесть Осипа Рабиновича «История торгового дома Фирлич и К°». Подробно рецензируя сборник, критик «Отечественных записок» отметил в нем отсутствие провинциальности и обозначил принадлежность составивших его произведений к городскому тексту: «общество одесское

хотя и имеет свой местный колорит, живет, однако ж, удовлетворяя тем же потребностям образованной жизни, как и петербургское… Более всего порадует вас то, что «Литературные вечера» так ярко отражают местную жизнь и вполне принадлежат Одессе, изображая ее нравы, обычаи, общество, жизнь этого общества и оригинальный состав его. …мы познакомились с любопытными явлениями одесской жизни и одесского народонаселения». Как показано в моей статье 2008 г., в этой рецензии были «определены существенные особенности ранней прозы Осипа Рабиновича: повесть взята из коммерческого быта и представляет ту смесь народонаселения, которая характеризует Одессу». Экзотику в прозе О.А. Рабиновича составляла для русского читателя специфика Одессы как международного торгового порта, одного из немногих российских городов, принявшего европейские буржуазные стандарты в различных сферах жизни; писатель «дал в своей первой повести и еще в большей степени в «Морице Сефарди» срез российской жизни, уникальный для ее необъятных просторов. Одесса первой половины 19 в. была буржуазным городом, основательно впитавшим новые порядки и строившим благополучие горожан на международной торговле».

О коммерческой составляющей одесской жизни, после революции уходящей в историю, упоминает в романе «Наследник» Лев Славин. Переехав в Москву, где в советские годы только и можно было стать известным писателем, он сохранил привязанность к родному городу. Самый яркий образ одессита в военные и послевоенные десятилетия связан с Аркадием Дзюбиным, героем Марка Бернеса в фильме «Два бойца», поставленном Л. Луковым в 1943 г. по сценарию Льва Славина. В этом фильме впервые прозвучали спетые Марком Бернесом «с характерным одесским акцентом», как сказано в Википедии, песни «Темная ночь» и «Шаланды, полные кефали» (музыка Н. Богословского на слова В. Агатова).

Роман Л.И. Славина «Наследник» был опубликован в 1931 г., когда советская идеологическая машина еще не подмяла писателей, воплощавших в художественной прозе свой эмпирический и духовный опыт и пытавшихся разобраться, что произошло с ними и со страной. Как пишет в публикации 2011 г., посвященной

одесской литературе, Вадим Ярмолинец: «В статье «Юго-Запад» Шкловский решительно отверг попытку автора романа «Наследник» одессита Льва Славина объяснить генеалогию своего героя Сергея Иванова. Шкловский счел эту попытку искусственной. Между тем она может иметь основополагающее значение для понимания генеалогии одесской литературы… один дед – граф Шабельский, второй – торговец зерном Абрамсон».

При фиксации генеалогии одесского текста, восходящей к прозе Осипа Рабиновича, здесь указана социальная и национальная специфика одесской литературы, отмеченная в приведенном отзыве «Отечественных записок». Характеризуя произведения одесских писателей второй половины 19-го – начала 20-го века, невозможно обойти специфику межнационального общения в одесском тексте русской литературы, определившую его содержание.

Сегодня на российском сайте для муниципальных служащих, имеющем прямое отношение к феномену города, выставлена обширная подборка литературных произведений, посвященных известным городам мира, где среди текстов о Петербурге, Киеве, Париже, Лондоне и пр. помещен очерк Исаака Бабеля «Одесса». Впервые под заголовком «Мои листки. Одесса» он был напечатан в 1917 г. в петроградском «Журнале журналов» (№ 51) за подписью Баб-Эль. Парафраз этого текста «Мопассанов я вам гарантирую» известен нам из повести Константина Георгиевича Паустовского «Время больших ожиданий», где автор стремился воссоздать облик И. Бабеля, репрессированного писателя, чьи произведения были тогда под запретом, вкладывая ему в уста тексты из недоступных читателю книг:

«Разговор о Киплинге Бабель закончил неожиданными словами. Он произнес их, сняв очки, и от этого лицо его сразу сделалось беспомощным и добродушным.

– У нас в Одессе, – сказал он, насмешливо поблескивая глазами, – не будет своих Киплингов. Мы мирные жизнелюбы. Но зато у нас будут свои Мопассаны. Потому что у нас много моря, солнца, красивых женщин и много пищи для размышлений. Мопассанов я вам гарантирую».

Об еврейском контексте высказывания Бабеля Паустовский не упомянул. А если бы упомянул, это не могло быть напечатано

в силу запрета на еврейскую тематику, возникшего в тридцатые годы, когда почти все культурное наследие русских евреев считалось «буржуазно-националистическим», и усилившегося в послевоенной советской литературе после убийства Михоэлса, Переца Маркиша и других деятелей Еврейского антифашистского комитета в ходе антисемитской кампании против космополитов. Между тем очерк «Мои листки. Одесса» свидетельствует, что И.Э. Бабель в досоветской прозе связывал одесскую ментальность, способную внести «плодотворное влияние русского юга» в отечественную литературу, как с южным характером города, так и с его еврейским населением:

«Одесса очень скверный город. Это всем известно. Вместо «большая разница» там говорят – «две большие разницы» и еще: «тудою и сюдою». Мне же кажется, что можно много сказать хорошего об этом значительном и очаровательнейшем городе в Российской империи. Подумайте – город, в котором легко жить, в котором ясно жить. Половину населения его составляют евреи, а евреи – это народ, который несколько очень простых вещей очень хорошо затвердил. Они женятся для того, чтобы не быть одинокими, любят для того, чтобы жить в веках, копят деньги для того, чтобы иметь дома и дарить женам каракулевые жакеты, чадолюбивы потому, что это же очень хорошо и нужно – любить своих детей. Бедных евреев из Одессы очень пугают губернаторы и циркуляры, но сбить их с позиции нелегко, очень уж стародавняя позиция. Их и не собьют и многому от них научатся. В значительной степени их усилиями создалась та атмосфера легкости и ясности, которая окружает Одессу. …думается мне, что должно прийти, и скоро, плодотворное, животворящее влияние русского юга, русской Одессы, может быть (qui sait?), единственного в России города, где может родиться так нужный нам, наш национальный Мопассан… Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда – из солнечных степей, обтекаемых морем».

Влияние Мопассана к тому времени получило в русской литературе реальное выражение посредством широко известного в России 1910-х гг. одесского писателя Семена Юшкевича. О чем я пишу в статье, излагающей историю публикации романа

С. Юшкевича «Леон Дрей» в Москве отдельным изданием (1911) и в литературном сборнике «Земля» (1913):

«Жорж Дюруа, герой романа Ги де Мопассана «Милый друг» – явный литературный предшественник Леона, на что Юшкевич указывает намеренным сходством фамилий Дюруа-Дрей, подчеркивая интернациональную натуру своего персонажа. Что было замечено критикой, так в некрологе С. Юшкевича в газете «Правда» критик А. Лежнев упоминает характерную фигуру «милого друга», «красавца» и «самодовольного пошляка Леона Дрея».

В воспоминаниях Вадима Паустовского о времени знакомства его отца с И. Бабелем в Одессе Семен Юшкевич также присутствует. Бабель и Паустовский летом 1921 г. жили с семьями на даче на Большом Фонтане, где разработали устав клуба одесских литераторов, казначеем и почетным председателем «которого почему-то выдвигался Семен Юшкевич, уже успевший эмигрировать», а девиз предлагался такой: «Литераторы, назад к литературе!».

В Одессе о Семене Юшкевиче помнили понаслышке и в предвоенное десятилетие, о чем пишет в уцелевших воспоминаниях репрессированный писатель, драматург и кинодеятель Александр Вознесенский (1880-1939), подчеркивая дореволюционный коммерческий характер города, характеризуя одесскую ментальность и своеобразную личность С. Юшкевича, обстоятельства семейной жизни и его живой интерес к людям с литературным талантом:

«Недавно в книге одного из советских писателей я прочитал о том, что Семен Юшкевич был глуп. Автора этого отзыва следует винить не по существу, а разве только за излишнюю резкость выражения, т. к. будучи урожденным одесситом, автор с детства, вероятно, воспринял такое суждение от старших об Юшкевиче и, не имея возможности проверить, сохранил его в неприкосновенности до сих пор.

Одесса была городом сугубо торговым, кишевшим коммерцией и биржей (курсив мой. – **Б. В.**). Не склонные к философскому умозрению жители любили все практически упрощать. Обладая необычайно развитой жизненной сметкой, одессит привык считать себя исключительным разумником. Живший среди этаких умниц Семен Юшкевич ни на кого из них не был похож. Некогда

этот еврейский юноша, определенный родными в аптекарские ученики, «вдруг» уехал в Париж учиться. Потом вернулся, чтобы сделаться… «русским писателем». Все это было странно, непривычно, непонятно: не по-одесски. Разбираться в деталях было некогда. Гораздо легче решить: нелепый человек. Одесская скороговорка еще более упростила вывод: он глуп.

Познакомился я с Семеном Соломоновичем Юшкевичем в 1903 году в редакции «Одесских новостей». В этой газете напечатана была статья моя «Когда нечего есть». Сама тема ее, естественно, привлекала внимание читателей, среди которых немало было голодной молодежи. В редакции ко мне подошел рослый светловолосый человек и, осведомившись, я ли автор статьи, крепко сжал мою руку и назвал себя: Юшкевич. Он сказал:

– Экстерны только и толкуют, что о вашей теме. Но меня не она интересует. Мне понравилось у вас, что «дома недоверчиво сторожили серую ленту улиц», что когда вы были голодны, все люди казались вам «высокими по росту, потому что нельзя было до них достать» и т. п. Вы беллетрист, а не публицист. Пишите рассказы.

Мы разговорились. Вскоре стали добрыми друзьями. Жена моя актриса В.Л. Юренева создала ряд ярких образов в пьесах Юшкевича, и это еще более углубило нашу связь и сблизило наши семьи. Настасья Соломоновна, вторая жена Юшкевича, была настоящая «подруга писателя». Она жила исключительно литературными интересами мужа и всеми силами старалась создать для него подходящую творческую обстановку в шумной и суетливой Одессе. Денег было немного, но Настасье Соломоновне помогал «устраивать мужа» ее неизменно чудесный характер. Я не помню ее без доброй улыбки».

Используя формулу балканского слависта – в статье о петербургском тексте Б. Пильняка Нирман Мориньяк-Бамбурач называет Бориса Пильняка одним из «носителей петербургского сознания», можно сказать, что Семен Юшкевич был одним из носителей одесского сознания. Абрам Лежнев писал в некрологе С.С. Юшкевича: «Он ввел в литературу задолго до Бабеля своеобразный жаргон Одессы (критика упрекала его в порче русского языка)».

В диссертации Людмилы Воробьевой о лондонском тексте русской литературы первой трети 20-го в., защищенной в Томском университете в 2009 г., намечена проблематика изучения городского текста: «Впервые город стал предметом филологического анализа в работах Н.П. Анциферова. Особое внимание исследователь уделяет образу Петербурга, изучая воздействие города на судьбы людей, писателей и художников. …В.Н.Топоров, исследуя петербургский текст русской культуры, рассматривает его генезис и структуру, описывает сферу смыслов, выявляет специфику языка Петербурга».

Генезис одесского текста русской литературы можно проследить в журналах, альманахах и сборниках, представляющих писателей, живших в Одессе и писавших об Одессе со времени основания города до наших дней. Альманахи «Дерибасовская – Ришельевская» (в 2003 г. здесь опубликовано эссе «Разговор с автоответчиком», «популярно развивающее некоторые тезисы моей научной работы») и «Мория» (где я автор и член редколлегии) сами по себе составляют городской одесский текст, что выражено в подзаголовках, программах и рубриках каждого из изданий, см. напр.:

– сайт Всемирного клуба одесситов: «Литературно-художественный, историко-краеведческий иллюстрированный альманах «Дерибасовская – Ришельевская». Вот уже 13 лет мы стремимся рассказывать о знаменитых земляках, о ярких событиях в истории Южной Пальмиры, о наших самобытных культуре и искусстве, знакомим читателей с литературными произведениями наших современников и их предшественников. За эти годы альманах стал своим для многих одесситов – и ныне живущих в родном городе, и тех, кто находится далеко от него»;

– мое радиоинтервью 2010 г.: «Альманахи научных статей и публицистики «Мория» восстанавливают прерванную традицию гуманитарных исследований в сфере еврейской литературы, истории, культуры, с тем чтобы сохранить и передать следующим поколениям драгоценные познания, которые аккумулировали наши великие мыслители и историки, пророки и философы, деятели науки и культуры. …Заявленная программа успешно осуществляется на страницах альманаха в его постоянных руб-

риках – актуальные размышления, пространство Одессы, статьи и публикации, воспоминания, галерея, литературные беседы, обозреватель и т. д., среди авторов этих рубрик – историки, краеведы, журналисты, писатели, живущие в Одессе и в других городах и странах».

Одесские реалии присутствуют во многих городских изданиях – назову журнал «Пассаж» и выходивший в 90-е годы, до недавнего времени открытый в сети журнал «Одесса», рубрики которого возвращали читателю старую топонимику города. Дореволюционные названия одесских улиц, переименованных в советскую эпоху, исторически воплощали «ту смесь народонаселения, которая характеризует Одессу». Что передано в моем стихотворении середины 1970-х гг., привожу его первую строфу:

Старые названья старых улиц
помню я, как выраженья лиц
бабушки и деда.
На заросшем кладбище приткнулись
их могилы.
Затяжное лето,
как горчичник, выгревает стены
на Канатной, Малой Арнаутской,
Греческой, Еврейской, Ришельевской,
на Преображенской, Тираспольской,
на Гаванной, в Городском саду.

О том, что городская топонимика поддерживает в человеке историческую память и чувство родства, писал в газете «Всемирные одесские новости» (1998) в связи с моим стихотворением «Старые названья старых улиц» известный одесский краевед, писатель и журналист Олег Губарь:

«В заголовке – строка давнего стихотворения Беллы Верниковой, написанного в те времена, когда о возвращении этих названий никто всерьез не помышлял. Была какая-то «опосредованная ностальгия». И только (?). Но было также название ее первого поэтического сборника «Прямое родство».

Старые названья старых улиц
помню я, как выраженья лиц
бабушки и деда…

Мои историческая память и «прямое родство» начинались на Успенской улице…».

Поэтический феномен одесского текста представлен изданным в 2009 г. в Москве сборником «Одесса в русской поэзии: поэтическая антология» (с биографическими справками авторов), собравшим «стихи русских поэтов, писавших об Одессе в XIX и XX столетиях». Одесса предстает в аннотации сборника как «город-памятник, город-история, город-мечта», как источник поэзии и ее воплощение: «Стихотворения, вошедшие в антологию, напоены духом Одессы, ее атмосферой, «одесским образом мыслей». Сквозь поэтические строки, написанные разными авторами в разное время, перед читателем встает история великого города и его жителей». В разделе сборника «Вторая половина XX века» напечатаны стихи одесских поэтов (в том числе мое стихотворение «Старые названья старых улиц»), живущих сегодня в разных странах. Их творчество являет собой значительный одесский текст и в сборниках «Вольный город» (Одесса, 1991), «Глаголы настоящего времени» (Киев, 2013) – составитель и автор предисловия обоих изданий одесский поэт и прозаик Юрий Николаевич Михайлик. Как пишет Евгения Красноярова в рецензии на книгу «Глаголы настоящего времени» в альманахе «Дерибасовская – Ришельевская»: «Прочитав стихи авторов, хочется узнать о них самих. Тем более, они все прочнее входят в историю нашего города, в его легенду».

Эти же авторы упоминаются в моем радиоинтервью «Одесская литературная группа «Модест Павлович»: фактор города», опубликованном в журнале «Литературный Иерусалим» (2010, № 1) и в 11-м номере альманаха «Мория» – с фотопортретами писателей, ее составляющих. Хотя на нашей памяти одесский язык приблизился к нормативному русскому: «Но все реже услышишь от раза к разу / Здесь одесскую фразу», – написавший эти строки Анатолий Гланц в стихотворении «Одесса» середины 1980-х гг. фиксирует сохранившиеся образцы одесской ментальности:

Тут пасхальное солнышко над евреем,
ветхий дом, где мы нежимся и стареем.
Это мусор дворов, городская свалка
и Холодная Балка.

Пара нищих старух, чистый профиль женский
возле входа в собор по Преображенской,
в майонезном небе ажур балконов
и заправка сифонов.

Это то пространство, которым с детства
терпеливо бредит во мне Одесса.
Это то, на чем выросли мы и отъелись.
Это южная ересь.

Материальным воплощением одесского текста, его артефактом является Одесский литературный музей, расположенный в здании дворца кн. Гагарина.

В залах литмузея воссоздана диахрония одесского текста русской литературы, каждый из феноменов которого требует дальнейших исследований. Здание музея мемориальное, имеет свою литературную историю. В первые годы 20-го века, до 1904 г., в реставрированной в литмузее Виноградной комнате этого дворца собиралось одесское литературно-артистическое общество ЛАО, именуемое «литературка».

Один из инициаторов создания ЛАО, художник и литератор Петр Александрович Нилус был центральной фигурой в литературно-художественной жизни Одессы 1890-х гг. – начала 20-го века. Организатор и идеолог «Товарищества южнорусских художников» (сформировано в 1890 г.), член правления ЛАО, автор статей о литературно-художественной жизни города в одесских изданиях, П.А. Нилус активно участвовал в неформальных собраниях творческой интеллигенции Одессы – в «четвергах», проходивших в доме одесского художника Евгения Иосифовича Буковецкого, где в начале 20-го века жил Иван Алексеевич Бунин. В том же доме находилась мастерская П. Нилуса – он стал прототипом художника в рассказе И. Бунина «Сны Чанга». В 1907-

1908 гг. на «четвергах» у Буковецкого бывал Семен Соломонович Юшкевич, получивший к тому времени широкую известность как драматург и прозаик. Впоследствии, в эмиграции, Петр Нилус становится биографом С. Юшкевича.

Продолжение следует

Иерусалим



Ирина Глебова

Английская гравюра из одесского музея

В обширной коллекции графики Музея западного и восточного искусства хранится немало редких, представляющих большую художественную и историческую ценность произведений, но слабая изученность этого собрания не позволяет порой заявить о них и ввести их в научный оборот. Так, уже после издания каталога «Английская гравюра XVII-XIX веков. Эстампы из собрания Одесского музея западного и восточного искусства» (Одесса, 2010) среди гравюр неизвестных художников была обнаружена цветная ксилография (гравюра на дереве) выдающегося английского гравера XVIII в. Джона Баптиста Джексона «Святое семейство с четырьмя святыми», выполненная им по картине П. Веронезе (56×37 см, приобретенная музеем в 1984 г. у известного ленинградского коллекционера и писателя С.П. Варшавского). Нерасшифрованная посвятительная надпись на латыни, помещенная автором гравюры на основании архитектурной детали в центре композиции, стала причиной ошибочного определения авторства.

Перевод надписи позволил узнать не только имена гравера и живописца, с картины которого исполнена гравюра, но и человека, которому она посвящена. Надпись гласит: «PERELLUSTRI ET NOBILI VIRO D.D. BOURCHIER WREY BARONETTO GENEROSO ARTIUM LIBERALIUM FAUTORI IN SUI OBSEQUIUM D.D.D. J.B. JACSON. P.C. VERONESE PINXIT» – «Уважаемому и высокородному господину Баурчеру, графу Рэю, баронету, благородному покровителю свободных искусств, посвящает покорный слуга Д.Б. Джексон. С картины П.К. Веронезе».

Личность сэра Баучера, графа Рэя, 6-го баронета (1715-1784), заслуживает внимания. Представитель старинной британской



семьи, известный политик, член парламента, он, как и полагалось молодым людям из хороших семей, отправился в длительное путешествие по Италии, так называемый гранд-тур. В Венеции в 1739 г. он познакомился с Д.Б. Джексоном. В посвящении указано на то, что Баучер был покровителем искусств. Действительно, он состоял в «Обществе дилетантов» («Society of Dilletanti»), которое возникло в одном из лондонских клубов в 1734 г. Богатые джентльмены, вошедшие в него, ставили своей целью поддерживать изучение классического искусства, спонсировать археологические экспедиции, выплачивать стипендии художникам, а также влиять на воспитание общественного вкуса. Это общество, членами которого были многие известные люди, существует до сих пор.

Гравюра воспроизводит картину выдающегося венецианского художника XVI в. Паоло Веронезе, созданную для ризницы церкви Сан-Закария в 1562 г. Что касается иконографии сюжета, то в верхней части композиции находится святое семейство: Дева Мария, Младенец Христос и святой Иосиф, слева от них – херувим. Внизу расположились следующие персонажи: в центре, на каменном парапете, изображен маленький Иоанн Креститель; справа от него стоит святой Иероним с книгой, своим атрибутом. Слева – святой Франциск в рясе, подпоясанной вервием. За ним – святая Екатерина с пальмовой ветвью в руке, атрибутом мучеников.

Гравюра производит сильное впечатление своей монументальностью, рельефностью линий, изысканностью серо-зеленоватой цветовой гаммы. Все в ней выдает яркую индивидуальную манеру. Она сделана в редкой и сложной технике кьяроскуро – разновидности цветной ксилографии. В переводе с итальянского «chiaroscuro» – светотень. В 1516 г. венецианский гравер Уго да Карпи получил патент от венецианской синьории на изобретение нового способа гравирования с деревянных досок. Его стали называть светотеневым, так как общее впечатление рельефа и цвета в гравюре создавалось не столько сочетанием различных цветов, сколько умело подобранными оттенками одного цвета. Формы выполнялись пятнами, как бы мазками кисти. При помощи светотени и гармоничных, без резких контрастов красок, кьяроскуро стремилась создать иллюзию трехмерного пространства.

Джексон был первым английским гравером, работавшим в этой технике. Он продолжил в своем творчестве традицию итальянской кяроскуро, но открыл в ней совершенно новые художественные возможности.

Д.Б. Джексон (1701-1780) учился в Париже у Ж. Папильона, знаменитого ксилографа, в 1731 г. переехал в Италию, где в Венеции, у гравера-любителя А.М. Дзанетти, познакомился с техникой кьяроскуро и так ею овладел, что Дзанетти предложил ему наладить выгодный бизнес: выдавая гравюры Джексона за работы Уго да Карпи, продавать их в Париже. Английский мастер отверг это предложение и стал работать самостоятельно. В результате упорной и тяжелой работы он модернизировал метод кьяроскуро. Он изобрел более тяжелый цилиндрический пресс, который увеличивал нажим на доски, благодаря чему контурные линии и отдельные цветовые плоскости приобретали в оттиске особую рельефность. Она усиливала глубину тона и создавала неожиданные пространственные и светотеневые эффекты, благодаря чему его гравюры производят впечатления тиснения.

В результате каторжной работы он переутомился и серьезно заболел. Несколько месяцев гравер был близок к смерти. О своих технических находках позже Джексон написал «Эссе об изобретении гравирования и печатания способом кьяроскуро».

Гравюра из музейной коллекции происходит из серии 24-х гравюр, входивших в великолепный альбом, созданный Джексоном в 1739-1745 гг. при финансовой поддержке британского консула в Венеции, мецената и коллекционера Джозефа Смита. Гравюры воспроизводили крупномасштабные полотна венецианских художников эпохи Возрождения – Тициана, Тинторетто, Веронезе, Бассано. Этот грандиозный проект вывел технику кьяроскуро на новый уровень и стал частью культурного наследия Венеции и памятником печати XVIII века. На гравюре отсутствует дата, но в каталоге «John Baptist Jackson: 18-Century Master of the Color Woodcut» by Jacob Kainen, Wachington, 1962, аналогичная гравюра датирована 1739 годом (стр. 78, № 20). Лист сделан с 4-х досок на бумаге, которую предпочитал Джексон, – плотной, но мягкой. Гравер не просто репродуцировал картины великих итальянцев, он создавал собственное их видение, оригинальное

даже в передаче цветов. Джексон первый начал экспериментировать с оттенками, соединив текучесть тоновых переходов с выразительностью рисунка.

Однако манера гравирования Джексона была необычной для изящного и витиеватого языка, на котором «говорила» английская гравюра XVIII столетия. Широкое распространение получили тогда такие изысканные техники, как пунктир, карандашная манера, меццо-тинто, которые идеально подходили для гравирования картин, выполненных в эстетике искусства рококо. К тому же высшим выражением графики считалась в то время черно-белая гравюра. Тоновые кьяроскуро Джексона не были оценены современниками, называвшими их «варварскими барельефами». Кроме еще одного проекта (6 цветных гравюр с гуашей итальянского художника Марко Риччи), замыслы Джексона остались нереализованными. Вернувшись на родину, он, не найдя покровителей и финансовой поддержки, работал на фабрике по производству бумажных обоев, применяя для этого ксилографию. Его последние годы прошли в нищете, и умер он в приюте для бедных.

Должно было пройти почти полтора века, чтобы Гоген, Воллатен и Мунк отмели старое табу и нашли новые захватывающие возможности для цветовых решений в ксилографии. Вот тогда и вспомнили об английском пионере техники кьяроскуро Джоне Баптисте Джексоне. По существу, его новаторские гравюры открыло прошлое столетие, так как по силе звучания его листы соотносятся с работами экспрессионистов XX века. Гравюра из музейного собрания является высоким по качеству образцом творчества Д.Б. Джексона, произведения которого хранятся в крупных музеях мира. Обретя имя своего создателя, теперь она служит украшением коллекции и нашего музея.

Петр Гулько

«Это же рука Паганини!»

Ах, Одесса! Только побывав в этом городе, вдохнув пьянящий аромат одесских акаций и прислушавшись к легкому плеску морской волны, можно увидеть уходящий вдаль краешек белого паруса, синеву ослепительного черноморского неба и по-настоящему ощутить солнце над головой! Оно разливается по всему городу: и по Потемкинской лестнице, и по улицам Старопортофранковской и Ришельевской…

Ах, Одесса! Город, прославленный своими сынами! Без Одессы не было бы Бабеля, Ильфа и Петрова, Паустовского, Багрицкого, как не было бы Ойстраха, Гилельса, Рихтера…

Сеня, Сенечка, дорогой! Имя Семена Исаевича Снитковского для нас – одесских мальчиков, отданных служению музыке, – было легендарным, знаковым. А мне повезло больше других: я оказался в числе его родственников, слышал рассказы высоких статных родителей Сени – тети Муси и дяди Исаи – о том, как им удалось сделать сына знаменитым. Тетя Муся говорила, что Сенечка в детстве не хотел пиликать часами на скрипке, а мечтал, как все мальчишки, гонять мяч во дворе. Чтобы заставить сына заниматься скрипкой, приходилось привязывать его к стулу!

Но вот Сенечка начинает одерживать блистательные победы на конкурсах, и весь город – ох уж эти одесситы! – гордится им. Сначала – престижное первенство на конкурсе Энеску в 1958 году, потом – лауреатство на брюссельском конкурсе Королевы Елизаветы в 1963! Чего стоит фото в семейном архиве, где Семен запечатлен с самой королевой – восторженной поклонницей его незаурядного таланта! (Неужели для того, чтобы стать таким же знаменитым, как Сеня, надо было привязывать себя к стулу?!)



Совсем недавно мне довелось побывать в гостях у сына Семена Исаевича, Александра Снитковского, замечательного скрипичного лекаря-реаниматора-реставратора, человека, который возвращает старинным скрипкам их подлинные голоса. От него я услышал еще одну удивительную историю из семейных преданий.

В те достославные времена, накануне Второго конкурса Чайковского 1962 года, министр культуры Е.А. Фурцева вызвала к себе на прием нашего Сенечку, прошедшего на конкурс под первым номером. Красивая, умная и доброжелательная Екатерина Алексеевна, ласково взглянув на Сенечку, сказала: «Дорогой Семен, наш разговор – абсолютно между нами. Вы идете первым номером на крайне важный для нас конкурс. Я очень уважаю ваш талант, но поймите меня правильно: к огромному нашему сожалению, мы не можем на этом конкурсе по ряду причин дать заслуженное вами первое место». Повисла трудная, тяжелая пауза. «Но, – сказала далее Екатерина Алексеевна, – грядет весьма значимое для страны событие – идеологически важный для нас и чрезвычайно ответственный конкурс Королевы Елизаветы в Брюсселе. Нам хотелось бы на этом конкурсе победить. Так что постарайтесь, пожалуйста, дорогой товарищ Снитковский!»

И, как мы уже говорили, Семен Снитковский постарался, и очень важная для Советского Союза медаль была завоевана!

Ах, эта знаменитая школа профессора Столярского и великие ученики Петра Соломоновича – такие, как Ойстрах, Ямпольский и Мордкович, у которого мне, кстати, тоже довелось поучиться (но, наверное, мало просто привязывать человека к стулу, нужно, чтобы у него было еще что-то от Бога)! Один из лучших учеников Мордковича и Ойстраха, «внук» Столярского, Семен Снитковский достойно продолжил славные традиции.

Так получилось, что, приехав к Давиду Федоровичу в Москву, Семен пришелся ему по душе и после аспирантуры стал его



ассистентом. В семейном кругу Снитковских часто повторялись слова, сказанные Ойстрахом: «Сеня, ну какая же у тебя кисть – это же рука Паганини!». Когда же Давид Федорович ушел из жизни, многие из его учеников перешли в класс Семена Исаевича. Ему еще не исполнилось 40, а он уже был профессором двух всемирно известных консерваторий – московской и будапештской!

…Звезды не выбирают место, где им зажигаться и гореть; звезды не выбирают время, когда они уносятся в бескрайние просторы неба…

Ах, Сенечка, дорогой Семен Исаевич, ты – по-прежнему наша легенда и наша гордость!

Москва

Леонид Авербух

Великие и большие

Есть личности здравствующие (их меньше…) и ушедшие, в отношении которых определения «великий», «классик», а то и «гений» стали общим местом, и это не подвергается сомнению на глобальном уровне. В полной мере такие определения относятся к нашему земляку, художнику Леониду Пастернаку (1862-1945), и его сыну, поэту и писателю Борису Пастернаку (1890-1960), родившемуся в Москве, но связанному с нашим городом, во всяком случае, в раннем периоде жизни, достаточно тесно. Очень трудно, скажем, сравнивать между собой столпов мировой поэзии, определять «ранговое» место каждого из них в этой плеяде бессмертных. Укажем лишь, что французские филологи считают Бориса Пастернака лучшим русским поэтом.

Как установил краевед и писатель Олег Губарь, родоначальник семьи Акива Пастернак приехал в Одессу в год ее основания, осенью 1794-го. Подпись деда Леонида и прадеда Бориса Пастернаков стоит под уставом одесского погребального братства, датированным 1795 годом. Семья Пастернак, указывает О. Губарь, пережила с этим городом все его взлеты и падения: войны, геноцид, погромы, эпидемии чумы и холеры.

Обширные семейные связи Пастернаков – Кауфманов – Фрейденбергов – Нейгаузов – Лурье – Еремеевых – Слейтеров – Вальтеров и др. – необыкновенно разветвленные и сложные. Обстоятельные научные биографии Леонида Осиповича и особенно Бориса Леонидовича более-менее известны любознательной публике. Однако до приезда в Одессу на церемонию открытия памятной доски Л.О. Пастернаку троих из многочисленных



Мемориальная доска в память о Л.О. Пастернаке, установленная на доме № 78 на Базарной улице, где жила его семья



Э. Пастернак-Слейтер, Е.Л. Пастернак и П.Е. Пастернак в Одессе. Ноябрь 2012

потомков художника я, читавший немало о великих Пастернаках, откровенно говоря, очень многого об отдельных представителях этих многодетных семей не знал, и только что прочитанная замечательная книга Дм. Быкова в серии ЖЗЛ «Борис Пастернак», высоко оцененная сыном и биографом поэта Евг. Пастернаком, не устранила эту неосведомленность.

Не могу не отметить здесь титанические усилия одесских краеведов проф. М.Б. Пойзнера, а также А.Ю. Розенбойма, сделавших возможным это знаковое событие в культурной жизни нашего города.

Стоя в толпе собравшихся в ноябре 2012 г. у дома № 78 на Базарной улице, я обратился к Евг. Голубовскому с просьбой хотя бы на расстоянии представить мне гостей города, и он пояснил мне, что прибывшие – внучка художника Лиза Пастернак и его правнуки, дети сыновей Бориса Леонидовича Елена и Петр Пастернаки.

Ничего, кроме степени родства этих троих с великими предками, ни тогда, ни затем из сообщений одесских СМИ я не узнал.

Стоявший рядом незнакомый мне немолодой человек сказал тогда о гостях своему собеседнику: «Но это же «маленькие» Пастернаки…».

Позже мне удалось кратко пообщаться с гостями, и у меня появилась естественная потребность узнать, что же представляет собой каждый из них, из этих «маленьких» Пастернаков, помимо их близкого родства с титанами мировой культуры. Это

узнавание, связанное с изучением главным образом электронных источников на русских и английских сайтах Интернета оказалось весьма интересным.

Итак, седая дама оказалась дочерью младшей сестры Бориса Пастернака Лидии Леонидовны и Эл. Слейтера Лизой Пастернак-Слейтер (вариант транслитерации – Слэйтер), которую на самом деле зовут Энн, а Лиза она только для близких и русскоязычных друзей. Елизаветой, как ее прозвали некоторые наши СМИ, ее не называет никто.

Пройдя по этой ветви генеалогического древа семьи, уточняем, что ее мать Лидия Леонидовна Пастернак (1902-1989), родилась в Москве. Любому, кто хоть чуть-чуть знаком с биографией Бориса Леонидовича Пастернака, понятно, в атмосфере какой высокой культуры и интеллигентности прошли ее детство и юность. В 1921-м Лидия вместе с родителями и сестрой Жозефиной выехала в Берлин, как тогда казалось, совсем ненадолго.

В 1926 г. она окончила химический факультет Берлинского университета и стала работать в Мюнхенском институте психиатрии; получила докторскую степень по биохимии. В начале 1930-х перешла в лабораторию психиатрии Института кайзера Вильгельма в Берлине (в той же группе работал Н. Тимофеев-Ресовский). В 1935 вышла замуж за своего коллегу по университету Элиота Слейтера и переехала на его родину в Англию. В своем доме в Оксфорде Лидия давала приют самым разнообразным людям – беженцам из фашистской Германии и Польши, бездомным поэтам и художникам. В Англию переехали также старшая сестра Жозефина и родители. Лучшую комнату «с северным светом» Лидия отвела отцу под мастерскую, где он много и плодотворно работал. Воспитывала своих четверых детей. После войны завязываются ее связи с русской колонией в Оксфорде, дружба с университетскими славистами, профессорами Н. Зерновым, Г. Катковым и др. Она уделяла много сил и времени изданию английского перевода прозы Бориса Пастернака. Всю свою жизнь Лидия писала стихи на русском и на английском языках. Приведу лишь одну из ее небольших лирических зарисовок.

Закат

Из окна поезда

Внизу – расплавленным кармином,
По-зимнему зловещ и жгуч,
Горит закат неукротимо.
Клубок лилово-серых туч
Повыше, он измазан, шалый,
Толченым жарким кирпичом,
Который еще с час, пожалуй,
Пылать в Геенне обречен.
А там, где над курчавой ватой
Прорвался – холоден и чист –
Небес отрезок, там заката
Тон розовато-золотист…



Эта фотография, которую я выудил с английского сайта, снабжена надписью: «Семья Пастернак. Второй слева во втором ряду Борис Пастернак, сидит справа Лидия Пастернак»
Очевидно, остальные – это Леонид Осипович, Розалия Исидоровна, Александр и Жозефина Пастернак. Кем является пожилая дама в центре группы – мне неизвестно.
Исходя из примерного возраста младших, можно предположить, что она сделана либо перед самым отъездом семьи из Москвы, или в Берлине. Однако там, в Берлине, Б.Л. Пастернак провел почти год в 1922-1923 гг. вместе с первой женой Е.В. Лурье, которой нет на фотографии

Поэтическое мастерство, умение облечь в четкую форму поэтические образы особенно пригодились, когда Лидия начала переводить стихи брата Бориса (первая книга вышла в 1958; в 1963 и 1984 изданы сборники с предисловием Лидии).



Лидия Леонидовна Пастернак. Последнее фото

Как свидетельствуют специалисты, переводы Лидии поражают гармоническим и образным сходством с оригиналом, в них слышна звуковая форма русского стихотворения, удивительное проникновение в знакомую ей с детства манеру выражения мысли поэтом.

С 1956 года Лидия была доверенным лицом брата в делах английских изданий.

Летом 1959 года она провела целый месяц в Америке, куда ее пригласили с лекциями и чтением своих переводов.

Впервые побывать в советской России, по которой она тосковала, ей довелось спустя тридцать девять лет после отъезда из Москвы. Дело происходило в страшные июньские дни 1960-го, когда в подмосковном Переделкино умер ее брат, которого, особенно после его вынужденного отказа от Нобелевской премии, знал весь мир. Перед смертью была послана телеграмма в Оксфорд. Поэт хотел проститься с близкими, но все метания Лидии перед воротами советского консульства были напрасны. Визу ей дали только через два дня после похорон.

После смерти Бориса она ежегодно приезжала в Москву, стала переводить на английский стихи А. Ахматовой, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Е. Евтушенко, публиковала их в разных английских журналах. Устраивала вечера русской поэзии в Пушкинском клубе в Лондоне и разных университетах Англии. Ее выступление в Карнеги-Холле в Нью-Йорке прошло с большим успехом.

Английские стихи Лидии вышли в книге «Before Sunrise» (Лондон, 1971), русские – в Женеве в 1974. Ее стараниями через год вышел сборный том воспоминаний, очерков и переводов о семье Пастернак (Женева, изд-во «Poesie vivante»). Последней работой Лидии была подготовка новых переводов для двуязычного издания стихов Бориса Пастернака (М., 1990). Архив Лидии Леонидовны хранится в ее доме в Оксфорде.

Жизнь ее сложилась совсем непросто.

Она сама растила своих четверых детей, Слейтер как врач работал в военных госпиталях, а в последний год войны он оставил семью, передав дом в распоряжение жены. Гордый и независимый характер помогал ей переносить невзгоды – боль и горе переливались в стихи. Недаром одна из ее поэтических книг, изданных в России, носит название «Жестокость бытия неотразима».

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство…

Это стихотворение Бориса Пастернака «Август», перевод которого Лидия, умирая, диктовала дочери Энн, по-русски выбито теперь на камне, под которым на кладбище в Оксфорде покоятся Леонид, Розалия, Лидия, Жозефина и Федор (муж Жозефины, ее кузен, носивший ту же фамилию) Пастернаки.

Подробнее о детях Лидии Леонидовны рассказал ее младший сын Николас Пастернак-Слейтер в интервью, данном в январе 2010 г. журналисту «Эха Москвы» литературному обозревателю Майе Пешковой (выборочный перевод мой. – **Л. А.**). Он разделил большую часть своей жизни между работой врача – специалиста в области гематологии, и автора публикаций научных и литературных переводов, в том числе произведений своего дяди Бориса Пастернака, ряда автобиографических эссе.

«У моей матери Лидии Леонидовны, – говорит он, – было четверо детей. Мой старший брат Михаил, Майкл, был профессором математики в Бристольском университете, теперь он в отставке, живет во Франции, – сказал Николас и продолжил: – Я сначала

изучал русский, немецкий языки и литературу, затем стал врачом. Закончив свою врачебную карьеру в Лондоне, я теперь тоже в отставке. Сейчас занимаюсь переводом переписки Бориса Леонидовича со своими родителями. Третья – это моя сестра Екатерина, тоже врач, психиатр в Оксфорде, так что в родительском доме живут четверо.

Четвертая из нас – это сестра Энн, для нас, когда мы по-русски говорим, то мы ее Лизой называем. Она тоже профессор Оксфордского университета по английской литературе.

Мы с сестрой очень близки, и вообще, все мы четверо – два брата, две сестры – очень близки друг другу. И мы с женой часто бываем в Оксфорде, навещаем Лизу, мою сестру, и конечно, смотрим произведения деда, которые в музее, – экспонаты меняются, это не всегда одни и те же картины, отчасти для того, чтобы все картины выставить рано или поздно, и отчасти, чтобы защищать картины от воздействия солнечных лучей. Я знаю произведения, которые там висят, и очень люблю их. И конечно, у меня дома тоже висит несколько его произведений».



Семейство Пастернак в Стэнфорде. 2010. Крайний справа – Петр Пастернак
Третий справа – Николас Пастернак-Слейтер

Далее Николас пояснил: «Часть дедовского дома в Оксфорде составляет исключительно музей. Остальное – это дом, квартира для моей сестры Лизы с мужем и их четверых детей. Теперь двое детей уже выехали, один сын – в Америку, дочь к нам в Лондон, а двое младших сыновей еще живут в Оксфорде».

Николас Пастернак-Слейтер в своих публикациях и выступлениях уделяет много внимания лирической поэзии своей матери, писавшей на русском, немецком и английском языках.

Итак, наша гостья, Энн Пастернак-Слейтер – профессиональный литературовед и переводчик, выпускница колледжа Св. Анны, работавшая научным сотрудником и преподавателем этого колледжа в Оксфордском университете. Энн Пастернак-Слейтер читала курс лекций о переводах ее дяди Бориса Пастернака пьес Шекспира на русский язык. Она перевела на английский «Исчезнувшее настоящее», воспоминания другого своего дяди, архитектора Александра Пастернака (1893-1982), а также произведения Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» и «Хозяин и работник». Она подготовила четвертое полное издание произведений современника Шекспира, английского и валлийского поэта и писателя Джорджа Герберта (1593-1633) на английском языке, пересмотрев многие позиции предыдущих редакций. («Народная библиотека», издательство «Дэвид Кэмпбелл», 1995), а также новое издание произведений английского писателя-сатирика Ивлина Во (1903-1966).

Еще одна работа Энн – «Театральная иконография Шекспира».

В октябре 2006 г. она приняла участие в международной конференции «Шекспировские чтения – 2006» в Москве, на кафедре зарубежной литературы Государственного института искусствознания.

Ее супруг – Крейг Рейн, английский поэт и критик. Удалось узнать об одной из дочерей Энн и Крейга. Нина Рейн, еще одна правнучка Л.О. Пастернака, многообещающий драматург, пьесы которой поставлены рядом британских театров. Она удостоена престижной премии «Evening Standard» (30000 фунтов стерлингов) за пьесу «Кролик».

Источники сообщают также, что на сцене RSC в Стратфорде-на-Эйвоне состоялась премьера пьесы братьев Дурненковых

«Пьяные» в постановке лидера новой британской драмы Энтони Ниэльсона, проект имел огромный успех у публики и самых влиятельных критиков и журналистов. «Пьяные» – дикая история о провинциальном городке, в который возвращается герой – контуженный солдат чеченской войны – поставлена в брехтовском ключе: жесткая и поэтичная, полная резкого черного юмора и пронзительно-лирических сцен. В полном смысле шекспировский принцип рождения пьесы предшествовал всей работе – коллективной по духу, где уже написанный текст подвергся сильнейшей адаптации. Далее говорится: «Автор перевода – потомок Бориса Пастернака, известный режиссер Нина Рейн – попыталась найти исключительно британские аналогии к русским реалиям. Судя по взрывам хохота и внезапным зонам тишины в зрительном зале, ей это прекрасно удалось».



Энн (Лиза) Пастернак-Слейтер в Одессе

На сайте Евразийского журнального портала «Мегалит» из занятного интервью Валерия Печейкина (российский драматург, сценарист, журналист, лауреат премии «Дебют») узнаем, что лондонский театр «Royal Court» заинтересовала его пьеса «Net», переводчиком и режиссером которой также выступила Нина Рейн. Автор был на репетиции и пытался, размахивая руками и напевая Шостаковича, объяснить британским актерам, что он имел в виду. Актеры сидели на стульях и читали текст по-английски. Просьба автора прочесть его с другой интонацией, встать и походить, привела всех сначала в вежливое негодование, а затем – в открытое. В результате они с режиссером Ниной Рейн поругались. Она объяснила, что в контракте сказано, что актеры могут только

сидеть на стульях и читать текст с минимальным выражением, так как это не настоящая репетиция. После этого актеры развеселились, и автору стало многое понятно про собственный текст. Они с Ниной помирились: она узнала, чего он хотел, а он узнал, что она родственница Бориса Пастернака.

Очевидно, Нина Рейн и есть та самая племянница Николаса Пастернака-Слейтера, одна из четырех детей Энн и Крейга (четверо детей в семье – просто традиция поколений семьи Пастернаков), упомянутая им в вышеприведенном интервью, которая переехала к нему в Лондон.

Судя по данным, которые мне удалось раздобыть, у этой четы, Энн и Крега, среди четырех упомянутых Николасом детей есть еще сын, которого старшая сестра Нина называет Васькой. Встречается еще указание «самый преданный ее читатель двадцатидвухлетний брат Нины Моисей Рейн» (перевод мой. – **Л. А.**), хотя, не исключено, что это и есть тот самый Васька.

Как рассказала Энн Пастернак-Слейтер, это ее второй приезд в Одессу, впервые она побывала здесь в 1960 г.

Музей в доме деда на ул. Таун-Парк в Оксфорде, в котором живет внучка Пастернака, открыт для широкой публики. Когда мне в 2006 г. довелось побывать в Оксфорде, я, к глубокому сожалению, не знал о такой возможности, а английские гиды не обратили нашего внимания на этот (по их терминологии) «объект».

Еще одна гостья на церемонии открытия мемориальной доски – Елена Леонидовна Пастернак, дочь младшего сына Бориса Пастернака и его второй жены Зинаиды Николаевны Еремеевой-Нейгауз и, соответственно, правнучка Л.О. Пастернака. Леонид Борисович Пастернак (1938-1976) по профессии физик. Работал в группе, руководимой Б.К. Севастьяновым, и был соавтором значительного числа его работ по спектроскопии ряда активированных кристаллов в возбужденном состоянии. Воспоминания друзей и коллег по лаборатории создают четкое впечатление о нем как о человеке, одаренном многими талантами, которыми он был обязан и воспитанию в традициях семьи знаменитых деда и отца – Леонида Осиповича и Бориса Леонидовича Пастернаков. Но в нем были и черты матери Зинаиды Николаевны – мягкая красота и изящество, трудолюбие, внутренняя сдержанность и ровность

в отношениях, доброта к людям. При общении в Лёне, как его называли друзья, абсолютно отсутствовало, по крайней мере внешне, осознание своей очевидной избранности. Он был большим мастером пера и, кроме того, декламировал наизусть поэтические произведения большого объема. Он был умно, изящно и воспитанно прост, незлобив, никогда не раздражался. Элегантно одевался. Если его что-то задевало, в нем проглядывал немного обиженный большой ребенок. Мать Елены Пастернак – Наталья Анисимовна. Ее девичья фамилия мне неизвестна.



Л.Б. Пастернак

Леня Пастернак был очень способным человеком, легко схватывающим на лету многие вещи. Он мог выразить себя во многих областях и отличался готовностью самозабвенно работать. Но самой сильной стороной, кроме понимания людей, было абсолютное ощущение слова и умение им пользоваться. Он обладал мягкозвучным и хорошо поставленным голосом с интонациями Бориса Пастернака. Осложнения в судьбе отца не обошли и его. Он рассказывал, что какие-то люди забрасывали его камнями, когда Пастернаку была присуждена



Н.А. Пастернак

Нобелевская премия. Таким высокодуховным людям, считают авторы воспоминаний о нем, трудно жить в миру.

Многим Пастернакам было суждено долгожительство, но слишком рано, на 39-м году, оборвалась жизнь этого незаурядного человека.

После смерти Бориса Леонидовича его сыновья приняли совместное решение о том, что Евгений Борисович с семьей опекает литературное наследие и переписку, а семья Леонида Борисовича занимается хранением переделкинского дома, впоследствии – музея Б.Л. Пастернака. Поднявшаяся в свое время на Западе и в общественном мнении волна протестов защитила дом К.И. Чуковского от уничтожения и помешала Литфонду поселить в доме Пастернака предполагавшегося очередного писателя. Дом несколько лет простоял пустым и незадолго до столетнего юбилея Пастернака был передан на баланс Литературного музея для устройства в нем мемориальной экспозиции.

Вплоть до своей смерти в 2012 году жена Леонида Пастернака, Наталья Анисимовна, была директором музея. Хранителем музея в настоящее время является наша гостья Елена Леонидовна.



Дом-музей Пастернака в Переделкине

Кстати, в одном из своих интервью Наталья Анисимовна напомнила, что формально Нобелевская премия присуждена Борису Пастернаку не за роман «Доктор Живаго». Решение Шведской академии гласит: «За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и продолжение великих традиций великой русской прозы».

Беседуя о содержании своей деятельности с двоюродным братом Генрихом Нейгаузом-младшим, постоянно живущим в Израиле, Елена Леонидовна сказала: «У меня очень удобная, «эластичная» профессия. Я и переводчик, и преподаватель, и лингвист. В общем – университетский человек. Это значит, что наполовину моя профессия – учить студентов французскому языку, и на другую половину – писать научные всякие штуки по французской философии и языкознанию семнадцатого-восемнадцатого веков. Иногда мне удается поработать для телевидения в качестве автора сценария документального кино. За все, что я успела наработать во всех областях, ставлю себе твердую «четверку» – без стеснения и кокетства».

«Дачников привлекают в Переделкино живописная местность и густой и тенистый лес, в котором много грибов и ягод». В свое время эти скучные строчки из советского справочника вызывали у маленькой Лены трепетную радость, почти восторг, «…потому что в них было предвестие будущей переделкинской жизни, нашего дома, детства моего отца и моего детства». Внучка поэта, не знавшая живого Пастернака, продолжает: «Я некоторые вещи переживаю очень болезненно – мне действительно просто физически больно читать некоторые письма. Поэтому, что касается моей позиции как потомка Пастернака, то я бы не публиковала большую часть того, что опубликовано. Слишком Пастернак в них подлинный, слишком незащищенный».

Сегодня Е.Л. Пастернак – доктор филологических наук, профессор филфака МГУ им. Ломоносова. Она ведет практический курс французского языка и специальный курс истории французской лингвистики, а также читает лекционный теоретический курс стилистики французского языка. Является автором 50 научных статей и двух монографий: «Риторика Лами в истории французской филологии» и «Формирование основных направлений



Елена Леонидовна Пастернак

французской лингвистической мысли XVIII века». По ее словам, она ощущает себя еврейкой, хотя имеет для этого «ровно 50% оснований», и равно близкой Пастернакам и Нейгаузам.

Она очень любит Израиль, где бывала неоднократно. Непростой вопрос об отношении Б.Л. Пастернака к еврейству она не считает важным для «пастернаковедения». Музыкой занимается на уровне «хорошо, что могу дома играть себе самой», хотя училась у незаурядных педагогов.

Третий гость церемонии в Одессе, Петр Евгеньевич Пастернак, один из трех детей старшего сына Б.Л. Пастернака от его первого брака с Евгенией Владимировной Лурье – Евгения Борисовича, который считал расставание родителей в 1931 году самым большим горем в своей жизни. Мать Петра Пастернака – Елена Владимировна Пастернак (Вальтер).

Рассматривая эту ветвь древа семьи, отметим, что Евгений Пастернак (1923-2012) с 19 лет, с 1942 по 1954 гг., служил в Вооруженных Силах, участник Великой Отечественной войны. В 1946 окончил Академию бронетанковых и механизированных войск по специальности инженер-механик по электрооборудованию и системам автоматического управления, кандидат технических наук. С 1954 по 1975 годы – старший преподаватель факультета автоматики и телемеханики Московского энергетического института, откуда, как он сам вспоминал, его фактически выгнали за то, что он провожал в аэропорту Шереметьево жену и сыновей А.И. Солженицына, отбывавших для воссоединения с отцом, изгнанного из СССР.

Как рассказывает сын Е.Б. Пастернака Петр, Борис Леонидович в свое время отвадил Евгения Борисовича от желания быть

гуманитарием. Он считал, что в то страшное время любая гуманитарная деятельность была связана с политикой, подлостью и враньем. И был совершенно прав. Но отцу все же пришлось им стать как раз из-за политики, подлости и вранья.

С 1960 г. Евгений Борисович на профессиональном уровне занимается историей литературы, текстологией, становится специалистом по творчеству Бориса Пастернака. С 1976 – научный сотрудник Института мировой литературы АН СССР (РАН). Он составитель и комментатор первого полного 11-томного собрания сочинений Пастернака, вышедшего пятитысячным тиражом в издательстве «Слово» (октябрь 2005). Постоянный участник и докладчик на научных конференциях, посвященных творческому наследию Пастернака.

В начале восьмидесятых годов стало очевидным, что запреты на издание книг Бориса Пастернака только усиливают интерес к нему и увеличивают поток его публикаций на Западе. Некоторая коммерциализация издательств толкала их на попытки



Евгений Борисович Пастернак

добиться разрешения печатать произведения писателя. Уже в конце 1981 г. Евгений и его жена Елена, вместе работавшие над наследием Бориса Леонидовича, сдали в издательство «Советский писатель» сборник прозаических работ Бориса Пастернака, названный «Воздушные пути». Евгений Борисович долго и внимательно подбирал к сборнику иллюстрации, для них были использованы наброски Леонида Пастернака, и этот опыт наглядно показал, как кровно близки были отец с сыном самим духом своего творчества.

С приближением горбачевской «перестройки» все поняли, что работа над пастернаковским архивом – не так уж факультативна, и уже в 1985 году вышел довольно полный двухтомник в «Художественной литературе».

Многие издательства чувствовали, что приближающийся столетний юбилей поэта откроет так долго и крепко завернутые краны, родителям Петра было поручено готовить пятитомное собрание сочинений. «Советский писатель» заказал Евгению Борисовичу биографию его отца. И та, и другая работы шли медленно, параллельно печатались многочисленные журнальные публикации. Наконец в 1987 году Сергей Павлович Залыгин, главный редактор «Нового мира», отважился печатать роман «Доктор Живаго» и получил на это разрешение. Итальянский «фельтринеллиевский» копирайт на текст романа требовал внимательнейших сверок для выявления более поздней авторской правки. Роман вышел в первых четырех номерах 1988 года. В 1989-м, несмотря на онкологическую операцию, чудом прошедшую успешно, Евгений Борисович дописал и сдал книгу «Борис Пастернак. Материалы к биографии» – почти 700 страниц авторского текста содержали все известные на то время сведения о жизни и творчестве писателя.

В последующие годы книга была дополнена обнаруживавшимися (в связи с изучением семейного архива в Оксфорде и открытием спецхрановских архивов) документами и была затем дважды переиздана.

Следующей серьезной работой Евгения Борисовича стала книга переписки Бориса Пастернака с его первой женой Евгенией Владимировной. Эту работу он считал исполнением очень важно-

го долга перед своей матерью, поскольку именно ее связанность с Борисом Пастернаком и его никогда не прерывавшаяся забота о ней избавили ее от необходимости всерьез заботиться о своей социальной карьере и, несмотря на очень высокий профессиональный уровень ее работ, она не заняла подобающего ей места в списке исторически значимых имен художников-сверстников.

Евгений Пастернак выступал с лекциями в ряде европейских университетов и ведущих университетов США. Общее число его печатных работ, посвященных жизни и творчеству Пастернака, его отношениям со знаменитыми современниками, достигает двух сотен. Под его редакцией вышло еще несколько изданий собраний сочинений поэта, а также переписка, сборники, воспоминания и материалы к биографии Б.Л. Пастернака. Именно он явился автором первой полной отечественной биографии Б.Л. Пастернака, созданной на основе богатейшего эксклюзивного архивного материала, прежде всего, из бережно сохраненного семейного архива. Приезжавшие в Москву западные исследователи творчества Пастернака неизменно обращались за помощью и консультациями к Евгению Борисовичу. После такого рода посещений, иной раз длившихся месяцами, в разных странах появлялись диссертации и книги таких авторов, как Кристофер Барнс, Катерина О'Коннор, Мишель Кутюрье, Ангелика Майер, Элиот Моссман, Мария Лекич, Анна Юнггрен.

9 декабря 1989 года в Стокгольме Евгению Пастернаку были вручены диплом и медаль нобелевского лауреата, присужденные его покойному отцу.

Главным и наиболее содержательным источником информации о сыне Евгения Борисовича, Петре Евгеньевиче Пастернаке, для меня стали несколько его интервью, а среди них – прежде всего то, что он дал Катерине Кронгауз из «Московских новостей». Складывается впечатление о незаурядном, очень своеобразном человеке. От художника, выставившего на благотворительный аукцион картину, названную «Три маленьких китайца играют на контрабасе норвежскую песню», можно ожидать любых сюрпризов. А разве они, незаурядные, бывают не своеобразными?

Петр – единственный из четырех внуков Бориса Леонидовича, родившийся при его жизни. Часть своего интервью

он передал корреспонденту в письменном виде. Вот что он сам написал о себе:

«Я, Петр Евгеньевич Пастернак, родился 13 ноября 1957 года в семье преподавателя физики и студентки Классического отделения филфака МГУ. С четырнадцати до девятнадцати лет я учился живописи у замечательного художника Бориса Георгиевича Биргера. Потом поступил на художника-постановщика в Школу-студию при МХАТе. Я никуда не хотел, то есть не знал, куда поступать. Родители нашли знакомых в институте МХАТа. Там есть постановочный факультет...»

«Дальше, – сказал он – там по бумажке прочитай – все написано».

«Служил в Алабинском кавалерийском полку, из них три месяца эскадронным писарем, демобилизован рядовым». И далее: «Армия – самое ужасное время. Эти полки никому на самом деле не нужны. Людям абсолютно нечем себя занять, они от этого звереют, а ты все время только и думаешь, сможешь или нет к родителям на выходные поехать…»

Постоянно поглядывая на часы, он продолжил рассказ. Отвечая на вопрос о причине своего ухода из театра Марка Розовского, где он два года проработал главным художником, Петр Евгеньевич сказал, что совершенно не умеет работать с людьми, ему скучно присутствовать при рождении истины в споре, хотя он легко и быстро понимает, чего от него хочет конкретный заказчик. Без малейшего перерыва в стаже был принят в небольшую театральную группу «Товарищество актеров и музыкантов», в широкой деятельности которой прошли последующие шесть лет. Он рассказал также, что легенда о несметных «пастернаковских деньжищах» связана с Нобелевской премией деда. Хотя те, кто по-настоящему интересуются его творчеством и жизнью, знают: Борис Леонидович под давлением вышестоящих властей отказался от нобелевки. И премиальные он не получал! Единственное, он, как и все наследники деда, время от времени получает небольшие доходы от переизданий его трудов. За что ему бесконечно благодарны. «А я человек небогатый, так что…»

В отличие от деда и прадеда, он не считает себя художником, творцом, хотя работа его и связана с неким креативом. Петр занимается дизайном интерьеров в клубах. При этом работает

в малых формах (как у Шекспира, объясняет Петр) – куча деревянных балок и крошечная сцена вроде шкафа. Два портала, как возрожденческий театр, и на полках куклы. Ему хотелось, чтобы посетитель запутался в том, *кто же настоящего размера: театр с маленькими куклами или люди, которые туда пришли.*



Петр Евгеньевич Пастернак

Строить клубы – очень прибыльное дело. Но не для Петра Пастернака. Он не умеет зарабатывать, считая, что это скучно. Иногда он делает только макеты для заказчиков. Ему предлагают большие деньги, если он возьмется все это еще и построить. Но он отказывается, потому что это тоже скучно.

В его комнате много абсолютно непонятных вещей. Он называет это «мшелоимством», привычкой, характерной для монахов-келейников. «Все, что мне нравится и что у меня есть, в принципе, никому не нужно», – говорит он.

Российские СМИ свидетельствовали, что Петр Пастернак, *нигде постоянно не работающий строитель, – культовый персонаж современности,* который, создав абсолютно новую клубную культуру и построив около десяти лучших клубов Москвы («Белый таракан», «Кризис жанра», «Вермель», «Пропаганда», «Проект ОГИ», «Китайский летчик Джао Да», «Дом Кукера»), живет в квартире на Тверской с обваливающимся потолком и ездит на уазике.

«Занимаясь архивами деда, разбирая редкие фотографии, письма, дневники, – говорит Петр в другом интервью, – я выстроил для себя такой сильный его образ, что любые детские воспоминания померкли бы перед ним».

Скромность его представляется искренней. Он говорил: «Никакой я не знаменитый, просто никуда не продвинувшийся

художник. Моя необычная манера оформления клубов – результат странной и не очень цветущей карьеры. Громкая фамилия деда сильно помогала. Долгое время я думал, что это не так, но лет в 45 понял, что с другой фамилией моя жизнь складывалась бы не так легко. Куча народу с гораздо большими способностями или спилась, или нищенствует, или свалила за границу. Эмигрировать я никогда не собирался. Из моих недавних зарубежных работ – клуб в Которе, в Черногории».

Петр Евгеньевич рассказал, что в 1979 году они с отцом Евгением Борисовичем приезжали в Одессу, выписав с конвертов одесские адреса, ходили, искали их. Но все было не похоже на правду, не сходилось. И, как оказалось, не без оснований, потому что сместилась нумерация домов. «И то, что наконец удалось установить точный адрес нахождения этого дома, очень хорошо, – говорит Петр Пастернак, правнук Леонида Пастернака, внук Бориса Пастернака. – Мы выражаем огромную благодарность Михаилу Борисовичу Пойзнеру за увековечение памяти нашего прадеда. Для нас это очень важно, как, надеюсь, и для города, и для одесситов».

Не могу не отметить подтверждаемое приведенными фото огромное внешнее сходство Евгения Борисовича с отцом. Петр Евгеньевич тоже очень похож на деда в молодости, и в свои 57 лет, несмотря на седину в черной шевелюре, стриженной «в кружок», выглядит не более чем тридцатилетним.

Мы не касаемся здесь двух не менее интересных, ярких представителей этой славной семьи – старшей дочери и младшего сына Леонида Осиповича и Розалии Исидоровны, Жозефины (подомашнему – Жони) (1900-1993), доктора философии, тонкого и глубокого поэта и переводчика, стихами которой восхищался Борис Леонидович, страстного собирателя творчества отца и брата, и Александра (1893-1982), крупного архитектора и литератора.

Я назвал этот очерк «Великие и большие». Думается, что читатели без колебаний согласятся, что отнюдь не «маленькие» все эти многочисленные потомки рожденного в нашем городе великого художника Леонида Пастернака. Достойные славных предков. Большие. Очень большие…

Степан Чахотин – автор «Голубой тетради»



С.С. Чахотин. 1910-е годы

Изучая историю литературы в Одессе, мы с каждым годом находим новые, забытые имена литераторов Серебряного века, ставших жертвами террора в годы советской власти.

Естественно, первое имя, которое вспоминается, – Вениамин Бабаджан, поэт, художник, искусствовед, расстрелянный в 1920 году. Сравнительно недавно мы узнали, что в Одессе в 1921 году чекисты расстреляли поэта Николая Бурлюка, брата «отца русского футуризма» Давида Бурлюка.

Недавно в Одессе побывал известный литературовед, профессор Иерусалимского университета Роман Тименчик. Он удивленно спросил: «А разве вы не писали еще о Степане Чахотине – поэте, художнике, авторе сборника «Голубая тетрадь», расстрелянного в 1931 году в Одессе?».

Так что Большой террор – это не только 1937-1938 годы, он на-

чался гораздо раньше. Роман Тименчик любезно сообщил нам адрес племянника Степана Чахотина – художника Пьера Чахотина, живущего в Италии и в России. Связавшись с ним, мы получили его статью о Степане Чахотине, отрывки из его писем матери, рисунки, фотографии, стихи.

В 2014 году в России выйдет большая книга материалов о Степане Чахотине, и можно надеяться, что этот незаурядный человек вернется в русскую литературу.

Евгений Голубовский

Степан Степанович Чахотин (1889-1931 гг.)

К открытию выставки акварелей и рисунков в Русском культурном центре в Монжероне под Парижем, посвященной 50-летию его гибели

Статья была мной написана и напечатана под псевдонимом Сергея Огнева в июльском номере 1981 года парижской газеты «Русская мысль». Теперь с незначительными доработками на страницах одесского альманаха «Дерибасовская – Ришельевская» она выходит в 2014 году – в 125-ю годовщину его рождения и 100 лет спустя после публикации в Ярославле «Голубой тетради» – его единственного напечатанного сборника стихов. Тем самым состоится символическое возвращение поэта в город, где он жил и погиб во время репрессий 1931 года, известных как «Дело Весна», или «Расстрел военспецов». Я глубоко признателен Е.М. Голубовскому за предоставленную возможность через рассказ о моем дяде вернуть его в Одессу среди живых.

Петр Чахотин

11 июля 1981 года исполняется 50-летие мученической смерти Степана Степановича Чахотина, чуткого поэта и тонкого художника, расстрелянного в Одессе в 1931 году.

Будучи не от мира сего, он не был приспособлен к «строившейся новой жизни» в России и потому в нашей семье он оказался первой жертвой произвола НКВД.

После Ст. Ст. Чахотина в семейном архиве осталось около 400 его писем к матери, сборник стихов «Голубая тетрадь», более чем

К ОТКРЫТИЮ ВЫСТАВКИ АКВАРЕЛЕЙ И РИСУНКОВ
В РУССКОМ КУЛЬТУРНОМ И ДУХОВНОМ ЦЕНТРЕ В МОНЖЕРОНЕ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 50-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ СМЕРТИ.

Степан Степанович Чахотин



II 1899 - 1931 II

Только в «РУССИКЕ»

Юз АЛЕШКОВСКИЙ. Рука. Повествование поэта. Роман. 314 с. 16.00
Светлана АЛЕКСИЕВИЧ. Завидуйте песне с другу. 216 с. 10.00
Б. БАКАНОВ. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. 320 с. 15.00
И. БАШЕЛЬС. ДИНТЕР. Раб. Роман гарема глазами поэта. 384 с. 5.00
Роман. Часть 2 нет. Русские. Мемуары. 368 с. 5.00
Д. БЕРСЕНЕВ. Пушкин в жизни. 2 тома в одном. 448, 467 с. 25.00
А. ВЕРТИНСКИЙ. История тоталь. нападения в России. 224 с. илл. 10.00
А. ХИСЕЛЬЯ. Обезьяна генерала. А. А. Власова. 227 с. 8.00
Г. ГАЛИЦКИЙ. Конец мифа (нет). Роман. 339 с. 10.00
Лев КОПЕЛЕВ. Утоли моя печали. Мемуары. 320 с. 9.00
Эдуард КУЗНЕЦОВ. Медвежий каприз. 254 с. 10.00
Эдуард ЛИМОНОВ. Это я — Эдичка. Роман. 287 с. 9.50
Владимир НАБОКОВ. Пнин. Роман. 304 с. 7.00
Владимир НАБОКОВ. Приглашение на казнь. Роман. 218 с. 7.00
С. Г. ПУШКАРЕВ. Россия и ЮЗР между (1901-1914). 508 с. 15.00
Лион ЮРИС. Экзодус. Книга в 2-х т. 800 с. 10.00
Анатолий ЯКОБСОН. Конец повторим. Эссе о Бунине, Ахматовой и др. 236 с. 5.00

Новеллы детектива

S. ARNSTEIN. Mcmurtry. 184 p. 5.50
Джон Ле КАРРЕ. Шпион, который вернулся с холода. 240 с. 7.00
Агата КРИСТИ. Двенадцать негритят. 175 с. 5.00
Агата КРИСТИ. Наследница. 181 с. 5.00

Книги детям

Льюис КЭРОЛЛ. Приключения Алисы в стране чудес. 156 с. Ти. тир. 4.00
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Альманах. Фантастика, авантюры. 320 с. Ти. тир. 6.50
А. С. ПУШКИН. Руслан и Людмила. Илл. худ. Пилипа. 112 с. 5.00

Все цены даны в долларах США.

Заказы направлять по адресу:

RUSSICA BOOK & ART CHOP, 799 Broadway, New York, N. Y. 10003 USA.

Оплачивает тех, производящие мои продажи США. Прошу добавлять 1.00 долл. за посылку + 75 центов за каждый последующие экземпляр по почтовому обычной книги.

За пересылку заказной бандеролью добавлять 3.00 долларов.

200 рисунков, акварелей-миниатюр, виньеток, рисованных открыток. Не меньшее их число потеряно при пересылке по почте в 20-х годах, около 120 крупных работ (масло, темпера, карандаш) разошлось по Одессе в ту же пору, несколько десятков его работ было распродано на выставках во Франции и Италии в 1918-1919 гг. Число работ, утерянных при аресте, неизвестно. Пропали бесследно несколько неопубликованных тетрадей стихов, рукописи рассказов, пьес, критических заметок и пр., о коих упоминается в письмах. Пропала также жизнь талантливого, сердечного и отзывчивого человека, как, впрочем, и многих других совершенно безвинных людей нашей страны.

Ст. Ст. Чахотин родился в 1889 году, 1 октября (ст. ст.), в Константинополе в семье русского консула Степана Ивановича Чахотина. Он был младшим из 4-х братьев.

Все свое ранее детство он проводит сначала в Турции, а затем на юге Сербии, в городе Нише, куда отец направлен на дипломатическую службу в качестве представителя российского государства при сербском дворе. Южное море, изобилие солнечного света и тепла, «звенящие» краски средиземноморской природы, жизнерадостность и темперамент южан на всю жизнь оставили неизгладимый след в чуткой душе мальчика, воспитывавшегося в исключительно благоприятных для духовного развития условиях окружения консульского дома, но в одиночестве. Старшие братья были отправлены на учебу в Россию, в Одессу. Родители разошлись по неизвестной нам сегодня причине, и мать, дворянка венгеро-итальянского происхождения, уехала жить в Италию и на Французскую Ривьеру. И вот сначала недоумение, а затем боль закрадываются в душу подростка. Еще нетвердым детским почерком он пишет первые письма к матери, нежно называя ее *Мусей*, рассказывая ей об увиденном, о своих юношеских переживаниях; нередко он вкладывает в письма собственные стихи и сам разрисовывает картолины (почтовые открытки). Таким образом, уже в то время вырабатывается у него привычка, ставшая затем внутренней потребностью, частью его самого, и красной нитью прошедшая через всю его жизнь, – переписка с родительницей, свидетельство о самом сильном чувстве, жившем в нем: любви к матери.

Эти письма, зачастую иллюстрированные им в самых различных и невероятных местах – в поездках, учебе, на войне, в заключении в одесской тюрьме или в периоды пребывания в самой безысходной житейской яме – из года в год без прикрас и вымысла повествуют нам сегодня, более полвека спустя, о жизненном пути и трагедии этого человека.

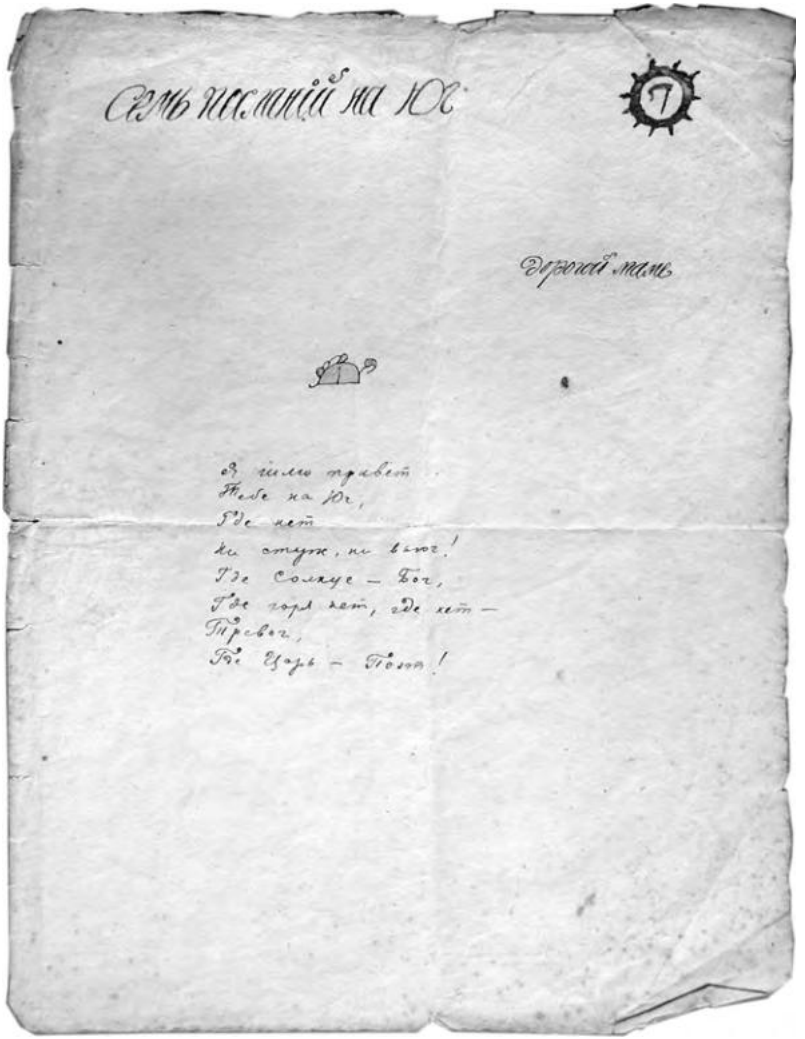
1903 г. знаменует начало его самостоятельного существования – учеба в одесской гимназии и жизнь в пансионе, вдали от отчего дома. Россия – ее холод, снежность, внешняя безликость, угрюмость, бесчисленные бессмысленные вечно неразрешимые проблемы – разительно отличается от привычного любезного южного края:

«…где нет
ни стуж, ни вьюг,
где солнце – Бог,
где горя нет, где нет –
тревог,
где царь – Поэт»,

о чем пишет он в стихотворении «Семь посланий на Юг» (1905 г.), в котором удивительным чутьем поэта невольно задолго до трагических событий предвидел свою судьбу. И потому, как только наступает каникулярное время, со рвением стремится он на юг, в Ниш, Венецию, Верону…

1908 г. Москва. Учеба в Николаевском лицее. Рядом со скучными занятиями по римскому праву – увлекательная культурная жизнь литературных салонов, стихотворных кружков, театров, балов. Несмотря на ограниченные средства к существованию, посылаемые отцом на учебу, он живет активной творческой жизнью, много рисует, пишет стихи и читает их в кружках среди своих сверстников и близких друзей – Пети Лермонтова и Юрия Всеволодовича Мусина-Пушкина, с которыми он не порывал дружбы до конца своих дней.

Осенью 1910 г. он поступает в Демидовский лицей (Ярославский университет) на факультет права. Город на Волге приводит его в уныние своей провинциальностью, многомесячным



затишьем, плоскостью. Воспоминания об Италии, каналах и палацци Венеции, нежных звучаниях мандолин не дают ему покоя. Он часто ездит в Москву, чтобы окунуться в творческую круговерть столичной жизни. Увлекшись театром, он начинает выступать

в Ярославском театре имени Волкова в пьесах «Измаил», «Принцесса Турандот», «Царь Эдип» и др. Это окрыляет его. Он чувствует в себе поэтическую наклонность и много пишет. Наконец в 1913 г. сборник стихов готов, но средств на его издание нет. Тем временем он заканчивает университет, поступает на службу, у него появляются кое-какие свободные деньги, что дает возможность «Голубой тетради» увидеть свет в 1914 г. в количестве 500 экземпляров за несколько месяцев до начала первой мировой войны.

…Мне снится вновь
И призрачность каналов,
И тихая печаль гондол,
И дружный звон изысканных бокалов,
И убранный цветами стол…

Таков лейтмотив сборника и довоенного периода молодого русского поэта, в мечтах и грезах стремившегося к неуловимой гармонии.

Эйфория первых месяцев войны. После военных лагерей под Рязанью Ст. Ст. Чахотин произведен в офицеры и в чине поручика направляется на фронт в Южную Польшу, в Галицию, возле города Грибов, где командует гренадерами 405 пехотного Льговского полка. В начале 1916 года он переведен в Русскую армию во Франции, откуда в составе 7-го полка 4-й особой бригады Восточной армии он командируется на македонский фронт. После ранения он заболевает малярией и в начале 1917 года лечится в госпитале в Каннах. Он находится во Франции, когда в России происходит Февральская революция, а затем октябрьский переворот. Русская армия во Франции разваливается. Он пытается добровольцем перейти в итальянскую армию, но безуспешно, и собирается выйти в отставку.

Но вот случается непредвиденное: потеря в 1919 г. в поезде в Лионе чемодана с личными вещами решает его дальнейшую судьбу. Он вынужден остаться в армии и преподает бомбометание и пулеметную стрельбу в лагерях под городом Сабл-д'Олонн на берегу Атлантики. Оставшись без средств к существованию, он сильно бедствует. В конце 1919 г. ему предлагают подписать обязательство на отъезд в Россию.



16/V 1905

Дорогая Муся!

Целую крепко тебя и всех
весточки. Сегодня приходил
Мандер с планом имения,
Судя по всему это, кажется,
хорошее имение и много
арендат. Я только сделал
ошибку, написав 791 десятин
вместо 719. Что сердишься? Я
писал ему в десят 28 мая.
Отправился! До свидания!
Целую еще. ос 7. 7. 1. Сашок
стена

Почему ни [illegible]
деньги?

Ирония судьбы и несправедливость жизни: переехавшая в Ментон мать, которой в течение всей войны он высылал большую часть своего офицерского жалования, вместо того чтобы поддержать сына, заваливает его потоком панических (из-за отсутствия у нее денег) писем. Он всячески пытается ее успокоить, и, в конце концов, в надежде, что сможет привезти из России средства для матери, дает согласие на отправку в Россию.

До отъезда он много рисует, устраивает ряд выставок своих рисунков и акварелей в Ментоне, Тулоне, Ницце, Венеции. На них представлены ранние произведения: акварели-миниатюры, орнаменты, фантазии, виньетки, рисованные тушью, рисунки карандашом из русского периода, зарисовки с фронта и виды моря в Сабл-д'Олонн. Он подписывается псевдонимом *Пьер Зимов* и монограммой СЧ. Появляются рецензии. Кое-что продается и остается во Франции, часть работ он оставляет матери, а большую часть увозит в Одессу, куда прибывает в январе 1920 г., в момент разгрома Белой армии: Котовский захватил город, и «мышеловка захлопнулась». Его арестовывают, и он находится в заключении с февраля по август 1920 г.

Период 1920-1921 гг. очень неясный: имеются всего два письма. В одном, датированном 7 января 1920 г., он просит мать помочь ему через итальянские власти выехать из России. В другом, от 4 августа 1921 г., он сообщает о смерти отца и о том, что рисует много и пишет стихи, что друзья зовут его в Москву, где прочат успех его творчеству. Но денег на то, чтобы перебраться в столицу, нет, да и надеется он, что скоро увидится с матерью, так как полагает, что получит разрешение на выезд во Францию.

С этого момента и начинается его трагически кончившееся десятилетнее «хождение по мукам», о котором мы узнаем из дошедших и сохранившихся 237 писем, написанных к матери из Одессы.

«…Вчера у меня украли мои единственные 2 простыни… сижу совсем без белья, без сапог…»; «С воинского учета не снят, с паспортом застряло…»; «Рисунков не присылаю… Теперь запрещается присылать несколько их в письмах»; «Письма пропадают, тут уж ничего не поделаешь… человек к человеку стал буквально зверем…»; «…За последние 2 недели я почти голодал и продолжаю бедствовать как еще никогда, т. к. я все в ожидании уплаты за уроки,


Одесса
Получила ли ты
от меня
открытку,
в которой
поздравляю тебя?
Дорогая
Муся!
Целую крепко тебя. Благодарю за открытку; картина отдана, но сказали, что цена будет высокая. Если хочешь можно убавить цену, но это мне не стоит. Жарко у нас. Коля спрашивает твой адрес. Напиши ему? Жду ответа. Это уже фантазия моя. Прощай — целую всю. Кланяюсь. Ал. О. т. т. и. с. Елена.



Одесса, 1924 г. 4-я станция Большого Фонтана, возле кадетского училища

которые продолжаю вести с трудом и усталостью из-за полного истощения организма…»; «…Ты пишешь, что хочешь мне послать сыр и пр. Ни в коем случае этого не делай, т. к. пошлина на *Objets de luxe* (в том числе и на мыло) колоссальная… Я надеялся не отсылать твоей (прошлой) посылки, но пришлось отказаться от выкупа ее»; «…За последние две недели я потерял 2-1/2 урока и утренний ежедневный чай с двумя бутербродами…»; «…Вчера имел мясной обед за урок, а то в столовых голодно и дорого…»; «Купили у меня 2 картинки, но за какую цену (!) – 5 р. за обе. Одна из них за границей продавалась (копия) по 50 фр. И то я все еще денег получить не могу…»; «Вот я со своими знаниями языков, живописи, литературы, военной специализацией, знакомством с печатным и редакционным делом – полный нуль…»; «Твое последнее письмо пришло в полуразорванном виде, перевязан был конверт веревочкой…»; «О поездке к тебе… сейчас это невыполнимо, и мои хлопоты еще 1,5-2 года назад ничем не увенчались без объяснения причины отказа…»; «Слышал сегодня, что опять разрешения на выезд не выдают… Прямо ужасно, что у меня нет возможности жить с тобой…»

Чтобы как-то свести концы с концами и накопить денег на визу, он выполняет самые различные работы: преподает гранатометание в одесском пехотном училище, дает частные уроки французского, английского, немецкого на русском и украинском языках, уроки рисования, преподает живопись, рисует плакаты, оформляет диапозитивы и журналы, выполняет переводы, изготовляет брошки, табакерки и шкатулки, разрисовывая и продавая их за бесценок. Но все бесполезно. То денег не хватает, так как все заработанное уходит на скудное пропитание и уплату скромного съемного жилья, то неожиданно стоимость визы под-

скакивает с 30 до 300 рублей, то потом его вновь арестовывают в 1925 г., и он сидит под следствием в одесском ДОПРе в течение пяти месяцев. Затем его не снимают с военного учета и, наконец, с 1927 г. за границу вообще никого больше не выпускают. И постепенно в нем угасает всякая надежда на соединение с матерью, любовь к которой он пронес через всю жизнь.

…Я шлю привет,
Но у меня
Уж нет
В душе – души огня…
Я не ищу пути, которого мне не найти…
Кроме мечты и грез я ничего на свете не люблю
И все ж теперь на юг привет
Я шлю,
Где Солнце – Бог, где Царь – Поэт!..

И несмотря на все, он находит в себе силы регулярно писать матери, подбадривая ее, давая советы, вкладывая в почти каждый конверт то единственное, чем он богат: его рисунки, виньетки, акварели-фантазии, понимая, что этим он доставляет ей приятное. Он сокрушается лишь о том, что многие письма пропадают, но продолжает посылать свои рисованные открытки, будто он мог предчувствовать, что, действуя таким образом, он реализует свой единственный шанс остаться среди живых после смерти и дать мысли и духу, коли не удалось телу, возможность вырваться из-за железного занавеса. И в его адрес можно словами поэта сказать: «Не сломлен дух…».

Этот одесский период жизни Ст. Ст. Чахотина является наиболее плодотворным в его творчестве. Он пишет много стихов, печатается в каком-то одесском журнале и собирается издать сборники стихотворений, пишет рассказы, в том числе «Шестой палец на руке» (1928), одноактную пьесу «Журфикс гражданки Икс» (1926 г.), упоминает о том, что пишет роман, который читал в кругу друзей (1924 г.), переводит и иллюстрирует песни Билитиса (1930 г.), составляет короткую монографию о художниках Давиде и Энгре (1927 г.) и, сидя в ДОПРе (1925 г.) ставит с другими заключенными



театральные пьесы (как тут не вспомнить артистические группы соловецких заключенных 20-х годов?). Он много рисует и чувствует, что его рука достигла удивительной легкости и мастерства. Он принят в Одесское отделение Союза художников, участвует в нескольких выставках, и многое из того, что им писано и рисовано в Одессе в эту пору, расходится среди знакомых и незнакомых за бесценок, «за пару подержанных башмаков, за старый пиджак…». Где все эти работы и то, что было у него в момент ареста? Неизвестно, пропало с концами, вместе с этими же людьми, ведь так давно все это было, и столько событий больших и малых совершилось.

И тем не менее, рассматривая сохранившиеся рисунки, читая письма, удается восстановить достаточно цельное представление об одном талантливом русском человеке другого времени, истекшей эпохи.

Хочется надеяться, что выставка, которая состоится в Русском культурном центре в Монжероне, затронет чувства посетителей своей нынче редкой мелодией человеческого голоса:

Молись любви. Ее красотам
счета нет.
Прильни к ее сладчайшим сотам,
Пей, поэт,
Из кубка нег, из чаш томления
И песни волей вдохновенья
Пой, поэт!

Петр Чахотин. 1981 г.

* * *

2-05. Письмо. Между ноябрем 1905 и январем 1906 г. Одесса. Гимназия. В Венецию. (Беспорядки в Одессе – время первой русской революции. Легко датировать.)

Дорогая Муся! Спасибо за все твои письма, открытки и поздравления, крепко целую и желаю тебе здоровья. Извини, что на несколько твоих писем – одним, но времени так мало, хотя в гимназию я еще не хожу. Из-за этого возмутительного погрома до сих пор еще не заключен контракт, впрочем, надеюсь, на днях все это устроится, если все будет спокойно. Посылаю счет за сентябрь и октябрь, из которого ты можешь заключить, как разошлись деньги, так что последние 100 р. я мог послать не раньше, чем заплатит Кантор, Кугут и Ланге в конце этого месяца; я послал их вчера переводом *Banque d'Italie*. В кассе осталось еще около 80 рублей, из которых 50 надо будет заплатить за воду. В начале ноября нет никаких почти доходов, так что я не знаю, как ты будешь до 20-го, занять, что ли, у кого-нибудь? Напиши, пожалуйста, иначе могут произойти снова неприятности. Теперь перехожу к беспорядкам. Я тоже несколько пострадал, но – глупости, чепуха. Прошу вас не слишком волноваться, читая. Еще в первый день, когда начали опрокидывать конки (трамваи, возимые лошадьми. – **П. Ч.**) и когда было убито до 80 человек на Ришельевской



Одесса, 1927 г. На пляже



Одесса, 1926 г. Рыбацкие лодки

и Нежинской, я вернулся из университета, где должна была быть в этот день третья гимназическая сходка. Я был на первых двух, чтобы составить себе верный взгляд, и посмеялся хорошо. Что ж, порывы и идеи очень хороши у всех этих, очень искренние и возвышенны, но как они мало развиты! О, они, конечно, знают Маркса, Энгельса, всю историю развития социализма, некоторым из них нетрудно разобраться во всем, что касается социологии и политической экономии (и только!), хотя много, очень много толпы. Но что ж дальше? Говорят много речей, красивых и безобразных, неумных и неглупых, но все вертится на одном: «Долой самодержавие!», «Свобода, свобода», а между тем сами они плохо, неясно понимают свободу, они думают только о свободе чисто материальной, не понимая, что есть другая, другая истинная высшая красота и метафизическая свобода. Ну, и так при мне начали на Дерибасовской разносить оружейный магазин; полиции – никого, странно; долго-долго ломались, наконец влезли, все разнесли, разбежались (конечно, я не участвовал во всех этих приключениях, я оставался зрителем, смотрел в бинокль); тогда явились



Одесса, 1927 г.

казаки, многих избили, я ушел в театр. Затем, когда часам к 3-м я, пообедавши, уже после перестрелки, снова отправился по городу и уже возвращался домой по Ришельевской…

12-17. Письмо. 23.02.17. Македонский фронт из окопов в Париж

(«Окопы». Степа проклинает македонский фронт. Зачем лучших русских воинов переправили туда и на французский фронт: вероятно, чтобы ослабить русскую армию и облегчить задачу большевикам – вот предательство англичан и французов! – негодных союзников – да и «пятой колонны» в России. – **П. Ч.**)

Милая Муся. Пишу тебе в сквернейшую погоду. Вот два дня уже, особенно сегодня, что у нас творится нечто невозможное. Сейчас проливной дождь при сильнейшем ветре; сижу в землянке, почти не выхожу. Мы все проклинаем эту Македонию, где ничего хорошего нет; наш русский фронт по сравнению с этим – рай. Дует из всех щелей напропалую, течет то здесь, то там. И то еще я переехал в другую землянку, поменьше, а в прежней, большой,



где остался единственный теперь у меня младший офицер, – потоп. Особенно раздражает ветер. Вроде Нишскаго Кошава, но тот сухой и холодный. Денщик мой Федька I, которого ты знаешь по Бресту, уверяет довольно основательно, что весною здесь должно быть всегда так, т. к. у местных жителей на домах крыши покрыты тяжелыми каменными плитами. Это: март. В январе еще были теплые прелестные дни, и на передовой позиции жилось сравнительно хорошо. Что у меня вообще скверный участок, это известно всем и каждому, т. к. болгарские минометы уже сделали свое дело: благодаря им и пулеметному огню, который косит вечерами по нашему гребню, да вообще меткому ружейному огню стрелков противника – убитых у меня в роте уже человек 5 и раненых около 20 за 40 дней стоянки. При том это еще мирная обстановка, т. к. в наступление мы еще не переходили. Но все это пустяки, поживем – увидим, скоро будет настоящая весна. Да и то у меня в роте во многом отношении еще лучше, чем в других, есть дезинфекционный костер, баня. Очень я что-то расписался. Итак, сообщи Коле при случае, что я охотно бы не утруждал его разбиранием чисел на моих письмах, если бы только у меня когда-



нибудь было спокойное состояние и времени достаточно, чтобы написать, как пишут в мирной обстановке. Покончим с этим, тем более что редко пишу не только ему, но и всем, кроме тебя. Знаю и вижу по письмам, что ты тревожишься. Это лишнее, так как все еще обстоит лучше, чем могло бы обстоять. Целую крепко тебя, Колю и тетю Терезу. Пиши чаще и скажи Коле, чтобы чаще писал. Любящий тебя, Степа.

1-21. Письмо. 4 августа 1921 г. Одесса

Милая Муся. Очень давно не писал тебе, так что, вероятно, и не ожидаешь этого письма?* Очень буду рад, если оно найдет тебя, т. к. за это время твой адрес мог перемениться. Целую крепко, прежде всего, тебя и тетю Терезу, а также ее внуков, Сережу и Колю, сердечный привет Соне и Лелику, *miss Newett.* Надеюсь, она жива? и всем остальным итальянцам, в том числе Адольфу и его сестрам. Впрочем, думаю написать ему отдельно. Надеюсь, все вы здоровы и у вас все благополучно. Скучно без вас. Я все по-прежнему безвыездно сижу в Одессе. Папу, бедного, похоронили почти уже год тому назад. Дедушка жив и бодр, несмотря на свои годы, впрочем, давно не был у них, т. к. сижу без ботинок. На днях зайду и сообщу, что тебе написал, а то он не знает. Тетя Вера очень исхудала и постарела. Живут они на Пушкинской, тетя Вера дает уроки музыки. Ваня недавно уехал со всей семьей на лето в деревню, где-то в окрестностях Одессы. Шура и тетя Поля здесь, служат, Анна Васильевна вместе с тетей Полей в госпитале служит. Эммины дети растут и выглядят отлично, веселые и очень славные. После папиной смерти – в течение всей зимы я их видел ежедневно, так как обедал у Эммы, но с весны стал обедать по столовым.

* Насколько мне помнится из рассказов моего старшего брата Сережи (от первого брака отца с Эммой Хаас), через некоторое время после приезда Одессу захватила конармия Котовского, и Степа как офицер был арестован в первый раз и, кажется, просидел некоторое время, но затем был освобожден. Этим, вероятно, объясняется, почему нет от него писем в течение долгого времени. После освобождения он стал работать в качестве инструктора-гранатометчика при каком-то одесском военном училище, где проработал до второго ареста, уже в 1925 году, после того как в училище случилось несчастие – в его группе погиб курсант от разорвавшейся гранаты. Просидел Степан в ДОПРе (Доме предварительного заключения) около 3 месяцев. В течение всего периода с 1921 по 1925 он пытался выехать обратно за рубеж, но безуспешно. – **П. Ч.**

С утра в течение шести часов я на службе, так что только уже к вечеру успеваю выпутаться. Раньше довольно часто ходил в театр, но теперь больше сижу по вечерам дома и читаю. Недурно танцует выступающая молодая балерина Пушкина, а на эти три дня приехала на гастроли Гельцер. Живопись почти забросил, а в прошлом году мои художественные коробки шли еще довольно удачно. Лето довольно жаркое, но я живу в Отраде и море близко, да и на службу ходить недалеко, Пиши обязательно и поскорее по адресу Эммы – Большая Арнаутская, 5. С Мусиным-Пушкиным (в Москве он) переписывался, он и Алексеевы звали меня очень в Москву, жизнь интереснее там, чем здесь, но я еще не собрался. Папу, хотя похоронили очень далеко – на 3-ьем кладбище, но Анна Васильевна много старалась о памятнике, и сейчас у его могилы незаброшенный вид. Любящий тебя сын Степа.

1922

1-22. Письмо. 16 августа 1922 г. Москва

Милая Муся. Крепко целую тебя и надеюсь ты здорова. Профессор Ключников привезет это письмо для тебя Сереже в Берлин, чему я очень рад, т. к. не знаю ни твоего, ни Сережиного точного адреса. С мая нет от тебя вестей, что тревожит меня, и не могу понять, почему не пишешь или не доходят письма. Скоро месяц, что я в Москве, но на днях еду обратно в Одессу, так как здесь был в отпуску. В Москве так хорошо, что я мечтаю на зиму перевестись сюда. Жизнь совершенно другая, чем в Одессе. Люди сердечнее, а в Одессе все вертится на спекулятивных началах, жизнь дорога и притом глубоко провинциальна. Работаю мало по искусству, военная служба и заботы о хлебе насущном поглощают все время и силы. В Москве же я выставил в «Вхутемасе» (бывшее Строгановское училище) свои коробки, но мало, всего 15 штук: сейчас все на дачах, и рассчитывать на успех материальный трудно. В Одессе изредка делаю эскизы к портретам, а здесь иногда вечерами у Всеволода Юрьевича Мусина-Пушкина работаю над новыми пудреницами, портсигарами и проч. Повидал много знакомых, был у тети Вари, она помолодела даже, хотя



уверяет, что «поветшала». Мария Карловна с ней и сестра Юрочкиной жены (служит в «Ара»). Говорят, что Юрочка где-то на стороне вторично женился, не разведясь с женой, что очень огорчает тетю Варю. Он не в Москве, во всяком случае, а где-то на Юге, в Киеве или Одессе. Лермонтова еще не видел, но написал ему в Кострому, Пушкин женился, и я у него живу, как дома. Они такие милые. Целую тебя еще крепко, крепко. Пиши скорей в Одессу! Отрадная д. 6, кв. 4, Александру Ал. Балыку для С. Ч.

6-22. Письмо. 10 ноября 1922 г. Одесса

Милая Муся. Вчера, когда относил письмо на почту, оказалось, что простое заграницу 1,5 миллиона, а заказное – 3 миллиона! Неделю тому назад еще за заказное я платил 1 мил. 200. Да еще к тому же письмо весом не более 20 гр., а у меня весило оно больше, пришлось отказаться, так как в кармане едва набралось бы около 1.300. Слишком рано я расхвастался со вторым портсигаром, оказалось, что заказчику нужно не для папирос, а для табаку, открывающийся сбоку, а не сверху. Пришлось взять его обратно и 5 мил. не заработать. Все это вынудило меня обождать до сегодняшнего дня, и то придется послать письмо простым. Часть этого большого письма я переложил в письмо, отправленное с оказией – дойдет ли только оно, так что не удивляйся, если в двух конвертах найдешь отрывки одного и того же письма. Вчера опять лил проливной дождь, и так захолодало, что сижу в комнате в шинели. Вчерашний день прошел очень скучно, и меня тянет в Москву, но выехать раньше весны не удастся. В дороге очень трудно, все



Одесса, 1928 г. Восточная фантазия

непредвиденные расходы, так в Киеве мне пришлось продать простыню и другие мелочи. Рисовал набросок портрета одной знакомой *Mlle* и подарил его, а вышел недурно, но в скупой Одессе с портретами далеко не уйдешь. Вообще искусство ничего не дает, надо иметь технические знания, быть механиком или чем-либо в этом роде – тогда еще ничего – жить можно. Крепко целую тебя, Муся. Пиши чаще. Письмо к *Veller* присоединяю к этому письму, а в том, посланном с оказией, его нет. Любящий тебя, Степа.

9-23. Письмо. 22 июля 1923 г. Одесса. Среднефонтанская дорога, бывший. Кад(етский) корпус, 4-ая станция. 13 пех(отная) Ком(андирская) школа, кв. № 21. Чахотину

Милый Коля. Тебе, правда, очень давно не писал, но не удивляйся этому. Условия жизни и прочее не позволяли мне собраться и черкнуть даже пару слов. Очень тебе благодарен за 25 франков (пересланные из Тулы: 50 млн), а также за посылку, кот. несмотря на сделанную мне льготу, – вместо 3,5 миллиарда 1 млрд 300 млн пошлины – обошлась все-таки далеко недешево. Главное, что такую сумму сразу трудно достать, а заработать тем более, и, кроме того, шелковые галстуки, хотя и старые, испортили все дело. Костюм пришлось сейчас же «загнать» (т. е. продать). Ботинки и носки ношу, рубахи и кальсоны – тоже. Последнее мне очень пригодилось: у меня решительно ничего не было. Все, что получаешь раз или два в год из белья или обмундирования, приходится в тяжелую минуту продать. Даже за последнее время дошел до портянок, которые ненавижу, и натер ногу. Лежал дней 10 и так как никого у меня из близких нет на 4-ой станции, то приходилось очень туго и с обедом и с прочим. Казенные ботинки также утомляют чрезвычайно при вечной беготне, так что хотя твои и в весьма плачевном виде, но все же хожу в них на море и очень им рад. Из папиного имущества, доставшегося на мою долю, остались пустяки, которые не только трудно, но и совсем продать нельзя, а то бы, конечно, и от этого добра отделался. Живу неприглядно – кое-как перебиваюсь, хотя теперь и увеличили жалованье. Недели через две поеду в командировку в Харьков на Олимпиаду (спортивные состязания). С Эммой совсем порвал. Лучшее, что мог бы ты сделать для меня, если имеешь возможность, – послать деньги на банк, упомянув в переводе,

чтобы они были уплачены мне франц(узской) или английской валютой. Теперь все так делают. Целую тебя и Лелика. Соне привет. Любящий тебя Степа.

16-24. Декабрь 1924 г. Одесса

Милая Муся. Шлю тебе, Коле и Сереже лучшие пожелания к праздникам, а главное – быть всем вам бодрыми и здоровыми в наступающем новом году; племянникам и племянницам – также. Всех вас целую и благодарю за сердечную обо мне заботу – только очень прошу тебя не волноваться, так как я надеюсь скоро получить место. Из Москвы и Ленинграда еще ответа не имел. Выехать к тебе или Сереже вряд ли удастся, так как сопряжено с большими хлопотами, которые могут пропасть даром – и расходами, которые колоссальны. Так, одна виза стоит 50 долларов. Билет, вероятно, еще того дороже. Нужно разрешение на въезд из той страны, куда едешь. Могут встретиться препятствия даже со стороны Главного политуправления. Спасибо, что сообщила о выставке, я заготовлю и пошлю в Москву или тебе. Опять снег у нас, сумрачно и тоскливо. Посылаю тебе эскиз обложки к моим стихам, которые думаю в скором времени выпустить в свет. По вечерам, если дома, пишу роман. Сегодня буду его читать у Мелеги. Он уехал на север, по возвращении напишет Коле. Твои открытки с котятами получил, очень забавные. У меня сейчас целых два, если буду переезжать, придется подарить. Целую тебя крепко-накрепко. Любящий тебя Степа.

12-25. 6 мая 1925 г. Одесса

Милая мама*. Очень давно не писал тебе, хотя и обещал, не обижайся, пожалуйста. Сегодня твой праздник, и мне очень тяжело, что мы не вместе. У нас уже давно полная весна, и 1-ое мая прошло

* Из письма следует, что Степа арестован и содержится в ДОПРе уже по крайней мере одну неделю (в конце апреля – начале мая 1925 г.). Он упоминает, что с «сердцем нездоровилось», просит, чтобы мать писала на адрес племянника Сержика (старшего моего сводного брата), но и, главное, мать он называет «мамой», а не Мусей, чтобы не вызывать подозрений у арестовавших его. Не знаю, насколько версия о несчастном случае со взрывом от гранаты на полигоне, со смертью курсанта, была правдивой. Скорее всего, сыграли два фактора: 1) он уже отчислен как преподаватель из курсантской школы офицеров и 2) его переписка с матерью, проживающей за рубежом. – **П. Ч.**

очень хорошо. Сейчас уже цветет сирень. Не имел и от тебя давно известий, не знаю, где, собственно, сейчас ты находишься, не уехала ли к Коле или к Сереже. Сержика и Вову вижу, Ваню и Верочку – тоже. Все, кажется, здоровы. Мне немного нездоровилось одно время, но теперь с сердцем лучше. Много рисую и пишу акварелью, но по вечерам читаю. Деньги твои – 1,5 червонца – еще не получил, хотя получил уведомление, что пришли. Пиши на Сержика адрес. Как здоровье и где проведешь ближайшие месяцы? Целую крепко тебя, Сережу и Колю, Адольфу, при случае, напиши от меня привет. Любящий тебя Степа.

14-25. 1925. Одесса (без даты)

От заключенного 1-го отделения, камера 42 Чахотина Степана

Милая мама. Очень обрадовался, получив твои четыре открытки. Крепко целую тебя, Колю и Сережу и благодарю. Сам давно тебе не писал, но надеюсь, ты не беспокоилась обо мне, зная, что я здоров. Сержик навещает меня еженедельно, он очень милый и сердечный, всегда заботится обо мне – приносит чего-нибудь. Была вчера у меня Анна Вас, постарела, но бодрая, работает. Я тоже много читаю и рисую. Скоро поставим пьесу, к которой я пишу декорации и занят инсценировкой. Журнал один получил, но предпочитал бы что-нибудь по спорту, по искусству или на научные темы. Надеюсь, ты отдыхаешь после тяжелой зимы. Целую всех крепко и желаю вам всем всего наилучшего. Любящий тебя Степа.

12-26. 24 мая 1926 г. Одесса

Новый мой адрес: ул. Свердлова, 28, кв. 10**.

Милая Муся. Все получил: и письмо, и открытки, и через Госбанк посланные 8 апреля 5 долларов и от Ольги Андреевны пока 20 рублей. Спасибо за все, крепко целую. Не писал тебе дольше, чем обыкновенно пишу, потому что перебирался на новую квартиру, а это дело серьезное, так как сейчас квартирный вопрос

** Бывшая Канатная улица. Это последний адрес проживания Степы. Здесь он был арестован в январе 1931 г. и отсюда были забраны все его вещи: письма от матери, картины, рисунки, коробки художественные, дневники, стихи, книги и пр. – **П. Ч.**



Одесса. Фасад дома на ул. Свердлова, 28
Фото П.С. Чахотина

стоит в Одессе очень остро. На лето съезжаются на купания, и приезжие, естественно, могут платить гораздо дороже нас. С большим трудом достал себе комнатушку – клетушку за 10 руб. в месяц и то хорошо, так как въездных платить не надо. Правда, хозяева – мелкобуржуазный мещанский элемент, но я постараюсь с ними иметь поменьше дела, тем более, что летом я редко когда бываю дома. Притом комната почти без мебели – без стола, одна железная кровать без матраца, 2 стула и умывальник! На Пироговской, конечно, было значительно лучше, и воздух там прекрасный, здесь же – во дворе на Канатной, 2-ой этаж, летом жара будет адская. А уехать на Фонтан и вообще на дачу невозможно, так как уроками связан с городом, а ездить ежедневно – непроизводительный и притом большой расход. Не тревожься насчет моего купания – в этом году я совсем не заплываю, в воде сижу мало, да и купаюсь реже – времени нет. Наконец, настали жаркие дни, начинает цвести акация, очень хорошо, зелени много. Я немного поболел за это время – думал, что малярия, так как по вечерам беспричинно начинался жар (небольшой), а ничего не болело, теперь прошло, должно быть, был в легкой форме грипп и кашель, но теперь я откашливаю, и все обстоит благополучно. С уроками, правда, дело обстоит неважно: мой самый доходный урок –16 руб. в месяц – занятие с зубным врачом по рисованию – стал расклеиваться, так как он очень занят своей практикой и не успевает, да и с другими дело обстоит плохо, только в школе жалованье мне повысили – вместо 14 руб. получаю теперь уже 18 руб. в месяц. Хожу весьма ободранный, но пока терплю, так как необходимо беречь фонд

на поездку. Ты спрашивала насчет паспорта – он стоит дорого – для членов союза дешевле: вместо 300 руб. – 200 руб. и, кажется, еще 15 руб., всего 215 руб., у меня пока 60 руб. Кроме того, говорят, что будет повышена плата за него еще – чуть ли не 500 руб. Это вполне понятно, так как на лето многие уезжают на заграничные курорты, а не в Крым или на Кавказ. Вероятно, к осени понизят – придется ждать. Рисовать было сейчас некогда, но я скоро пошлю тебе открытки из серии месяцев – май, июнь и пр. Надеюсь, Сережа уже с тобой. А где Сержик? Его мать очень за него беспокоится, не имея писем. Вовка что-то болел, растет, всех перерос. Игорь выглядит молодцом. Как ты устроилась с комнатой? Удачно ли продаются твои корзинки? Получил я также несколько твоих марок, если найдешь, пришли юбилейные парижские марки и *Obock* (?), треугольные (вообще, колониальные). Береги здоровье! Твоя болезнь очень встревожила меня, жаль, что я не с тобой, поухаживал бы. Пиши по новому адресу. Крепко целую тебя, Сережу и Колю. Колю, хотя с опозданием, поздравляю с именинами, напишу ему скоро и Сереже – также. Целую еще. Любящий тебя Степа.

22-26. 9 сентября 1926 г.

Милая Муся.

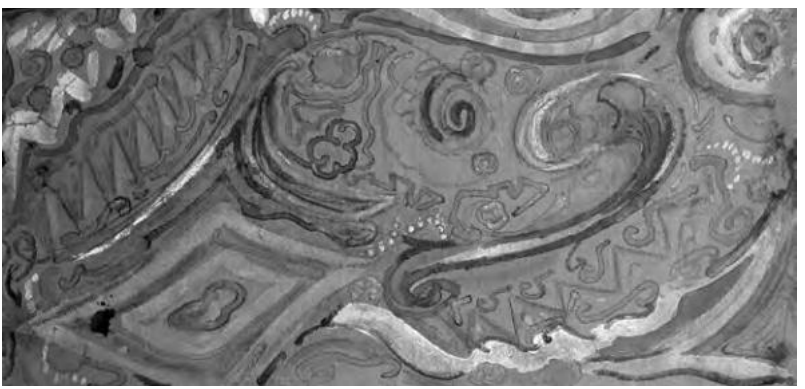
Получил твое письмо с китайскими и колониальными марками. Большое спасибо, крепко целую и посылаю тебе с этим письмом открытку с рыбачьими лодками. Одно или два твоих письма, очевидно, не дошли, но заказными письма не посылай, а то дорого слишком тебе обходится переписка со мной. У меня все по-прежнему. В военкомате ответ еще не получен, зайду снова на следующей неделе. Слышал, что сейчас вообще никому паспортов не выдают, но это, вероятно, временно. После холодов вернулись теплые, почти жаркие дни, что очень приятно, можно купаться и принимать солнечные ванны. Занятия у меня еще не начались из-за перехода школы в другое здание. Хотели меня сократить, так как я взял удостоверение для получения паспорта, но так как я его не получил, то буду настаивать пока что на сохранении уроков, а то лишусь единственного заработка, который меня поддерживает. Время летит, вот уже и осень, но зиму, надеюсь, проведем вместе. Боюсь, что в Ментоне сейчас еще жарко

и пыльно, как бы это не повредило твоим легким. Володя, кажется, уехал в отпуск с товарищем в Крым, у него бесплатный проезд. Мне так за все лето и не удалось никуда съездить. Впрочем, летом Одесса еще терпима, зимой зато очень скверно и климат плохой. Пишу тебе мало сейчас, так как завтра экзамен у моего ученика и надо проверить его знания, а то еще провалится. Крепко еще раз целую тебя, Сережу и Колю. Береги здоровье, не утомляйся. Я здоров пока что. Любящий тебя Степа.

Посылаю тебе одну марку в 10 с.

3-27. 13 января 1927 г. Одесса, Свердлова

Милая Муся. Получил, наконец, журнал и твою открытку. Большое за все спасибо и целую крепко. Очень рад, что рисунки мои тебе нравятся, но, говоря откровенно, далеко не все удачны: часто спешу, не успеваю закончить или отделать. В этом письме посылаю еще три №№ 16, 17, 18, это раскрашенные мною оттиски с моих клише, может быть, для календаря какой-нибудь из них и пригодится. Могу послать еще, если тебе понравятся и пригодятся. Журнал для меня и моей знакомой, с которой сейчас, временно, из-за праздников, правда, я бросил заниматься английским, очень и очень пригодится и, по-видимому, интересный. Впрочем, есть все же много неизвестных слов, которые придется поискать в словаре. Боюсь только, что пересылка и стоимость всего обошлись тебе слишком



Одесса, 1929 г. Орнамент

дорого. Сообщи, пожалуйста, сколько заказных писем моих ты получила за последний месяц, я послал еще одного заказное – на днях с рисунками №№ 13, 14, 15. Надеюсь, это не пропадет. У нас установился санный путь и морозная солнечная погода, все катаются с гор. Я мало где бываю, так как занят. В театре очень давно не был. В кинематограф на праздники раз сходил. Жду Сержика. Целую Сережу, Колю и всех своих племянников, -ниц. Береги свое здоровье, не утомляйся. Целую крепко и тебя. У нас была перепись: оказалось в Абхазии нашелся очень бодрый старик 146 лет. Любящий тебя Степа.

21-27. 7 августа 1927 г.

Милая Муся. Опять и я тебе давно не писал и от тебя писем нет. Неужели ты на меня за что-нибудь сердишься? Мне приходится вечно откладывать писание писем, хотя никому, кроме тебя, не пишу. Сейчас лето, жара, с уроков приходишь совершенно заморенный и только и думаешь, как бы поскорее выкупаться. Все несчастье в том, что душа в квартире нет. Не могу также никак собраться выбелить свою комнату, для этого надо приводить в порядок вещи, книги, рисунки, а в комнате такая духота, что у меня было несколько дней подряд бессонница. Надеюсь, Сережа получил мою открытку и журналы. Я тебе писал в последний раз на *Ferma in Posta*, в Геную. Как ты себя чувствуешь у Сережи? Очевидно, институт в самом городе не расположен, удобно ли это для тебя? Боюсь, не переутомляешься ли ты, возясь с внуками. Приехал ли уже и Веня? Он старше, сколько ему лет? Скоро я пошлю тебе несколько моих снимков, то есть не я снимал, а меня снимал один мой знакомый. Я фотографией давно не занимаюсь, дорого, да и времени и места нет. Заработок у меня сейчас неважный. Главное, уехал редактор в отпуск на два месяца, и я сижу на бобах. Жду его приезда. Рисую я много, но больше углем фабера и цветными карандашами, за последнюю неделю-две – сделал более 120 зарисовок. Это очень полезное упражнение, тем более, что не утомляет, так как делаю их на воздухе. Загорел я очень сильно. Анну Вас. и Эмму давно не видел, с Ваней изредка встречаюсь на улице. Уехал ли в Венецию Адольф? Я рад, что ты теперь от него избавилась. Целую





тебя, Сережу и племянников, крепко целую и жду весточки. Люб. тебя Степа.

Посылаю несколько зарисовок на этом же листе.

31-27. 29 октября 1927 г.

Милая Муся. Недавно тебе писал и надеюсь, ты получила открытку с «Парусами». Сейчас пользуюсь свободным временем и снова пишу, хотя новостей у меня никаких, ни хороших, ни дурных. С уроками у меня по-прежнему дело идет очень слабо в этом году, и это очень отражается на моем финансовом благополучии, вернее, неблагополучии. Замечательная только осень у нас, тепло, прямо как летом, настоящая Ривьера – Одесса могла бы быть прекрасным курортом для больных, к чему, собственно, дело и клонится. Сейчас идут значительные общественные работы в районе Ланжерона и Отрады, разбивка садов и скверов и проч. Лет через пять, а то и раньше Одессу совсем и узнать нельзя будет, настолько она приукрасится, хотя она всегда была чистым и засаженным деревьями городом. Море тихое и, главное, как зеркало, и даже по вечерам не чувствуется осенней сырости.

31/10. Не дописал третьего дня, а вчера тоже некогда было, а затем хотел послать тебе рисунок и открытку – эскиз костюма,

что и делаю сейчас. Встретил Игорька, он сообщил мне, что приехал уже дней пять назад Сержик, я Игорю сказал, чтобы Сержик зашел ко мне вчера до 12 ч. дня, но он почему-то не был. Игорь утверждает, что он теперь отлично говорит по-немецки, с настоящим берлинским акцентом. Ваню видел я вечером вчера, на волейбольном матче, он там главным инструктором. В субботу была годовщина смерти папы, я условился с Анной Вас. пойти на могилу в следующее воскресенье. Тепло у нас продолжается, по газетам и в Европе всюду то же самое, значит, и у тебя в Ментоне. Но вчера вечером мне уже пришлось одеть пальто, которое мне уже служит чуть ли не 4 года, сперва было шинелью, а в прошлом году перешил, покрасил и в этом году снова отдал в окраску, так как вылиняло. Пришлось купить готовый пиджак, темно-синий, так как на заказ дорого, материи подходящей не было, а то весь прошлый год ходил в гимнастерке, и ничего нет, кроме летнего из парусины. Вот и все новости, милая Муся, крепко целую тебя, Сережу и Колю и племянников. Береги здоровье и не унывай. Люб. тебя Степа.



P. S. Только что почтальон принес твое письмо от 19/10.

3-23. 22 января 1928 г.

Милая Муся. Почти неделю уже все собираюсь тебе писать и не могу, наконец, сегодня, в воскресенье, грипп мой как будто оставил меня, и я в состоянии приняться за письмо. Постараюсь к завтрашней почте еще присоединить какой-нибудь набросок. Спасибо тебе и Коле за письма, крепко целую. У Янушевских

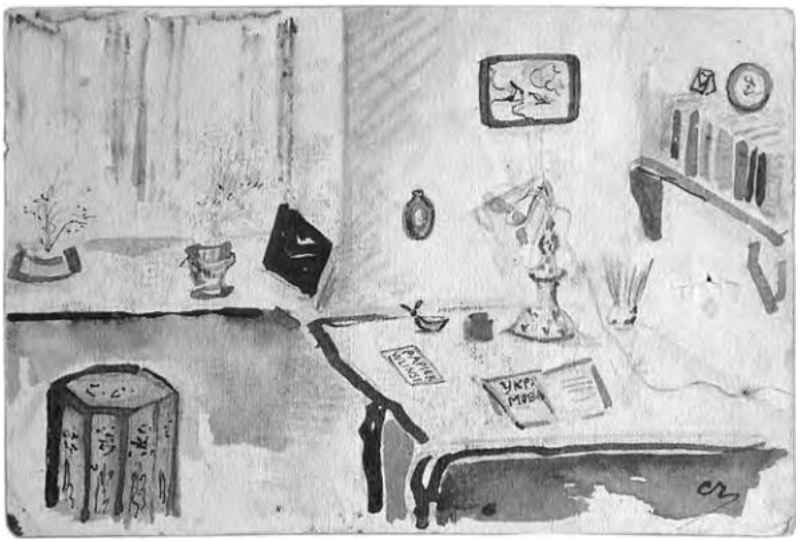
я был раз, но не застал дома, зайду, может быть, завтра. Вчера еще чувствовал себя отвратительно, был жар и как-то со среды еще нервы растрепались, а тут еще те немногие уроки, что есть у меня, пропускать невозможно. Постоянные перемены погоды (теперь после слякоти – ветры) отражаются на здоровье всех поголовно. Боюсь очень, не сыро ли и не холодно ли у тебя на новой квартире, установилась ли у вас теплая погода? Меня очень огорчает, что Сашуня такой неудачник. Сержик был у меня, пока я был нездоров, оказывается, Эмма уже полтора месяца как больна, лежит с сухим плевритом. В течение этой последней недели состоялось мое снятие с одного учета, а с завтрашнего дня поступаю на учет военный, так как мне еще только 39 лет*. Только через некоторое время можно будет возбудить ходатайство о снятии и с этого. Ваня, кажется, снят, но, кажется, не столько по возрасту, сколько по состоянию здоровья. Заказчица полностью за оба плаката не заплатила, да и ученики неаккуратно платят, что создает не очень неблагоприятное финансовое положение. Надеюсь, к весне дела мои поправятся. Сегодня уехал на месяц в Берлин один бывший мой сослуживец и даже подчиненный, очень симпатичный молодой еврей Блиндерман. Хотел дать ему поручение купить «минеральные краски», ими, говорят прекрасно рисовать декоративные сюжеты, но прозевал поезд. За время болезни написал небольшой рассказ «Шестой палец на руке», если буду продолжать, может быть составится небольшой сборник к весне, тогда предложу издательству. Спрашивал о бумаге *Wlinsi* (лечебной), для чего она? Спасибо за марки. Не траться, береги здоровье, не утомляйся, вот это главное. Крепко целую тебя, Сережу, Колю. Жду весточки. Уехал ли Адольф, вернул ли тебе картину? Любящий тебя Степа.

Январь 1929 г.

На обратной стороне рисунка с изображением комнаты по ул. Свердлова, д. 28.

Мой рабочий стол, справа полка с книгами, там же твоя карточка в рамке в форме сердца, на стене – марина (*морской пей-*

* Вот беда и издевательство над людьми. – **П. Ч.**



Одесса, 1929. Комната художника на ул. Свердлова, 28 (б. Канатная)

заж), на окне чахлые папоротники. На столе пепельница с колибри (Константинополь) и турецкий табурет. На окне портфель. Подставка для электрической лампочки – старый папин фарфоровый персидский подсвечник. На столе: перья, карандаши, украинские книги и *Wlinsi*.

14-29. 12 мая 1929 г.

Милая Муся.

Получил сразу два твоих письма (почему-то совершенно вскрытых)**. До сентября, вероятно, паспортов никому давать не будут, т. к. начался летний курортный сезон. Коле я напишу на днях. Узнал, что за небольшую посылку – 1,5 фунта какао, 5 фунтов. рису и немного сахару (песок) и фунтов 5 белой муки – берут пошлину не более 4 руб. Но шоколад, конфеты и прочие *objets de luxe* посылать нет смысла. Скоро напишу тебе в Геную, но сообщи адрес. Крепко целую тебя, Сережу, детей и Сашуню. Любящий тебя Степа.

** Дело, вероятно, рук цензуры. – **П. Ч.**



Одесса, 1926 г. В парке

15-29. 23 мая 1929 г.

Милая Муся. Получил от тебя последнее письмо также вскрытое, но затем запечатанное сургучом. *Merci*, но *Wlinsi* мне пока не нужен, эвкалипт же, пожалуйста, пришли еще.

25-29. 4 октября 1929 г.

Милая Муся. Давно не писал тебе письма и не размалевывал. Прости великодушно. На днях (вчера) пришло твое письмо с *Wlinsi*, крепко целую и благодарю. Как ты устроишься на зиму, вот что беспокоит меня, а также твое и Сережино материальное положение. Вы оба слабые и болезненные, вечно завалены работой и заботами. Я вот, например, как ни плохи мои дела, а здоровье мое нисколько от этого и вообще не пошатнулось – лишь бы тепло было и солнечно. В этом году простояло у нас чудесное лето и осень не хуже – такая уйма солнечных теплых дней еще и сейчас! Что касается моих дел, то в начале ноября они непременно должны поправиться, так как на последние 2-3 дня я уже заручился работой, оплата которой, к сожалению, конечно, осуществится только через месяц. Но и это хорошо. У меня большой прилив бодрости и интереса к жизни, тем более, что в перспективе иллюстрации к Сережиному рассказу, которые я уже обдумываю и надеюсь выполнить удовлетворительно. У нас сейчас замечается повышенный интерес к изучению иностранных языков – в особенности к немецкому и английскому, ну а мне это не трудно, да и я в украинском сделал незаметно для себя успехи и буду продолжать в этом направлении, т. к. он стал более, чем необходимым. Правда, в этом году я еще пока не посещаю курсов, т. к. ни копейки нет свободной и пока я еще в долгах с ног до головы. Все же Колина помощь (теперь уже получил все 17 руб.) очень выручила меня. Напиши

ему непременно, чтобы он был в курсе дел. Посылаю снимок моих «горшков» – кое-что уже разобрано из них и из брошек, но за гроши или в долг. Хотел бы заняться фото, но материалы все еще для меня дороги. Жаль, что ты не видишь моих работ в красках. Крепко целую тебя и жду новой весточки. Береги драгоценное здоровье свое. Люб. тебя Степа.

Сереже передай или перешли прилагаемое письмо.

5-30. 18 февраля 1930 г.

P. S. Мне очень нравится твоя идея составить из моих рисунков альбом. Я бы тебе посоветовал, чтобы рисунки были наклеены на разноцветную плотную бумагу и переложены папироской, т. к. иначе многие из них сотрутся, т. к. не все выполнены тушью или красками. Кроме того, наклеивать их при помощи обычного гуммиарабика тоже нельзя, т. к. с течением времени он действует разлагающим образом на краски, проходя даже через плотную бумагу. Есть специальный фотографический клей в тюбике, он недорогой и очень удобный. Целую еще. Посылаю тебе один рисунок.

9-30. 5 апреля 1930 г.

Милая Муся. Вчера получил твою открытку, коротенькую, по которой догадался, что Вы изволите на меня сердиться. Долго и от тебя вестей не имел, но журналы получил, хотя и с опозданием, вероятно, посидели в цензуре. За все благодарю и крепко целую. Но удивляюсь, почему ты писем моих не получаешь. После начала марта я писал тебе не менее 2 или 3-х раз и каждый раз посылал рисунок или два, значит, пропали. Сейчас я пишу тебе после перерыва в 10 дней, но это молчание вполне объяснимо, т. к. 12/3. меня сократили на моей маленькой службе по преподаванию языков, я очутился буквально на мели и должен был, как белка в клетке, искать заработка, устал и измучился порядочно, пока достал 2 заказа, которые надо было выполнить срочно, я просиживал ночи и дни, мелкая, детальная работа, где приходится все время усиленно напрягать внимание и зрение – чрезвычайно изнуряет, затрачиваешь громадное количество энергии, в особенности если и без того организм слаб, благодаря неважному питанию.

26-30. Прибл. 20 ноября 1930 г.
(Начала письма нет…)
…Только конверт был совсем разорван и подвязан веревкой. Получила ли ты обратно свою посылку?

1-31. 3 января 1931 г. (Последнее письмо Степы своей матери. – **П. Ч.**)
Милая Муся. Сейчас, наконец, получил твое письмо от 22 декабря, опять в разорванном конверте, перевязанном веревочкой – тебе надо бы поискать попрочнее конверты. Спасибо большое за все, за забавную *carte postale* (открытку), марки и пластырь. Крепко целую тебя. Только очень удивляет меня, что до того ты не получала так долго писем – лишь от 16 ноября. Я тебе писал после – в промежутке между 16 ноябрем и 10 декабрем. Очень странно и досадно, что ты какого-то так и не получила*. Снимок вышел прелестный, и ты на нем гораздо удачнее вышла, чем на прежних. У Сережи тоже довольно круглое лицо, а Женя совсем молодец, он мне очень нравится. Я напишу им, да сейчас денег на марки совсем нет. Мне не повезло в конце декабря – имел несчастье сперва потерять как-то 5 рублей из кармана пальто или пиджака, а накануне Нового года старенькое мое зашитое и перезашитое портмоне выскочило каким-то образом из кармана брюк (там, правда, оказалась порядочная прореха, чего я раньше не заметил). Благо еще, что было там всего 3-4 рубля, но и то это были последние, так что остался даже без мелочи. Праздников я совсем не праздновал и Нового года не встречал, у нас это не в моде. С работой сейчас дело обстоит скверно. К тому же лишился урока (10 р. в месяц), может быть, впрочем, лишь до возвращения матери ученика, а там будет видно. Кое-как пробавляюсь, залезая в долги и не представляю себе, как из них вылезу. С другой стороны – кое-кто из знакомых меня не забывает – так я получил в подарок еще один шелковый галстук, да еще 2 куска мыла (туалетное и стирочное), немного курева. Вчера имел мясной обед за урок, а то в столовых голодно или дорого (если мясо). Настроение у меня все же было хорошим, если бы чем-то не испортил себе желудок 2 или 3 дня тому назад, что со мной очень редко бывает (не более одного раза в год), сегодня лучше. Спасибо тебе также за *Daudet*, Тар-

* Степа на мушке – его «пасут» энкаведэшники перед самым арестом. – **П. Ч.**



Одесса, 1925 г. В сугробах

тарена хотя я и читал, но с удовольствием перечитаю снова, а *Tartarin-port* не читал еще. Слышал, что очень модный новый роман какой-то писательницы – «*Les deux baisers*», кажется. Если случится в дешевом издании – пришли, пожалуйста, при случае. Я написал несколько новых стихотворений, но легкого шуточного содержания – скорее эпиграммы, м. б. как-нибудь и пошлю тебе. Камилла очень тебе благодарна за карточку поздравительную, она всегда очень внимательна и заботлива ко мне. Посылаю тебе с этим письмом еще два снимка с моих рисунков, кажется, не посылал еще тебе, но временно пришлось бросить снимание их и печатание, т. к. дела мои плохи. Очень удачно у меня получилось с ботинками и калошами – одна знакомая устроила мне покупку для меня с рассрочкой ботинок и калош (правда, не новых) за 20 рублей (это около 350 франков) – очень дешево, а то мне не в чем было уже выходить на улицу, а к тому же были сильные морозы и снег все последнее время. Так что теперь на несколько месяцев я обувью обеспечен. Пока заплатил за них 8 рублей. Меня очень интересует, какие мемуары ты переводишь – интересны ли они? Я все хочу тоже заняться переводами, но как-то все отрываешься и разрываешься на мелочи, чтобы в желудке пусто не было. Рад, что у тебя печка, но с этими керосинками возня, надо очень тщательно следить за фитилем, чтобы запаха не было. Вот у меня в этом отношении чудесно – хозяева топят почти через день, и так тепло, что 2-3 мухи еще летают. С холода придешь и всегда сразу согреешься. Знакомые получают посылки, главным образом, продуктовые – рис, крупу, какао, жиры. Сахар у нас есть теперь. Если не более 4,5 кило – то пошлина не очень большая и даже до 10 кило, но очень все это долго идет. Целую тебя еще раз крепко. Колю, Сережу и племяш также. Кончаю письмо, т. к. иду обедать, проголодался – значит, и с желудком уже хорошо. Береги свое здоровье. Не утомляйся с мемуарами.

Люб. тебя Степа.



Одесса. Слева от балкона на втором этаже – окно комнаты на ул. Свердлова, 28, где жил Ст.Ст. Чахотин до ареста в 1931 г.

Это было последнее письмо. Около 15-го января 1931 г. ночью на улице Свердлова, 28, кв. 30, Степан Степанович был арестован, а также Камилла Петровна и несколько других человек. Через полгода Камилла Петровна была освобождена из-под ареста. Степан был расстрелян.

Публикация Петра Чахотина

Италия

От редакции. Просьба ко всем читателям, у кого могли сохраниться рисунки, стихи Степана Чахотина, сообщить об этом во Всемирный клуб одесситов: +38 (048) 725-45-67.

Татьяна Щурова

«Служебный роман» с читателями

В этом году Одесской национальной научной библиотеке им. М. Горького исполняется 185 лет.

Одним из первых юбилейных изданий стал альбом «С искренней благодарностью…», в котором представлены автографы мастеров культуры, собранные отделом искусств за четыре десятилетия. Постепенно составилась своеобразная летопись взаимно значимых творческих связей.

Собирая этот альбом, пришлось окунуться в давние воспоминания, заново пережить ушедшее, а также попробовать посмотреть на день сегодняшний как бы со стороны.

Более чем сорок лет назад, в уже далекие семидесятые, опытный библиограф Светлана Григорьева, редактор Одесской государственной студии телевидения Ирина Шайкевич, вынужденная по семейным обстоятельствам поменять любимое занятие на работу в библиотеке, и мы с Ольгой Барковской, недавние выпускницы филологического факультета Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова, оказались перед необходимостью создания нового структурного подразделения ОГНБ им. М. Горького.

Известно, «как вы лодку назовете»… За дело взялись с азартом и добрым отношением к творческим людям. Сразу поняли: и маститых, и начинающих мастеров всех муз можно привлечь в библиотеку и надеяться, что они придут снова, только компетентностью, приоритетным обслуживанием и, безусловно, уникальным фондом.

Помнится, как появлялись в отделе В.С. Василько, Л.И. Бугова, П.А. Злочевский, З.Г. Дьяконова, Г.Р. Осташевский, Б.И. Зайденберг,

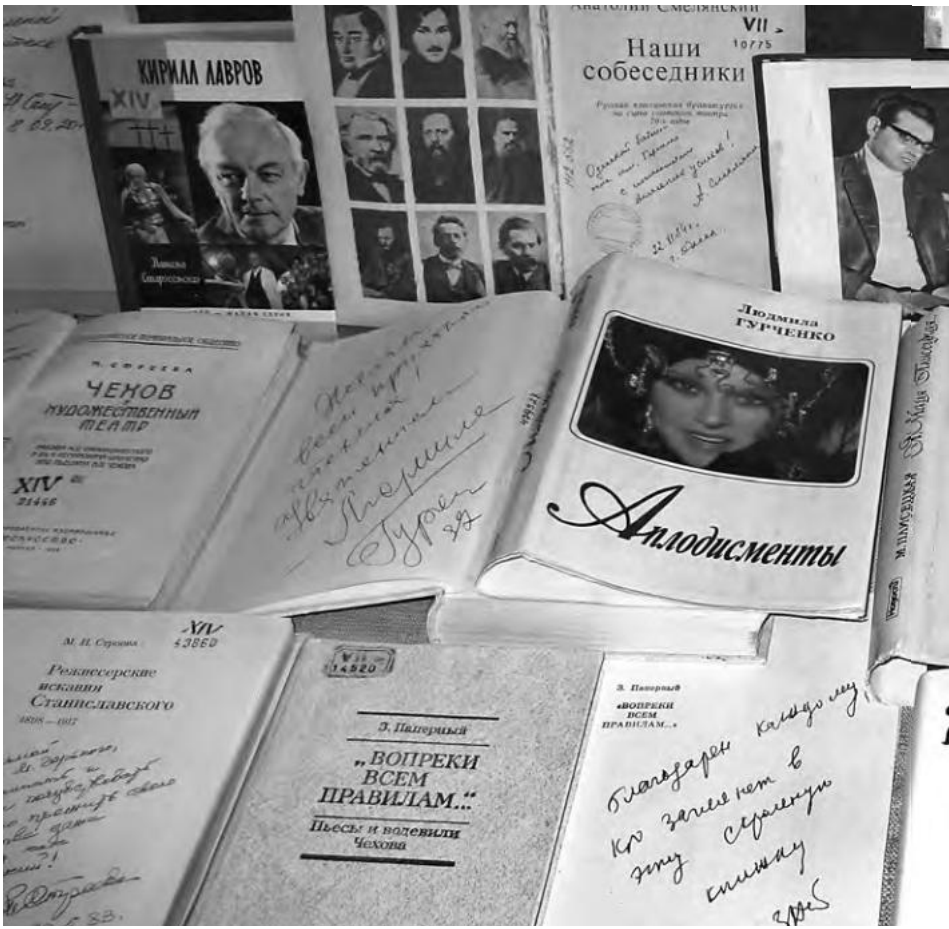
Олег Соколов и другие великие люди театра, кино, изобразительных искусств, музыки. Обсуждались театральные премьеры, кинофильмы, готовились фестивали, вернисажи. Отсутствие Интернета, ксерокса, широкой информации по телевидению заставляло творческие группы тщательно изучать материалы в стенах библиотеки. Удавалось завести многолетние служебно-дружеские взаимоотношения с киногруппами, например. Ведь мы искали к известным ныне фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Дежа вю» и многим другим самые невероятные детали быта той или иной эпохи. Недаром статья Валерия Барановского о работе нашего отдела в те годы так и называлась: «Игральные кости для мушкетеров». Около десяти лет нам посчастливилось вести страничку «В мире книг о музыке» на одесском телевидении в ежемесячном обозрении «Одесса музыкальная». Дружба с преподавателями консерватории, музыковедами, исполнителями из филармонии и музыкальных театров с тех пор длится уже не одно десятилетие.

Конечно, невозможно в обзорной статье рассказать обо всем значимом за прошедшие годы, но оставленные на книгах и в письмах автографы становятся важным документальным материалом, который, безусловно, займет свое место в славной истории Горьковки.

Наша коллекция автографов значительна по количеству и разнообразна по географии, поэтому было логично разбить ее условно как бы на три части.

В первую главу вошли автографы друзей из ближнего и дальнего зарубежья. К ним примкнули одесситы, которые теперь, к сожалению, живут в других странах. Во второй части собраны автографы киевлян, львовян, харьковчан и др., работавших с фондом библиотеки и сохранивших об этом самые добрые воспоминания. Естественно, самая большая глава – это одесские автографы. Оно и понятно, мы дружим с музеями, театрами, учебными заведениями, краеведами, журналистами и т. д.

В 70-80-е годы мы часто выезжали на конференции, творческие встречи, заседания по итогам театрального сезона в Одесский дом актера. Нужно сказать, общение в Союзе театральных деятелей – это уже была большая школа в плане человеческого



поведения, культуры, уровня интеллекта, любви к профессии. Запомнился один из самых остроумных людей своего поколения, ироничный Зиновий Паперный, которого мы знали до этого только по его книгам и публикациям. Отличные лекции довелось услышать в исполнении известных искусствоведов Инны Соловьевой, Елизаветы Уваровой, Анатолия Смелянского, Льва Аннинского. Многому можно было поучиться у исследователя



творчества К.С. Станиславского Марианны Строевой, невозможно забыть участие в театральном семинаре Натальи Крымовой.

Однажды мы с большой выставкой приехали на одесскую студийную постановку в Доме актера пьесы Леонида Зорина «Театральная фантазия» в постановке режиссера Олега Сташкевича. Популярный драматург был тогда искренне удивлен, что о нем так много написано и что библиотека сумела все это собрать.

Андрей Гончаров и Валентин Плучек оставили автографы на книжках во время больших гастролей своих театров в Одессе (было время, когда московские театры могли позволить себе гастроли длиной в месяц!).

Удивительные встречи случались в стенах библиотеки. Например, однажды утром мы увидели у стенда с нашей выставкой, посвященной гастролям в Одессе театра им. Янки Купалы, знаменитую белорусскую актрису Стефанию Станюту. Она прочла в газете заметку «Театр и книга» и захотела вспомнить очень важный эпизод из своей жизни. В июне 1941 года были обменные гастроли Белорусского театра и нашего Украинского. Она помнит, как тревожно было на душе, ведь актеры обоих театров оказались вне дома в те суровые дни. Несмотря на возраст, Стефания Михайловна была молода душой, встреча с ней сотрудников ОГНБ стала памятной на многие годы. Театр им. Янки Купалы приезжал потом в Одессу еще несколько раз, и общение со Станютой носило уже дружеский характер. Осталась переписка с актрисой, поздравления к праздникам.

Благодаря Ирине Шайкевич в 80-е годы в библиотеку приходили удивительные люди – Вадим Лазурский, например. Один из самых значительных художников книги, представитель известной в Одессе семьи. Встреча с ним была не только приятной, но и чрезвычайно полезной для библиографов.

Незабываемы также встречи с актрисой, автором и исполнителем своих рассказов Елизаветой Ауэрбах. Она трижды была у нас в гостях, неизменно принося в аудиторию свое жизнелюбие и неповторимый талант.

Из Ленинграда приезжала искать в наших фондах редкие материалы об украинском драматурге М. Кулише и Соловецком театре Наталья Кузякина. Один из лучших театроведов в СССР, Наталья Борисовна оказалась ненужной сначала в Одессе, а потом и в Киеве. Зато в России и Прибалтике очень быстро оценили ее незаурядность. Мало кто умел так, как Наталья Борисовна, разобрать спектакль. До сих пор вспоминается ее мастер-класс в Одесском украинском театре после премьеры одной из пьес Кулиша.

Идут годы, но, к счастью, интересных встреч не становится меньше. Можно много добрых слов посвятить верному другу

из Москвы Георгию Коваленко, одному из самых авторитетных искусствоведов, академику Российской академии художеств. Поиск одесских материалов о творчестве Александры Экстер привел его несколько лет назад в наш отдел искусств. Он был поражен и восхищен коллекцией библиотеки. С тех пор в его доме стоит коробка, в которую складывается литература для ОННБ, и при малейшей возможности книги переправляются в Одессу. В Санкт-Петербурге у нас тоже есть очень верные друзья. Это сотрудник Русского музея доктор искусствоведения Елена Яковлева, историк искусства Дмитрий Северюхин, исследователь Дома Фаберже Валентин Скурлов, который всегда считает своим долгом передать в Одессу свою очередную книгу.

Недавно получала автограф у народного артиста России Юрия Стоянова и показала ему документ 1992 года. Тогда он, молодой артист, с письмом от ТО «Адамово яблоко» (предтечи «Городка») появился у нас в отделе. В библиотеке шел капитальный ремонт, но все-таки чудом удалось помочь ему найти материалы к съемкам, по наитию расшифровав детские книжные воспоминания рожденного в Одессе артиста. Он ушел, восхищенный работой библиотекарей, а нам запомнился обаятельный молодой артист, который очень скоро стал широко известным благодаря работе на телевидении и в кино.

Некоторые автографы знаменитых людей достались нам благодаря друзьям. Так, Людмила Гурченко и Александр Ширвиндт подписали библиотечные книги по просьбе журналиста Александра Ляховича (он перед этим готовился у нас в отделе к интервью с ними), а журналист Александр Галяс принес книгу, подписанную специально для нас легендарным украинским режиссером Юрием Ильенко. Позже мы заочно познакомились с парижанами «русского разлива», художником Николаем Дронниковым через поэта Игоря Потоцкого и с журналистом и поэтом Виталием Амурским через Евгения Голубовского. Благодаря дружескому отношению Михаила Пойзнера нам достался роскошный двухтомник Леонида Пастернака, привезенный в Одессу его потомками на церемонию открытия памятной доски художнику в Одессе. Зато автограф великой балерины Майи Плисецкой был получен непосредственно от нее. Правда, пришлось преодолеть нешуточные


ПЄСИ
МИКОЛИ КУЛІША
А.А. ЖАБОРЮК
УКРАЇНСЬКИЙ ЖИВОПИС ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XIX- ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
КИЇВ — ОДЕСА
ЮРІЙ ІЛЛЄНКО
ДИГМА


XIV
29682
ТОВАРИСТВО ПІВДЕННО-РОСІЙСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ
ДЖЕРЕЛА КУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМИН
XIV
30608
І. Е. ЗАМИЧКОВСЬКИЙ
І. Дузь
ІВАН ЕДУАРДОВИЧ
ЗАМИЧКОВСЬКИЙ
Державне видавництво

препятствия, но наградой стали благодарные глаза актрисы – ей приятно было, что ее книгу знают и читают в Одессе.

Сложившееся за десятилетия братство со многими организациями постоянно пополняет нашу копилку встреч. Во Всемирном клубе одесситов нам подарили свои книги драматург Семен Злотников и театральный режиссер, одессит по рождению Михаил Левитин. Специально для ОННБ занес книгу о своей театральной учительнице Анне Бовшек известный московский артист Авангард Леонтьев. А встреча с популярной Нонной Гришаевой случилась благодаря съемкам в библиотеке телепередачи из цикла «Моя родословная».

Участие в международной конференции «Возвращение авангарда» на базе Литературного музея в 2004 году принесло нам множество интересных и полезных в творческом плане знакомств. Библиотеку тогда посетил известный искусствовед из Франции Жан-Клод Маркаде, многолетним и плодотворным стало содружество с музейным куратором из Израиля Лесей Войскун. Вместе с Ольгой Барковской им удалось оживить многие страницы истории Общества независимых художников в Одессе.

С Земли обетованной приезжали поработать с нашей уникальной периодикой ученые-филологи Елена Толстая, внучка Алексея Толстого, и ее супруг Михаил Вайскопф. Уровень культуры, профессионализм таких специалистов подобен курсам повышения квалификации, и невероятно приятно, что наши научные изыскания оказываются также необходимыми и своевременными для авторитетных ученых.

Литературный музей подарил нам на многие годы общение и дружбу с дочерью Ильи Ильфа Александрой Ильиничной Ильф, ушедшей из жизни, увы, в декабре минувшего года. Вызывала восхищение ее деятельность. Когда появилась возможность серьезно заняться отцовским архивом, А. Ильф подготовила и издала переписку родителей, восстановила фотографическое наследие писателя (он очень увлекался фотографией и делал это профессионально), опубликовала без купюр его классические произведения и еще несколько чрезвычайно интересных книг. Умная, ироничная, преданная Одессе, Александра Ильинична обрела здесь много друзей.

В альбоме нашлось место для автографов многочисленных одесситов, живущих теперь в странах ближнего и дальнего

зарубежья. Кроме упомянутых уже это разные по стилю, но очень талантливые художники Вадим Гринберг, Леонид Гервиц, Константин Силин, Юрий Горбачев, Зоя Ивницкая, Владимир Стрельников. Конечно, это наш классик-современник Михаил Жванецкий и люди театра – Роман Карцев, Иосиф Райхельгауз, Ирина Кузнецова. Остались в Одессе книги с автографами коллекционера-исследователя Виктора Корченова.

С конца 90-х гг. и по сегодняшний день мы регулярно получаем объемные посылки с книгами из Израиля от библиофила и собирателя Анатолия Шойхета, который вырос на фондах Горьковки и считает своим долгом пополнять их редкими зарубежными изданиями.

Интересные контакты складывались у нас с представителями украинской творческой элиты. Когда-то встреча с выдающимся искусствоведом Василием Афанасьевым имела продолжение в его совместной работе с главным библиотекарем отдела Ольгой Барковской. Ими был создан уникальный справочник «Товарищество южнорусских художников», который стал настольным пособием у искусствоведов и музейщиков многих стран.

Большинство научных работников подружились с нами, когда готовили свои труды, используя редчайшие одесские периодические издания. За четыре десятилетия мы стали свидетелями появления книг, постоянно востребованных, на них растут все новые поколения. На многих из этих книг есть отметка об участии сотрудников отдела в поиске материалов. Такие поиски, как правило, очень способствуют развитию дружеских отношений и имеют продолжение.

В разные годы мы познакомились с известными театроведами Петром Кравчуком и Юрием Бобошко, обаятельнейшим супезнатоком истории украинского искусства Александром Федоруком. Всегда дарит в фонд отдела каталоги своих выставок и альбомы один из самых интересных современных художников Украины одессит Александр Ройтбурд, хотя он уже несколько лет живет в Киеве.

Пересматривая книги с автографами, полученными от друзей – читателей-одесситов, начинаешь даже теряться. Говорят, много друзей не бывает. Бывает! Мы это проверили не раз за прошедшие сорок лет.

Уже в 70-е годы мы стали активными членами научной секции книги при Доме ученых. Слушали краеведов и учились у них работать с книгой, искать и находить необходимые факты, точно использовать их. Постепенно мы заслужили уважительное, доброе отношение очень дорогих для нас людей – Сергея Лущика, Евгения Голубовского, Олега Губаря, Александра Розенбойма, Мирона Бельского. Человеческая и творческая дружба с ними, нужно сказать, очень украшает жизнь. Не раз мы имели возможность убедиться в надежности и преданности, сталкиваясь с Михаилом Пойзнером, Феликсом Кохрихтом, Тарасом Максимюком, Анатолием Дроздовским. В последние годы очень интересно работать с Александром Дмитренко, Евгением Деменком, Сергеем Седых – исследователями и коллекционерами нового поколения.

Очень много у нас друзей в коллективах музеев Одессы. Мы помним еще юными Людмилу Сауленко, Светлану Остапову, Наталью Полищук, Веру Солодову, Татьяну Липтугу и ее талантливых сотрудниц из литмузея. Теперь это мастера, и как здорово, что у нас находятся общие интересы, возникают общие замыслы, которые потом воплощаются в книгах, выставках, конференциях, презентациях. Среди музейщиков есть у нас двое любимых мужчин. Виталий Абрамов и Михаил Рашковецкий не только искусствоведы высочайшего уровня, но и преданные друзья, готовые в любое время помочь, скажем, передвинуть шкафы, правильно развесить полотна на выставке, то есть выручить и в бытовых проблемах, с которыми порой сталкивались и мы.

Сегодня дружеские, партнерски надежные взаимоотношения у нас складываются с директорами более молодых одесских музеев: Натальей Коваленко, Семеном Кантором, Еленой Петренко.

В начале 70-х юные Татьяна Басанец и Ольга Тарасенко учились в аспирантуре. Мы понимали, что именно из таких, целеустремленных, пытливых, вырастают хорошие искусствоведы. Теперь это известные педагоги, авторы солидных научных трудов и… очень верные наши друзья.

Журналист и искусствовед Роман Бродавко, культуролог Марк Найдорф, профессор Анатолий Баканурский. Сколько хороших книг поступило в библиотеку благодаря им, не говоря уже о том, что это надежные помощники, наши консультанты во всяких задумках.

Как много талантливых художников встретилось нам в жизни! Когда мы составляли сборник «Черный квадрат над Черным морем», то с удовольствием сотрудничали с творческой группой «Мамай». К нам часто заходили Сергей Савченко, Николай Степанов, Владимир Цюпко, Виктор Маринюк. Благодаря совместной работе мы многое узнали о современном украинском изобразительном искусстве. Удалось организовать в библиотеке несколько выставок, представить в большом зале библиотеки творчество Светланы Крижевской, Светланы Юсим, Николая Прокопенко. Жаль, что нет возможности подробно рассказать об удивительных дарениях Григория Палатникова, Ларисы Демьянишиной, щедрых живописных подарках того же Николая Прокопенко и других друзей. Все эти дары добрых сердец создают необыкновенную атмосферу в зале отдела искусств, обычно те, кто попадает к нам впервые, отмечают гармонию старинного интерьера и произведений живописи и графики на стенах.

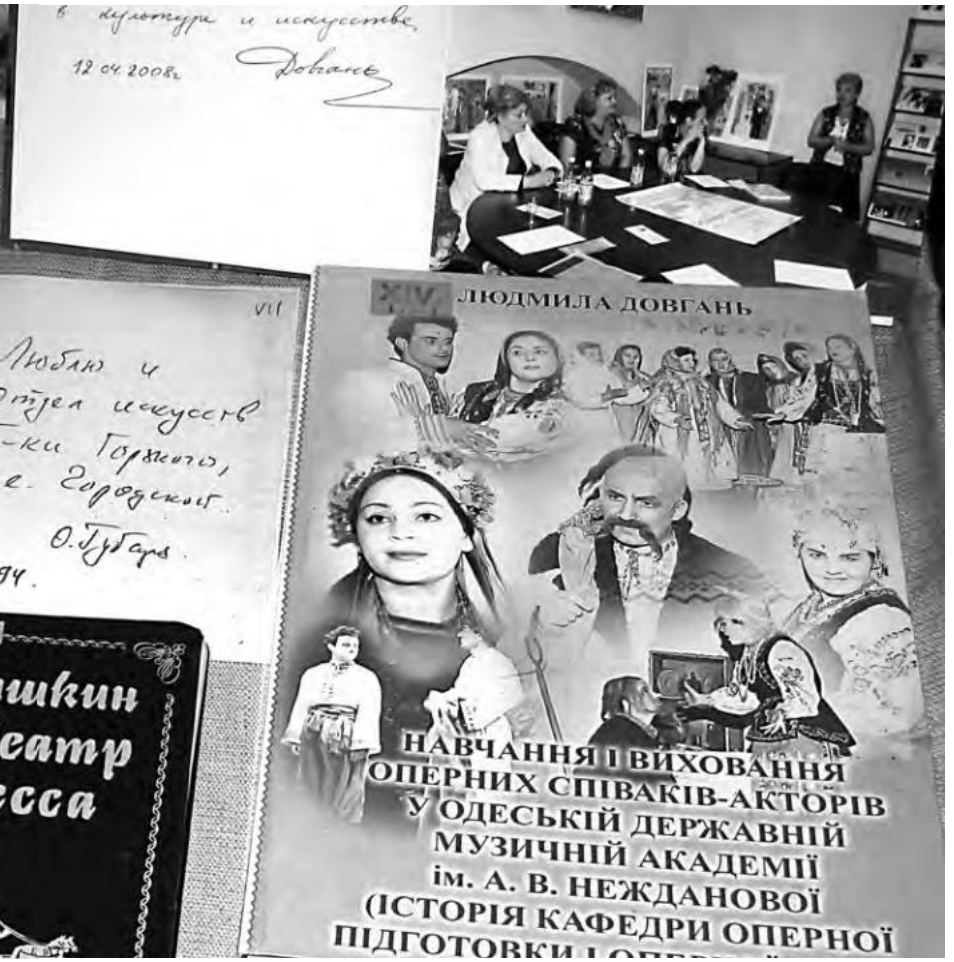
Очень важное место в нашей деятельности всегда занимала работа с театрами. В «куст» Одесского отделения Союза театральных деятелей Украины входят помимо одесских театров театры Николаева, Херсона, Кировограда, а раньше еще и Крыма. До начала 90-х годов была возможность выезжать в эти города с большими подборками литературы по теме готовящихся спектаклей. Позже уже по просьбе СТД иногда ездили туда в качестве членов секции театральной критики на премьеру или прием спектакля.

Конечно, больше внимания доставалось театрам Одессы. Актеры разных поколений приходили к нам в отдел за консультацией. А о готовящихся новых работах всегда можно было узнать по запросам театральных художников. Стопки литературы с закладками обычно ожидали их в отделе. Так мы познакомились с Натальей Бевзенко-Зинкиной, Николаем Вылкуном, Михаилом и Зоей Ивницкими, Станиславом Зайцевым и его талантливой женой, керамисткой Ниной Федоровой. Каждый из них – неповторимый мастер, и можно было бы каждому посвятить отдельную статью. Между прочим, сценографы первыми украсили стены отдела искусств и положили начало великолепной нашей коллекции.



Мы много лет сотрудничаем с нашими соседями – театром им. В. Василько, очень ценим преданность своему делу директора театра Валентины Прокопенко, художественного руководителя Игоря Равицкого, завлита Любови Федченко и храним их автографы.

Среди одесских театральных автографов у нас есть книга, подписанная директором Театра музыкальной комедии им. М. Водя-



ного Еленой Редько, а также солисткой этого театра и педагогом Ольгой Оганезовой и зав. труппой (а когда-то артистом театра) Анатолием Пославским.

Соучредители ежегодного театрального фестиваля «Встречи в Одессе» драматург Александр Мардань и директор Русского академического драматического театра Александр Копайгора

оставили автографы на книгах, которые еще долго будут востребованы читателями.

С телепередачи «Одесса музыкальная» начались доверительные отношения с известными педагогами консерватории Галиной Поливановой, Риммой Розенберг, Александром Соколом, Людмилой Довгань, композитором Валентиной Ульяш, исследователем истории нашего оперного театра Валентином Максименко и множеством других талантливых людей.

За долгие годы работы отдела искусств удалось осуществить много совместных проектов благодаря «одной группе крови» с сотрудниками одесского филиала Греческого фонда культуры Софронисом Парадисопулосом и Галиной Изувитой, нашей коллегой Галиной Лазаревой и Валерием Хаитом, Игорем Потоцким, Александром Галясом, Романом Бродавко.

Мы по-прежнему окружены энтузиастами-исследователями, меценатами и организаторами творческих проектов, то есть людьми, для которых история культуры становится важной частью собственной жизни. Прочтите книги Вадима Лисенко, Вадима Костроменко, Виктора Денисова, Лилии Ишуткиной, Александра Гуна, Владимира Кудлача, Вероники Коваль, Ирины Вишневской, Валентины Силантьевой; ознакомьтесь с литературными проектами Ивана Липтуги, меценатскими изданиями Андрея Горчакова, журналом «Выставки Одессы», редактируемым Анжеликой Жуковой.

Идет время. Молодым сотрудникам сегодня забавно слушать о том, как мы когда-то ежемесячно составляли и от руки писали около ста списков новых поступлений и тематических подборок литературы и рассылали в конвертах абонентам коллективной и индивидуальной информации. Сегодня на смену такому способу передачи сведений пришла электронная почта, сайты, мобильная связь. Трудно сказать, как дальше будут развиваться технологии. Сменятся поколения, но, думается, книги с автографами будут ждать читателей. Невозможно поверить, что можно заменить чем-то неповторимый шелест страниц…

Феликс Кохрихт

Афина и паучиха

Уже не в первый раз рассказываю вам, уважаемые читатели, о странах и городах, в которых мне посчастливилось побывать, и если вы заметили, в большинстве случаев эти журналистские заметки умещаются в одну публикацию. Исключения – редки и мотивированы. Вот – одно из них.

В прошлом выпуске альманаха, повествуя о дивном, сказочном Родосе, который вовсе не просто греческих остров, а одна из силовых точек планеты (в чем убеждены и люди более сведущие, чем автор этих строк), я обещал рассказать о тамошнем Линдосе –



Колоннада Акрополя

он притягивает интерес не только вольных туристов, но и ученых разного профиля: историков, теологов, этнографов, географов…

Он значительно старше, чем столица острова, собственно Родос, и связывает нас как с историческими событиями – Троянская война, так и с мифическими – эпизоды биографии богини Афины.



Сегодня в Линдосе делают керамику по античным образцам

Сегодня Линдос – городок с населением в одну тысячу человек, он примостился у подножья гигантской скалы, где некогда, согласно Гомеру, располагался античный город-крепость, контролировавший важные морские коммуникации, соединявшие эллинский мир с Востоком и Африкой. Согласно «Илиаде», Линдос направил на завоевание Трои девять боевых кораблей, именно здесь в незапамятные времена был создан Кодекс мореходного права, основные положения которого легли в основу современных. О былом морском могуществе предков нынешних жителей Линдоса свидетельствует изображение корабля, вырубленное в скале, – таким мы представляем себе многовесельный «Арго», на котором Одиссей плыл мимо наших черноморских берегов на поиски золотого руна.

Эти места, согласно древним источникам и современным археологическим изысканиям, отмечены пребыванием выдающихся персонажей мировой истории и мифологии, мировой литературы – Геракла, царя Даная (бойтесь данайцев, дары приносящих), его современников – Прекрасной Елены с супругом Менелаем, Александра Македонского.

И все же не былым морским могуществом притягивает в XXI веке Линдос. Он славится своим Акрополем – храмовым комплексом, возведенным в античные времена выдающимися зодчими под руководством мудрого правителя Клебула. Он не стал взимать с подданных непомерную дань на строительство храма, а отправил по домам и дворцам детей, которые собирали добровольные взносы, распевая балладу о ласточке, сооружающей гнездо для птенцов… Как правило, никто не мог им отказать. Кстати, и сегодня этот прием используют на Родосе местные муниципалитеты – правда, с разными результатами.

Но вернемся на несколько тысяч лет назад и узнаем, в честь кого же из небожителей-олимпийцев был сооружен акрополь, соперничавший с афинским. Этой чести удостоилась Афина Паллада, любимая дочь Зевса. В те времена она считалась не столько богиней мудрости, сколько покровительницей домашнего очага. Авторами скульптур стали выдающиеся ваятели, среди них был и великий Харет, которого считают создателем одного из Чудес света – Колосса Родосского, о нем мы рассказывали в предыдущей публикации. Напомним, что Колосс разрушился в результате сильного землетрясения.





Увы, и от бронзовой статуи Афины не осталось и следа – по одной из версий, ее увезли римляне. Впрочем, следы-то остались – на уцелевших мраморных постаментах сохранились отпечатки ступней богинь и богов. Японские туристы оживленно сравнивают их со своими… Но для того чтобы это сделать, нужно подняться на Храмовую гору, возвышающуюся над морем. Автобусы останавливаются у ее подножья, но рекомендую вам сойти раньше – как только в окне появится дивная картина, напоминающая декорации к фильму-фэнтези: вершина, на ней белый город на подступах к крепостной стене, за которой – колонны древнего храма…

Этот вид, этот ландшафт, это небо, это море – один из шедевров, получившихся при счастливом совпадении природы, истории, духа, материи.

Но вот мы у шлагбаума, за которым нет места автомобилям – их заменяют ослики, готовые доставить нас к Акрополю. Разумеется, они облегчили нам дорогу к храму, но вовсе не сделали ее легкой прогулкой – милые труженики упорно тянут в гору, меняя при этом скорость и аллюр. Приходится одной рукой держаться за седло, а другой пытаться удерживать фотоаппарат в боевой готовности.

На вершине, обдуваемой морским ветром, – колонны, портики, площадки с фрагментами изваяний – все, что осталось от великолепного архитектурного ансамбля. Большая лестница ведет к Пропилеям – ее называют Небесной. Возникает ощущение, что ты поднимаешься к облакам… На самой вершине скалы – реконструированный храм Афины Линдии – небольшой, длиной всего в 22 метра, но удивительно гармоничный и соответствующий духу и гению места…



Безмятежное утро на островке Халки

Отсюда открывается вид на море – вернее, на два: Эгейское и Средиземное. На Родосе есть место, где они сходятся, но не сливаются. Эгейское – синее и бурное, Средиземное – голубое, ласковое…

Храм Афины прожил до 396 г. н. э. – тогда император Феодосий приказал уничтожить все, что связано с религией, которую византийцы называли языческой. В XV веке здесь обосновались крестоносцы, от которых остались крепость и церковь…

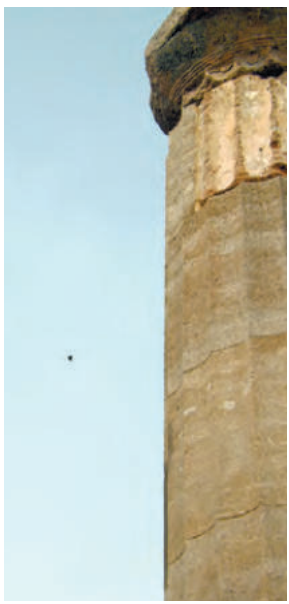
Разумеется, с Акрополем, как и со многим на Родосе, связаны сказания и легенды. С одной из них я встретился, как говорится, чуть ли не лицом к лицу.

Я нацелил фотоаппарат на одну из колонн и увидел, что у ее вершины чуть подрагивает что-то вроде большой черной точки. При увеличении стало ясно, что это не пятно на объективе, а некий объект, висящий в воздухе. Спиро, наш гид из местных, взглянул и сказал: «Да это паучиха. Она всегда здесь…».











И тут я вспомнил одну из историй, связанных с Афиной. В мифические времена небожители частенько спускались на Землю – ничто человеческое им было не чуждо. Они завязывали романы со смертными и рождали героев вроде Геракла, соревновались с людьми в ловкости и силе, игре на свирели. Богиня Афина слыла непревзойденной ткачихой, но однажды смелая, но безрассудная женщина из Линдоса бросила ей вызов и, представьте себе, опередила богиню… Афина признала поражение, но оказалась мстительной. «Ты победила, – сказала она сопернице, – но отныне и до конца веков будешь ночью ткать свою пряжу, а утром – распускать ее!» И превратила несчастную ткачиху в паучиху… Возможно, что именно ее я заснял у античной колонны…

И еще раз я вспомнил Афину, спускаясь по Небесной лестнице, – на ее ступеньках я увидел несколько черных катышков, которые оставляют козочки. Откуда им было взяться на солнцепеке, в толчее – сотни туристов снуют туда-сюда… А ведь есть еще



Этих девушек богиня Афина могла бы и приревновать…



Здесь встречаются Эгейское и Средиземное моря

одна история: Афина была еще и влюбчива, и ревнива: однажды превратила соперницу-пастушку в козу… Спросил в шутку у меланхоличного Спиро: «Опять козни Афины?». Тот пожал плечами: «У нас в Линдосе все может быть…».

Фото автора и Татьяны Вербицкой

Олег Школьник

Два рассказа

Квартира моего детства

Вот интересно, как вы думаете, что такое жизнь вообще, а главное – жизнь в одном взятом городе, где вы родились? Пока вы размышляете над этим вопросом, могу поделиться с вами своими умозаключениями на этот счет.

Каждый человек с самого начала своего существования любит получать подарки. Скажу больше – появление вас на этом свете уже огромный подарок, и имейте в виду, с очень большим смыслом. Но подарки такая вещь, к которой нельзя привыкать. И поэтому их много не бывает, а если иногда и случается, то за них так или иначе надо будет не то чтобы обязательно заплатить, но ответить придется.

Ну, во-первых, прежде чем вам родиться, хорошо бы, чтобы два хотя бы симпатичных и здоровых, но при этом еще приличных человека, он и она, встретились, полюбили друг друга и отважились совершить некое таинство, в результате которого возникла бы вероятность вашего рождения. Это ваш первый подарок!

Во-вторых, было бы совсем недурно, чтобы их встреча произошла в хорошем и красивом месте. Это обстоятельство сыграет немалую роль в их и, конечно же, в вашей дальнейшей жизни. Так вот! Если вам сильно повезет, то при отсутствии всевозможных препятствий может так случиться, что вы появитесь на свет в удивительном городе на юге огромной империи и при этом на северном берегу теплого Черного моря.

Объяснять вам, что это за город и как он там возник, я не стану. Скажу только, что он называется Одесса. И еще скажу, что

мне как раз повезло здесь родиться, а это, без всяких сомнений, уже огромный подарок.

Но мне повезло еще больше. Мало того, что я родился в Одессе, – так это случилось еще и на Молдаванке, в самом ее сердце.

Коммунальная квартира! Сейчас их почти не осталось, и многие даже не представляют себе, что это такое. А в них прожили жизнь целые поколения чудесных людей, многие из которых ни при каких обстоятельствах не желали перебираться в отдельные квартиры. А как, спрашивается, там жить? Там же не с кем ни поговорить, ни поскандалить. В этих домах никто никого не знает, никто ни к кому не ходит, и даже не здороваются!

А знаете, где в коммунальной квартире главное место? Вы, может быть, думаете, что это апартаменты каждого из соседей? Ошибаетесь! Главные места в этом обиталище – коридор, уборная и ее величество кухня.

Начнем с коридора. Это чаще всего замысловатый лабиринт, где любой человек будет блуждать, натыкаясь на шкафчики и шифоньеры, тазы и велосипеды, обувь, коврики, детские игрушки и всякую другую дребедень. А вы, в отличие от него, с закрытыми глазами можете пробежаться по нему к любой точке. Не испытывая при этом никаких неудобств. Именно в коридоре можно с самого утра встретиться буквально с каждым из ваших соседей, и эта встреча способна изменить ваше представление о жизни на целый день.

Уборная – так в те времена называли туалет. Сказочное место. Там вы сразу понимали, сколько семей проживает в этой квартире, как у них с гигиеной и какого они достатка. Ответы на эти вопросы давали: количество выключателей и лампочек, присутствие или нет запаха хлорки и, конечно же, круги для унитаза разных форм и калибров, что красноречиво говорило о благосостоянии их владельцев.

Ну и самое главное место, вне всяких сомнений, – кухня. Кухня – это самый главный и важнейший плацдарм на всей территории коммунальной квартиры. От того, сколько ваших конфорок на плите и каковы размеры вашего кухонного шкафчика, от места расположения этого богатства – у стены ли, или у окна, где вам причиталась еще и часть подоконника, зависел ваш вес и влияние

в этом милом «государстве». И действительно, в каждой квартире на самом видном месте висели два графика – один по уборке коридора и туалета, другой по уборке кухни.

А дверные звонки – это же настоящая симфония того времени! Начиная с дореволюционных, они выглядели как-то даже музейно, звонко тренькали от поворота ручки, но почему-то, наверное, чтобы не выделялись из остальных на вид скучных кнопок, их всегда закрашивали масляной краской жуткого цвета под панель. Их кнопочные электрические собратья звенели и гремели всеми голосами. Иногда несколько семей из экономии пользовались одним звонком, тогда под ним висела табличка – кому и сколько раз звонить.

Особым удобством считались балконы. И самое ценное удобство в них было не в возможности выйти на свежий воздух и не в разведении цветов. Важнее всего была лишняя площадь для автономной сушки белья, склада всякого несезонного хлама и использование балкона как наблюдательного пункта.

Хорошо, если балкон принадлежал только вам, но чаще всего и он был коммунальным. Тогда все зависело от отношений владельцев. Бывало, что частные балконы нельзя было отличить от коммунальных – значит, у соседей добрые семейные чувства друг к другу. Но иногда на балконах сооружались целые крепости, порой даже с решетками – только бы их не видеть, этих…

Но самыми главными в этих жилищах были, безусловно, люди. И, знаете, как бы им, с нашей продвинутой точки зрения, там ни жилось, какие бы трудности и неудобства они ни испытывали, жили весело! И неважно, кто ты, важно – как ты. Чаще всего коммуналка превращалась в одну большую семью, где люди от всей души подкармливали соседских детей, оставались с ними или приглядывали, когда родители были на работе. А какие свадьбы справляли, а как накрывали столы!

Наверное, сейчас возвращаться в коммунальную квартиру не очень хочется, но жгучая ностальгия по такому человеческому общению не оставляет меня по сей день.

Когда-то давным-давно весь этаж большого трехэтажного дома принадлежал моей прабабушке. У нее было шестеро своих детей и четверо приемных. Но потом кому-то показалось, что так

жить нельзя, хотя жилось, и совсем неплохо. Одним словом, наступили времена… и пошло, и поехало… В результате, когда пришла моя очередь появиться на этом этаже, мои мама, папа и бабушка проживали в восьмиметровой комнатушке, которая когда-то служила прибежищем для одной прислуги, таким образом нас там было четверо, а вокруг шумела большая нежно любящая друг друга коммуналка.

Видите, мне, оказывается, и тут повезло. Первое, что я уже както сознательно помню, – утро, видимо, воскресного дня, я только что проснулся в своей никелированной кроватке с шишечками и сетчатыми стенками. Пахнет вареной картошечкой, луком и селедкой – святым меню завтрака выходного дня. А по радио самое любимое – программа «С добрым утром!» и голос Марка Бернеса. У моих приподнятое настроение. Все, ну исключительно все мне искренне рады. Погода чудесная, солнышко светит. Все еще молоды!.. Живы!.. И счастливы!..

Двор, которого нет…

Когда-то Булат Шалвович Окуджава спел: «Я – дворянин арбатского двора, своим двором возведен во дворянство…».

Сегодня, вспоминая эти строки, я могу смело назвать каждого, кто родился в СССР, дворянином своего двора. А про себя и моих земляков сказать – мы дворяне одесского двора! Одесский двор! Это, конечно же, что-то особенное… И, поверьте мне, в этом нет ни капли хвастовства или заносчивости. Уже давным-давно одесский двор стал мифом не только в Одессе, но и далеко за ее пределами. Но почему же мифом? А наверное, потому что сегодня понятия двор, как правило, не существует. Ведь что это такое – двор? Это внутреннее замкнутое пространство жилого дома. Оно могло быть каким угодно. Все зависело от фантазии архитектора и его вкуса. Дворы были разными: большими и не очень, с палисадниками и без, даже с фонтанами и памятниками, с деревьями и лавочками, напоминающие приличные сады. Но самое главное, что было в одесских дворах, так это открытая и общая жизнь всех жильцов конкретно этого дома. Как бы люди

ни относились друг к другу, а поскольку это люди, то можете не сомневаться, что по-разному, так или иначе, их живо интересовало все. Двор, как правило, жил одной большой семьей, и все радости и печали были общими. И если кто-то из жильцов не принимал правил игры, присущей исключительно этому дому или двору, он долго тут не задерживался, потому что все начинали «дружить против него». Я, честно говоря, скучаю по тому времени. В нем, как и в каждом одесском дворе, была неповторимая атмосфера доброжелательности, искренности, откровения, человеческой чистоты, если хотите, и, конечно же, нашего одесского юмора, без которого ни один двор невозможно себе представить.

Мой первый двор, о котором я могу говорить осознанно, был двор в доме на Екатерининской (бывшей Карла Маркса), между Бебеля (сейчас, как встарь, Еврейской) и Жуковского. Дом постройки 1892 года, с квадратным небольшим двориком, без зеленых насаждений, но зато украшенный по обеим сторонам железными винтовыми лестницами. До революции эти лестницы считались «черным ходом», по ним ходила только прислуга, но в наши советские времена большие и удобные квартиры превратились в густонаселенные коммуналки, и бывший «черный ход» стал абсолютно белым.

Мы жили в отдельной двухкомнатной квартире, куда въехали, сменяв две разные комнаты. Теперь бабушка жила с нами. Мне было полшестого. То есть пять с половиной лет. Дело было зимой. Квартира казалась мне большущей и абсолютно необычной. Шутка сказать – туалет наш, кухня, опять же, только наша. Это уже потом выяснилось, что комнаты вовсе не такие большие, да еще и смежные. Кухня маленькая, а ванной – вообще нет… Купались в туалете, где папа соорудил душ. Квартира была темной, так как одна из винтовых лестниц закрывала весь дневной свет, и в солнечный день у нас всегда горел торшер. Но как бы там ни было, она же самостоятельная!

В морозный декабрьский денек я впервые вышел во двор. Во дворе никого не было, и я потихонечку несмело стал его разглядывать и изучать. Мы жили на первом этаже в парадной прямо напротив входа во двор. Слева от нее были наши окна, справа соседские, а посредине была стена с двумя водосточными трубами,

которые долгое время служили нам штангами во время игры в футбол. Когда я бил по этим воротам, то всегда старался брать чуть левее, чтобы не попасть по своим окнам, сквозь которые за матчем, как правило, наблюдала бабушка. И если промахивался, то частенько попадал мячом в соседское окно. Стекла бились не всегда, но часто. Скандалов по этому поводу почти никогда не было. Хозяином этих окон был фронтовик по фамилии Краснянский, инвалид войны, который всегда с удовольствием, сидя у окна, болел за команду наших пацанов. И когда стекло – вдребезги, всегда с улыбкой говорил: «Ничего страшного, это же мои мальчики…».

Кто же эти наши мальчики? Мы как-то сразу сдружились. Один – Гриша Голобородько, мой одногодок, жил в коммуналке на третьем этаже. Второй – Коля Русаковский, проживал в коммуне второго этажа, и все это по винтовой железной лестнице. Что мы только не вытворяли с этой железякой! Мы взбирались по ней с внешней стороны, а особым геройством считалось сделать это в морозный день, когда лестница обледеневала. Дом наш был трехэтажным, но лестница вела еще на крышу, в чердачное помещение. Чтобы туда попасть, надо было пройти с верхней площадки лестницы до входа на чердак по двум доскам без перил. Это было испытание. Так меня принимали в свои. Было страшно. Метров шесть без опоры и на уровне крыши. Дрожал, но прошел. Туда с трудом, а обратно уже много легче. Но пропотел насквозь… А потом… бегал туда и не думал об опасности.

На чердак мы ходили часто. Там у нас был штаб. Помню, как я выпилил лобзиком из фанеры пятиконечную звезду, выкрасил ее красной краской и прибил ее над входом чердака. Мы играли в Тимура и его команду. Задача – помогать старшим, особенно женщинам-пенсионеркам, которые без мужа. В арке повесили стенгазету с объявлением о нашей помощи, и к нам стали обращаться. Ходили за покупками, девчонки убирали и готовили, мыли посуду, что-то подшивали. Вспоминаю это время с большим удовольствием, примерно с тем же, что и тогда. Мы никогда ни перед кем не отчитывались, нигде и никому об этом не говорили, просто знали, что так надо и что это хорошо. Нас во дворе уважали и частенько закрывали глаза на наши иногда бурные шалости. Для каждого мы были – наши мальчики.

Еще мы болели футболом! Впервые я попал на стадион в 1964 году, когда одесский «Черноморец» вышел из класса «Б» в класс «А», как сейчас бы сказали – в премьер-лигу. Весь город принимал этот факт как личную победу каждого одессита. Что творилось на трибунах! Всеобщее счастье и братание! Все трудности и жизненные неурядицы отходили на второй план, да вообще, о них никто не вспоминал, главное – Одесса победила! Не команда, а весь город. Люди ликовали. После игры буквально в каждом дворе до ночи обсуждали и отмечали все коллизии матча. И невзирая на позднее время, нас не гнали спать. Как мы мечтали быть хоть чуть-чуть похожими на легендарных игроков того незабываемого состава! Они играли за Одессу! Уже много позже я услышал от вратаря «Черноморца» того времени, Семена Альтмана, фразу, которая объяснила мне все: «Мы, – сказал Семен, – играли с солнцем в крови!». Вот это я понимаю!

В коммунальной квартире моего друга Гришки жила семья Анисимовых. Ольга Ефимовна и ее муж дядя Боря. Дядя Боря был благообразным пожилым человеком с очень красивой седой шевелюрой, едким юмором и острым глазом. Ему как фронтовику к Дню Победы подарили телевизор «Таурус». По сравнению с нашим маленьким «Рекордом» это был широкоформатный кинотеатр. 1966 год, чемпионат мира по футболу в Англии. Мы с Гришкой тщательно готовились. Сохраняли все наши копейки на школьные завтраки и к началу чемпионата купили фотоаппарат «Смена-8», чтобы снимать голы и острые моменты. Каждый вечер мы приходили к дяде Боре. Он сидел в кресле перед большим новым телевизором, а слева и справа от него стояли две низенькие табуреточки для нас с Гришкой. Каждый из нас по очереди следил за игрой через фотоаппарат и снимал, снимал, снимал… Ну, во-первых, четыре гола Валерия Паркуяна, сделавших его настоящей звездой футбола. А как играл И. Численко!.. А Хурцилава и Метревели? А Яшин и Шестернев? До сих пор живы эти старенькие фотографии, сделанные с дядиборино телевизора.

Но о дяде Боре есть еще одна история. Страна готовилась к очередным каким-то выборам, и к нам во двор пришла немолодая женщина-агитаторша, которая разносила приглашения на эти самые выборы. Я болтался во дворе, и эта женщина спро-

сила у меня, знаю ли я, где живут Анисимовы. Я сказал: знаю, по винтовой лестнице, третий этаж. Одним словом, она попросила меня отнести эти бумажки дяде Боре. Я с легкостью согласился и, поднимаясь наверх, прочитал в приглашении Анисимов Иван Илларионович. Честно говоря, я очень удивился. Дядю Борю знаю, а вот Ивана Илларионовича?.. Я вбежал на общую кухню и увидел моего любимого дядю Борю за чаем. Он пил из подстаканника вприкуску и еще при этом с наслаждением курил в форточку папиросу «Сальве». Вручив ему все, что принес, я поинтересовался, кто же все-таки такой этот загадочный Иван Илларионович. Дядя Боря, смачно затянувшись, хитро глянул на меня и сказал:

– Я! – и, не дав мне опомниться, продолжил: – Видишь ли, – сказал он, – когда почти полвека проживешь с такой золотой женщиной, как Ольга Ефимовна, становится все равно, как она тебя называет. Боря – так Боря, лишь бы она мне была здорова.

О нашем дворе можно было бы еще много рассказать. За каждым окном своя жизнь и история. Тогда не ставили решеток на окна и не знали, что такое бронированные двери. Жили нараспашку, нечего было скрывать и прятать. Сегодня иначе. И каждый раз, проходя мимо дома моего детства, я вижу на воротах кодовый замок и понимаю, что туда уже не вернуться никогда… Я так хочу, чтобы этот старый одесский дом жил долго и свободно, чтобы в нем рождались дети и снова играли в футбол, и иногда даже били стекла… Улыбнусь и иду мимо – из наших там уже никого нет.

Григорий Шухин

Пародии

Крыша поехала

От запаха домашних пирогов
дотоле ясный помутился ум…
Друзья завидуют и с горя
водку пьют.
Владимир Салимон

Дотоле ясный помутился ум
от звона ложечки в стакане,
от новостей текущих стал угрюм,
мне кризис мозжечок изранил.
На мысли лег пластом свинец,
нет просветленья даже с леди…
Остался пламенный борец
с застольем, полным разной снедью.
Извилины в мозгу, как след
червя, проползшего в полене:
гипоталамусов момент –
всех ясновидящих поставить на колени.
Завистники кругом –
акульи прилипалы!
Кто раньше был со мной знаком,
не узнает мой ум усталый.
Надеются на доброго «ерша»,
где водки более, чем пива…
Когда в царапинах душа,
любая строчка кажется красивой.

Уборщица

…С высоких антресолей
летит уборщица
и в кресла падает
веселой головой –
ей не впервой.

Ефим Ярошевский

От рюмашки весела
голова уборщицы!
Дело спорится – метла
из соседней рощицы.
В намозоленных руках
шелестит она по кучам…
Высоты отбросив страх,
оказалась вдруг летучей.
Новоявленной Яге
в антресолях стало тесно –
в нескончаемом пике
ястребком таранит кресла.
Ярошевский и Ефим
над строкою лбы наморщат…
Наконец-то стал нам зрим
образец простых уборщиц!

Свальный грех

Когда буквы, обнявшись крепко,
начинают любить друг друга.
Если буква сольется с буквой…

Константин А. Ильницкий

Многолики любви проявленья:
пень в лесу и ползучий лишайник,
самка съест богомола за рвенье,
пар из носика радует чайник.

Ирокез душу отдал каноэ,
спит палач с топором под подушкой
и на лавочке бабушки ноют,
что на пенсию нечего кушать
Рот пошире раззявь, будет гласный
звук лететь, чтоб обняться и слиться…
Как он хочет любви безопасной
с буквой «Ж» в сарафане из ситца.

Бат-Ям



Владимир Трухнин, Ирина Полторак

Из архива «Городка»

В мире искусства

Таланты и поклонники

Певец и его импресарио перед очередным гастрольным концертом.

Певец. Ну, что там с билетами?

Импресарио. С билетами порядок! Отдельное купе, поезд через 15 минут после концерта. Сразу же в машину – и на вокзал!

Певец. Какой вокзал? Я про зрителей спрашиваю. Билеты на концерт продали?

Импресарио. Продали, продали.

Певец. Потому что я звезда! Пипл хавает! И какого черта у нас только по одному выступлению в каждом городе? И какого черта ты вечно берешь билеты на ближайший поезд? Народ после концерта побежит за звездой, а звезда в поезд! Выгоню я тебя на фиг.

Импресарио. Вот этого я всегда и боюсь…

Певец. Что выгоню?

Импресарио. Что после концерта народ за тобой побежит… Когда-нибудь могут же и догнать!.. А тут и я рядом…

Вот в таком жанре

Журналист берет интервью у писателя.

Журналист. Вы ведь всю жизнь пишете только детективы. Почему? С чего это началось?

Писатель. О, это интересный случай. Когда-то меня на улице ударило молнией. А когда я очнулся, я вдруг почувствовал, что

меня интересуют только детективы. Ну там ограбления, кражи, психология вора, методы поиска преступников…

Журналист. Любопытно. Да, я слышал, что молния иногда раскрывает в человеке уникальные способности, проявляет необычные интересы. Но чтобы писать детективы… Какой неожиданный эффект…

Писатель. Ну да. А во-вторых, пока я валялся без сознания, у меня украли часы, туфли и бумажник… И мне до сих пор интересно, кто эта сволочь!

А вот еще был случай…

Почти передовой опыт

В каптерку вахтера заглядывает работник.

Работник. Дядь Вась, дайте прикурить, я куда-то мою зажигалку засунул.

Вахтер. Так я же не курю, давным-давно бросил.

Работник. Да что вы? Опытом не поделитесь? Я сколько раз пробовал, и ничего не выходит. Вы сами или вам кто-то помог?

Вахтер. Батя мой помог. А началось как раз с зажигалки. Он как застал меня когда-то за сараями с сигаретой, так сразу мою зажигалку куда-то засунул.

Работник (*разочарованно*)**.** И все?

Вахтер. Так я же тебе не сказал, куда он мне ее засунул…

Что нам стоит дом построить

Точка зрения

Строительство дачки. Рабочий строит дачный туалет-скворечник, Хозяин прохаживается туда-сюда, смотрит на березовую рощицу за забором, дышит полной грудью.

Хозяин. Как все-таки хорошо, когда человек близок к природе! Вот для чего природа нужна человеку, как вы думаете?

Рабочий. Ну, на дрова, например. Кстати, для сортира пару досок еще надо.

Хозяин. М-да… Как я понимаю, вы от философии далеки.

Рабочий. Да где уж нам…

Хозяин. Природа нужна человеку для настроения! А здесь она кругом! Вот даже стоишь, вот тут, как вы говорите, в сортире, – и видишь отсюда березовую рощу!

Рабочий. Ну да. А стоишь вон там, в березовой роще – и видишь оттуда ваш сортир. Диалектика…

Пенсии у нас маленькие, зато проблемы большие

Черно-белые мысли

Во дворе два пенсионера – Оптимист и Пессимист играют в шашки и дискутируют.

Оптимист. Вот что особенно приятно, что мы с вами играем не в какие-нибудь английские или там китайские, а именно в русские шашки!

Пессимист (*поднимает шашку и смотрит на нее с другой стороны*)**.** Угу. В русские шашки, сделанные в Китае.

Оптимист. Ну… Это доказывает, что наше международное влияние настолько выросло, что уже даже в Китае научились делать наши шашки.

Пессимист. Ну да. И то, что у нас уже даже шашки делать разучились…

О чем говорят нездоровые мужчины

Между нами мальчиками

В больнице.

Двое мужчин с обеими поломанными руками в гипсе.

Первый. Я ведь тоже последнее время холостякую… Уже лет тридцать никто обо мне заботится. Но я не жалею.

Второй. А я жалею! И не о женской заботе, а об утраченных чувствах я жалею, понимаете? Об этом же поэмы можно писать! Ведь женщина… (*Возвышенно.*) Это столько светлых прекрасных неповторимых непревзойденных чувств!

Первый. Это да…

Второй. Чувство сытости… после вкусного домашнего ужина, чувство свежести чистого белья… после баньки, чувство выполненного долга… после выполненного долга… Без женщины – как без рук!

Первый. Это точно… (*Показывает свои руки в гипсе.*). А без рук… (*Вздыхает.*) – как без женщины…

Внедряем современные методы обучения

Возможны варианты

Учительница математики проводит годовую контрольную.

Учительница. Значит так, дети, перед проведением этой контрольной надо разбиться на два варианта.

Школьник. Как обычно? На первый и второй?

Учительница. Ну, почти… Первый вариант – решаете контрольную самостоятельно. А второй – я помогаю каждому за 500 рублей…

Валентина Голубовская

Тема с вариациями



Сергей Рядченко
Суббота для человека
Одесса, АО «ПЛАСКЕ», 2013

О новой книге Сергея Рядченко можно кратко сказать строками Бориса Пастернака: «Здесь будет все: пережитое, И то, чем я еще живу, Мои стремленья и устои, И виденное наяву».

Все это пережитое и виденное наяву переложено на полифоническую прозу, с ритмами джазовых вариаций. И все приправлено одесским солнцем, свежестью морского ветра, острыми специями одесской речи. Нет, Боже упаси, только не теми безобразными подделками, которые тиражируются и в кино, и в том, что язык не поворачивается назвать русской словесностью.

Слова Христа «Суббота для человека, а не человек для субботы» (Евангелие от Марка) – определили на все времена возможность этического выбора. Назвав свою книгу «Суббота для человека», Сергей Рядченко недвусмысленно подтверждает верховенство права человека над насилием закона, над несвободой.

Тема человека и несвободы развивается уже в первой повести, «Человек для субботы», заглавие которой продолжает и завершает название книги.

Эта повесть об эпохе *междустрочья*. Читать между строк, владеть эзоповым языком, откликаться на аллюзии, подтекст, понимать скрытый смысл, это все мы хорошо освоили и этим искусством свободно владели. Но не одни мы были умные в те времена. На наше множество было спущено множество другое, тех, что искали, высматривали, даже вынюхивали это *междустрочье* с помыслами – не пускать, стереть, вычеркнуть…

В стране, пестревшей лозунгами «Все для блага человека, все во имя человека», сам человек был «для Субботы». Герой повести, закованный в обносившуюся (время уже менялось!) броню партийно-чиновничьей дисциплины, совершает для него нечто невероятное. Предается любовным утехам в декорациях служебного кабинета, где со стен взирают строгие портреты. И когда герой ошалело понимает, что впервые в жизни «*…он позволил себе…*» – наступает, на мой взгляд, смысловая кульминация повести.

Совершенно иначе, неожиданно, развивается эта тема в рассказе «Кино и немцы». Мальчишки, высунувшись в окно, из своих самодельных деревянных автоматов «расстреливают» пленных немцев, работающих на стройке. А потом, нехотя, враги ведь перед тобой, весь мамин запас воды в чайнике спаивают и все мамины пирожки скармливают голодным врагам. У них есть безошибочное оправдание – слово «конвенция», слышанное не раз от взрослых. О том, что суббота для человека, а не человек для субботы, в послевоенной Одессе они наверняка и не слышали. Но поступили по закону детского сердца и совести. Детское наитие, детская открытость и сострадание оказываются сильнее запретов.

Повести и рассказы Сергея Рядченко – это современная, динамичная, порой с приемами киномонтажа, порой философски-медитативная, порой ироничная проза. А иногда ностальгически печальная, как в повести «Одесса-мама, или Проще не бывает», когда речь идет об исчезновении, уходе к другим берегам одесской скумбрии, пожалуй, первой утрате одного из одесских «национальных» сокровищ.

...«Не верьте, что скумбрия из нашего моря вся ушла годом раньше. За один косяк в шестьдесят седьмом, в мае, я вам ручаюсь. Он вышел на нас, или мы на него, вопреки календарю, зато в угоду небывало теплому течению и рыбацкой удаче генерала Васильца, и рыбаки наши только успевали забрасывать; махнут вверх-вниз самодуром разок-другой, ну еще разок, и тащат в лодку по пять «качалок», тугих, резвых, на солнце в радуге ослепительных, и по шесть тащат, и по восемь, а случалось, и по двенадцать – все брала рыба на снасти за раз крючки с перышком в красной нитке. Скумбрия в том косяке была не глупой, она была начисто сумасшедшей».

А может, скумбрия действительно была умной и что-то предчувствовала? И начавшийся в начале семидесятых годов исход одесситов за моря-океаны, может, исчезновение из одесского морского пейзажа привычных силуэтов «Грузии», «Аджарии», «Шота Руставели», «Одессы» и других кораблей, предметов нашей гордости и любви, как и сама скумбрия, наша морская царевна?..

...Когда на экране я вижу бокс, даже в новостях, я выключаю телевизор. Из профессиональных терминов знаю, кажется, два – ринг и нокаут, и то только потому, что они давно вышли за пределы языка спорта. И, грешным делом, дочитав «Одессу-маму...» до поединка на ринге, решила – пропущу эти страницы. Но сочная и упругая проза повести не отпускала! Потом я подумала, что полвека назад, читая впервые «Фиесту» в том черном двухтомнике 1959 года, который, как праздник, остался навсегда с тобой, двухтомник, который помнит и Сергей Рядченко, разве я была знатоком корриды?..

В той жизни, полвека назад, были Ремарк и Хемингуэй, с их героями из «потерянного поколения». А сколько в нашей истории многострадального двадцатого века сменилось «потерянных поколений»?.. Сколько сверстников Сергея Рядченко станут не по своей воле «потерянными» героями, многим из которых достались уже не «мрамор лейтенантов – фанерный монумент», а «цинковые шинели»? Об этом жестоком опыте войны с беспощадной откровенностью – в «Приземлении».

«Прошел сквозь пекло, да попал не в рай! Хоть нет моей вины, что пришагал домой, но гибну здесь, не находя ответ. А он простой.

Его шепнул мне ангел мой:
«С войны, солдат, домой возврата нет».

Сергей Рядченко обладает удивительной способностью переводить сюжеты, даже вроде бы обыденные, в сюрреалистические образы, но так как нас угораздило оказаться во времени «реального сюрреализма», то, возможно, эти тематические повороты у автора и не бросались бы в глаза его читателю. Если бы не язык, не фантастический по многообразию словарь писателя.

Ирония в разных его сочинениях приобретает неповторимую лексическую окраску. Именно неистощимый вокабулярий, припасенный для каждого сюжета, делает неподражаемыми иронические вариации автора.

Сергей Иванович Рядченко, как все филологи (медики, историки, юристы), учил в университете латинские герундии, перфекты с плюсквамперфектами. Наверное, заучивал наизусть «Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?» и пел «Gaudeamus»… Но так виртуозно вписать «медь торжественной латыни», ее «крылатости» (словечко Олега Губаря) в искрометное повествование о своих пробуждениях, как это сделано в рассказе «Хоть vita brevis, но еще не вечер (исповедь здорового человека)»?!

Читая «Признание адепта восточной мудрости предмету своего обожания», я представила, как автор в лексических сокровищницах ищет эти пародийные, «по-восточному» цветистые сравнения для «предмета своего обожания». Так, наверное, энтомолог, чтобы не писать более правильное, но бесконечно длинное – лепидоптерофилист (не буду упоминать всуе имя Набокова!), вожделенно укрепляет на планшете очередное сокровище – бабочку неземной красоты.

Вот только некоторые из этих ернических «восточных сладострастий»:

сливки моего воображения
алебастр моих касаний
халва аппетитов
пестик моих устремлений
ромашка метаморфоз наших
манок моих дум
восторг нутра моего

нежный стебелек моих безумств
лепесток моего соблазна
светильник сумерек народных
витамин моего бытия
оливка сочная вечернего мартини
горлица наших курлыканий

Стоит ли удивляться нынешнему высокому мастерству писателя, если повесть «Обратный путь», написанная им в молодости, более тридцати лет назад, и сейчас выдерживает сравнение с тем, что называется зрелой прозой? Под заглавием (в скобках) уточнение – хроника. Именно так, с маленькой буквы, сухо, буднично, без пафоса определяет автор одно из самых метафорических своих сочинений.

«Кот миновал несколько развилок, всякий раз безошибочно выбирая верное направление. Он слушал голоса звезд и предавался воспоминаниям. И совсем было размечтался, когда его, будто хлыстом по носу, огрел терпкий жесткий запах страха. Кот врос в землю и задохнулся. В ушах громыхнула кровь, а сердце заколотило в грудь так, словно ему срочно понадобилось выскочить и посмотреть, что случилось.

Среди всех запахов, которыми угощала кота земля, этот был самым страшным. Это был запах безудержной злобы и превосходства; так воняет ухмыляющийся, необоримый, вездесущий расизм…

Где-то рядом, в темноте, совсем рядом притаились Сторожевые Псы»…

Как будто написано не тридцать лет назад, а в наши хмурые времена.

На обложке своей книги «Аборигены наших берегов», изданной в Одессе в 2004 году, Сергей Рядченко написал:

«Хотелось бы литературной судьбой оправдать нехитрый постулат – из Одессы уезжать вовсе не обязательно».

Если написана и издана такая книга, как «Суббота для человека», достойно продолжающая в русской литературе «одесский текст», то «нехитрый постулат» автора оправдан.

Олег Губарь

Подарки друзей

Последние месяцы выдались чрезвычайно урожайными в книгоиздании. Даже лаконичный формат «постов» велик для этой нашей постоянной рубрики. Поэтому просто перечислю несколько книг, привлекших мое внимание.

Во-первых, это поэтический сборник Петра Осиповича Карышковского (1921-1988), выдающегося историка, крупного специалиста в области античной истории Причерноморья, ярчайшего педагога-лектора, любимца нескольких поколений студентов ОГУ, эрудита, философа, поэта. При жизни ПэО (так его называли, что ироничного Карышковского вовсе не коробило) стихов не только не издавал, но издавать не собирался, считая стихосложение делом сугубо личным, интимным. Писал стихи с юности. Охарактеризовал бы их в духе академика Лосева – «Высокая классика». Лишь несколько поэтических образцов я опубликовал после его кончины в местных СМИ. Теперь – спасибо и поклон Алле Ивановне Карышковской! – открылась возможность познакомиться практически со всем поэтическим творчеством этого незаурядного, большого человека.

Неизгладимое впечатление произвел на меня арт-бук художника-керамиста Натальи Мариненко «Наташкины сказки». Галерея контрастных, рельефных, вкусных персонажей сопровождается великолепным манифестом-исповедью «непослушного», не вписывающегося в тупые каноны самобытного мастера. Здесь же – впечатления, комментарии, зарисовки «по поводу» Уты Кильтер, Леонида Войцехова, Наталки Биды, Анны Волусуновой, превосходные снимки Сергея Полякова. Присоединяюсь!



Очень хорош, в том числе по полиграфическому исполнению и художественному оформлению, изданный в Москве поэтический сборник нашего земляка Алексея Окуня. С радостью и удовольствием знакомлюсь с новым сборником Александра

Бирштейна «67». Вышли две новые книги прозы Валерия Барановского – «Среди слепых и очень сильно пьющих» и «Куда глаза глядят» – несомненно, заслуживающие отдельной пространной рецензии. Только что увидела свет автобиографическая повесть Татьяны Николаевой, дочери известного журналиста-фронтовика, «Путешествие по жизни». Изданы сборники рифмованных миниатюр Валентины Бронз «Мы доживем до свадьбы золотой», Николая Щербаня «Исповедь» и «Ave Maria». Все это – бесценные подарки, полученные в последнее время от моих замечательных друзей-авторов, которых, пользуясь случаем, сердечно поздравляю с творческой удачей.



Евгений Голубовский

«Настоящее поэтическое благородство»



Семен Кесельман. Стеклянные сны
Одесса, Всемирный клуб одесситов, 2013
Тираж 150 нумерованных экз.
Редактор С. Лущик

Так охарактеризовал выступление Семена Кесельмана в 1923 году Эдуард Багрицкий, поэт, отнюдь не склонный к комплиментарным оценкам.

Как же так получилось, что в кругу одесских поэтов начала двадцатого века Семен Кесельман оказался на долгие годы забытым? Начнем с того, что поэтическая среда, в которую входили и Э. Багрицкий, и В. Катаев, и Ю. Олеша, и многие, многие другие, возникла в городе с 1914 года. Именно когда литературный критик П. Пильский собрал юных мальчиков и девочек, чтобы прослушать их стихи (для «кастинга», сказали бы мы сегодня), то уже рядом с ним сидел Семен Кесельман, лет на десять старше тех, кого прослушивали.

Так вот, когда Кесельман начинал писать, в городе поэтической среды не было. Александр Митрофанович Федоров не в счет, он был и романистом, и драматургом, и лжеклассическим поэтом, но, главным образом, «хлебосольным хозяином».

Прозаики учились у Дорошевича, живого учителя у поэтов в Одессе не было.

Вне среды Кесельман входил в литературу, читая, много читая современную поэзию. И сегодня, когда благодаря подвижнической работе Сергея Лущика, завершенной Ольгой Барковской и Аленой Яворской, можно год за годом прочитать стихи Кесельмана, то путь его в поэзию становится понятным, зримым. Его увлечения, его разочарования и, в конце концов, его отказ от творчества.

Признаюсь, и я поэта Семена Кесельмана в окружении его младших современников, ставших вскоре знаменитыми, не разглядел. Я читал первые одесские альманахи – «Солнечный путь», «Шелковые фонари», но Кесельман в них, с его обычным для того времени подражанием символистам, не привлек моего внимания. В последующих альманахах, включая «Чудо в пустыне», Кесельман уже не публиковался. Но писал, но менялась его манера, стихи становились образней, точней, уверенней. Проследить это можно, извлекая его стихи из одесской периодики. И вот тут скрупулезное изучение Сергеем Зеноновичем Лущиком одесской литературно-художественной жизни принесло свои плоды. Он заинтересовался Кесельманом. Более того, нашел его вдову, а у нее архив неопубликованных стихов и графики Семена Кесельмана.

Для меня, как и для многих, Кесельман открылся, когда я расшифровывал, как в кроссворде, в «Алмазном моем венце» Валентина Катаева этот имя – эскес. Так, с маленькой буквы оно было написано в катаевском тексте, восхитился стилизованными «английскими» балладами этого поэта. И лишь потом узнал, что папка с архивом Кесельмана существует. Поэт не погиб в гетто, как написал Катаев первоначально, но после публикации Лущика внес правку в другие издания своей повести. Он умер своей смертью в 1940 году на руках любящей жены, сохранившей его архив. Признаюсь, с тех пор я не единожды уговаривал Сергея Лущика возродить, вернуть Кесельмана в литературу. Но у него был свой план – комментарии к «Уже написан Вертер», Вениамин Бабаджан, «Салоны Издебского». Наконец, очередь дошла и до Эскеса.

Кстати, этим псевдонимом Кесельман подписывал свои сатирические и юмористические стихи, а был он поклонником

и учеником Саши Черного. И нужно сказать, его сатира и юмор вполне вписывались в ту эпоху, они звучат, пусть менее злободневно, но и сегодня.

Вспомнил, как замечательный одесский художник из «Независимых» Исаак Малик в 1926 году сказал своим родным: «При этой власти я заниматься живописью не буду». И пошел преподавать рисунок в детский интернат.

У меня нет реальных подтверждений, но я чувствую, что человек, написавший в 1922 году стихотворение «Двадцать второй», последнее датированное им стихотворение, ощущал то же, что и Малик. В управдомы переквалифицироваться Семену Кесельману не было нужды. Он окончил Новороссийский университет и мог работать юрисконсультом в советских учреждениях. А во всех этих конторах типа треста «Геркулес» было не до поэзии. В 1923 году еще выступал на поэтическом вечере. И умолк.

И продолжал в Одессе жить совслужащим Семен Кесельман.

Составляя этот сборник, мы решали для себя проблему. Можно было бы выбрать из наследия Кесельмана только, на наш взгляд, лучшие стихи, и автор предстал бы в одном виде, можно было показать все творчество, все, что сохранилось в его архиве. Составители сознательно избрали второй путь, веря в читателя.

Вот и вернулся благодаря проницательности Сергея Лущика, его трудолюбию и энергии в одесскую поэтическую волну Семен Кесельман. Подчеркну, в этом и огромная заслуга Ольги Барковской и Алены Яворской, помогавших разбирать почерк поэта, сравнивать рукописи с публикациями в периодике. Вернулся поэт, чтобы определилось его место в одесской школе.

Как об Одессе шутили: «Не первый город, но и не второй», Так, думается, можно будет сказать и о Семене Кесельмане. И вновь приведу очень точную формулировку Эдуарда Багрицкого: «Настоящее поэтическое благородство». Будем же признательны и Евгению Деменку, который помог издать эту книгу, чтобы мы объемнее представили, каким был Серебряный век одесской поэзии.

Михаил Юдсон

Благие берега



Вера Зубарева
Гавань
Одесса, Фаворит, 2011

Не ахти как положено начинать с обложки, но там же Белла Ахмадулина ворожит, вольно плещет неводом, и немедля приникаешь и проникаешься: «Сначала я увидела ее стихи, воображение соотнесло их с морем и побережьем, с бликами, с хрупким чередованием блеска и тени. Прихотливый, независимый и несомненно ранимый мир открылся мне, явилась мысль о возможном обидчике воздуха и моря». Я наскоро заглянул наугад – и сразу не то чтобы встал на якорь, скорей, затянуло саргассово и повлекло по тексту.

Воистину – в начале был причал! Слово у Веры Зубаревой несет благую весть морскую, оно у нее из того семейного эона, когда отец океан любовно покрывал мать сыру землю.

Задача поэта обычно привычна – раздобывать разумное, доброе, отмерять вечное, изыскивать изысканное. У Зубаревой к этому вполне волшебно примешивается лов волн, курлыканье маяка, «солью пропахшее небо», «сплетения памяти-невода», вдобавок «раковинами имен тяжело обрастает корма» и «в склепах раковин, теплой водою

подсвеченных, только тени усопших моллюсков да йодистый траур» – и как благодарный траулер я тащу и тащу подобное, серебристо поблескивающее, из глубин книги, повторяя благодарно: «Я иду и иду по осколкам закатного зарева. Волны катятся, словно пустые бутылки». Да точно ведь, глаза под ноги открылись – эх, сколько зим не замечал!

А дальше – больше, звуки семафорят, сигналят по-морскому, подают знаки, будто своему – «моллюск гигантский, полонивший сушу, придумавший себе любовь и душу…». И это хорошо, и этакое славно:

И снова тени памятных страниц
На многомирье расщепляют время,
И нелинейный странник – мысль-Улисс –
Судьбы-мигрантки множит направленья.

Постепенно сродняешься с книгой, не хочется покидать ее обжитую гавань, тянет на прикол – и уже сама Вера Зубарева звучит как палиндром… Кстати, вкратце о ней: писатель и литературовед, профессор Пенсильванского университета, автор многих книг поэзии, прозы и литературной критики на русском и английском языках, лауреат престижных литературных премий. Плюс романтически-русалочье обличье на обложке – в босоногий догон образному ряду под кожей книжки. Невольно тут читательски вскричишь – увижу ль Пенсильванию до старости моей?!.

Сижу вот и по новому кругу гоняю гаммами гармонию:

То и снится, что аукнется
В памяти, где мы – вчерашние.
Где уводит к морю улица
Чуть запавшей черной клавишей.

Или иное нотное, запавшее в извилины, к коему возвращаешься лунной дорожкой строк – «как одинокий движущийся берег, минуя погрустневшие дома, стоящие всю жизнь свою на рейде». До-ре-минувшее периодически оживает у Зубаревой – недаром книга посвящена памяти отца, капитана дальнего плавания, журналиста и писателя Кима Беленковича. «Там сидим на побережье мы, временем не опечалены…»

Ну, неустанно можно вычерпывать – строчками и строфами, но вряд ли это впрок – стихию стихотворную таскать цитатным решетом. Читайте сами – заходите в «Гавань», благо Интернет раскинулся ныне широко.

Я створки сборника Веры раскрывал с надеждой и затворю, потихоньку бормоча полюбившееся: «Весло пера замешкалось в ладони…».

Одесский альманах

№56

I / 2014

ДЕРИБАСОВСКАЯ / РИШЕЛЬЕВСКАЯ







PLASKE
ПЛАСКЕ